МШолохов

4

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений в восьми томах

Москва
«Художественная литература»
1986

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

Том 4

ТИХИЙ ДОН

Роман в четырех книгах

Москва
«Художественная литература»
1986

Р2
Ш78

Составление
М. Манохиной

Оформление художника
Ю. Боярского

Шолохов М. А.
Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 4. Тихий Дон: Роман в 4-х кн./Сост. М. Манохиной.— М: — Худож. лит., 1986.— 432 с.

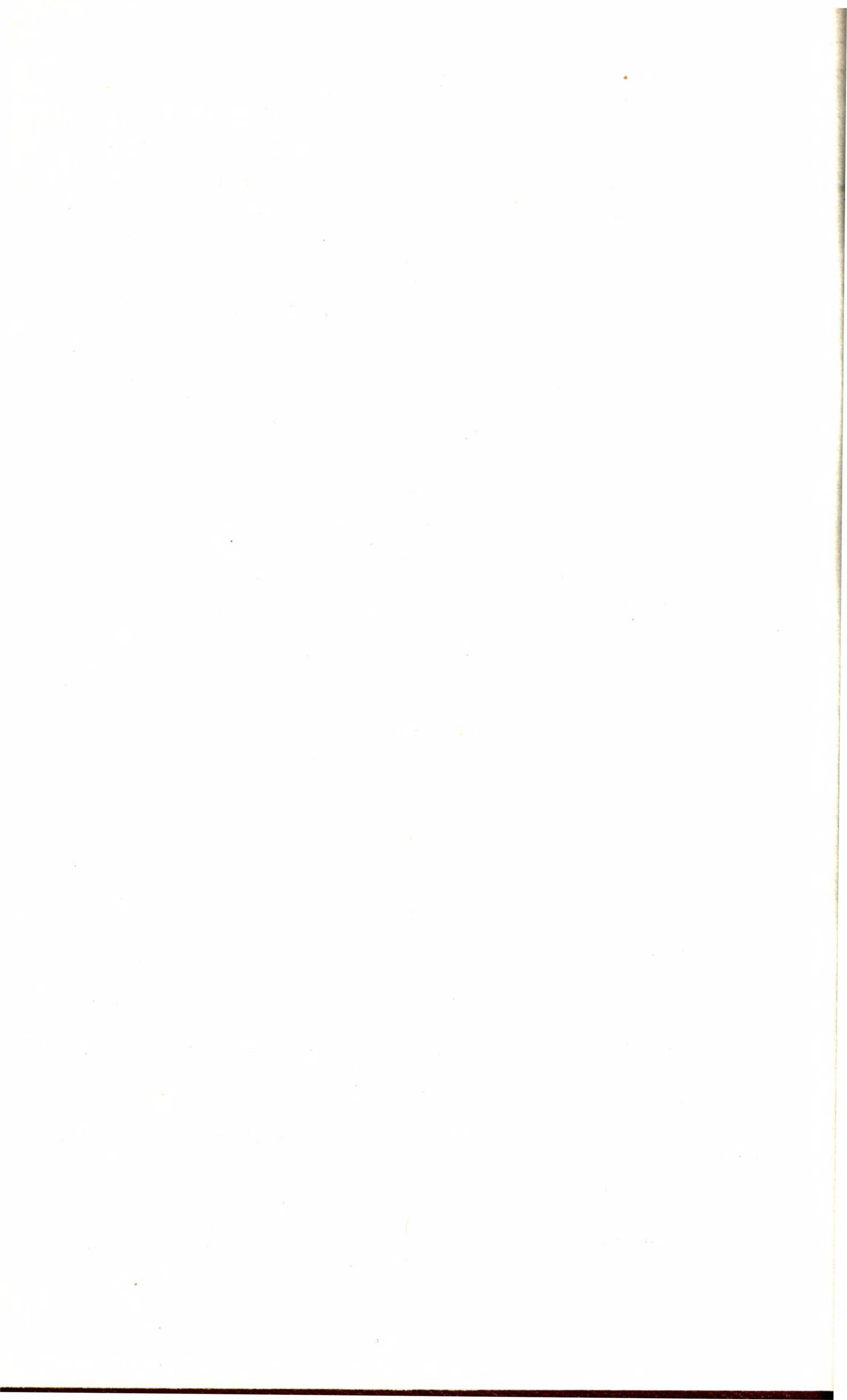
В четвертый том Собрания сочинений Михаила Шолохова включен роман «Тихий Дон» (книга четвертая).

Ш $\frac{4702010200-128}{028(01)-86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ТИХИЙ ДОН

Книга четвертая



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило: в соответствующий момент, совместно с частями генерала Фицхелаурова, сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север, с тем чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами.

План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16 000 штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах; подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой молодой армии, сформированной летом 1918 года из молодых, призывного возраста, казаков.

А в это время, окруженные с четырех сторон, повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческие дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то что на всем протяжении

фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти беспрерывный, ожесточенный огонь; остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока, несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа.

Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучавшая от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу: темной ночью вызвавшиеся охотой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из-под Вешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла подальше от Дона, в глубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон: осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира.

Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было: зарезали двух приблудившихся телок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшийся сотне, и Христоня на ловле постоянно ходил «от глуби», выхваляясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив:

— Воняет от тебя, как от дохлого сома! С тобой тут ежели еще сутки пожить, так потом всю жисть душа не будет рыбы принимать...

С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбьи внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, садился у входа в землянку

и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червивки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, запыхавшись, прибегал Аникушка, орал еще издали:

— Окромя тебе места нету? Хоть бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Ну, отойди, ради Христа, в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбьих накидал, муравьев приманул со всего округа и вонищу распустил, как в Астрахани!

Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил:

— Стало быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натощак, а?

Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил.

Стычки продолжались у них изо дня в день. Но в общем сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова.

Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу.

Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полсти, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку.

При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил:

— Разыщи в Вёшках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивел я, рубахи и портки нестираные, и, к тому же, скажи...— Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку; закончил: — Скажи, что, мол, дюже соскучился и ждет вскорости.

Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила попрежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящей внушительности

добавил от себя, что Степан грозил сам прийти в Вешенскую, в случае если Аксинья не явится в сотню.

Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, а через два часа Аксинья — покорная жена — уже ехала с Аникушкой к месту расположения Татарской сотни.

Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись:

— А почему ты пошла на Вёшки энтой стороной? Почему не переправилась против хутора?

Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить Мелеховых не захотела. И, уж после того как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие, а свои. И смутилась оттого, что и Степан мог так понять ее. А он, вероятно, так и понял. Что-то дрогнуло у него под бровями, и по лицу словно прошла тень.

Он вопрошающе поднял на Аксинью глаза, и она, понимая этот немой вопрос, вдруг вспыхнула от смущения, от досады на самое себя.

Степан, щадя ее, сделал вид, что ничего не заметил,— перевел разговор на хозяйство, стал расспрашивать, что́ из имущества успела спрятать перед уходом из дому и надежно ли спрятала.

Аксинья, отметив про себя великодушие мужа, отвечала ему, но все время испытывала какую-то щемящую внутреннюю неловкость и, чтобы убедить его в том, что все возникшее между ними зряшно, чтобы скрыть собственное волнение,— нарочито замедляла речь, говорила с деловитой сдержанностью и сухостью.

Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоня и тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор.

Аксинья обрадованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станицы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближней музге.

Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонились к земле отягощенные росою травы.

В музгах недружно квакали лягушки, и где-то, совсем неподалеку от землянки, за пышно разросшимся кленовым кустом скрипуче кричал коростель.

Аксинья прошла мимо куста. Весь он, от самой макушки до сокрытого в густейшей травяной поросли ствола, был оплетен паутиной. Нити паутины, унизанные мельчайшими капельками росы, жемчужно искрились. Коростель на минутку умолк, а потом — еще не успела выпрямиться примятая босыми ногами Аксиньи трава — снова подал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из музги чибис.

Аксинья скинула кофточку и стеснявший движения лиф, по колени забрела в парно-теплую воду музги, стала стирать. Над нею роилась мошкара, звенели комары. Согнутой в локте полной и смуглой рукой она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвязно думала о Григории, об их последней размолвке, предшествовавшей поездке его в сотню.

«Может, он зараз уже ищет меня? Нынче же ночью вернусь в станицу!» — бесповоротно решила Аксинья и улыбнулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скорым будет примирение.

И диковинно: последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений,— а тот прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и не умелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ.

И от этого Аксинья испытывала к нему еще бо́льшую любовь и почти материнскую нежность.

Вот и теперь: с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостиранную рубаху мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула:

— Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!

Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом

ладони, откинула с влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный серый рыбник скользит над водой, исчезая в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана.

Выстирав белье, развешала его на кустах, пришла в землянку.

Проснувшийся Христоня сидел около выхода, шевелил узловатыми, искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном, а тот, лежа на полсти, молча курил, упорно не отвечая на Христонины вопросы.

— Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силоваться на бродах перейтить... Беспременно на бродах! Окромя им негде. Или, думаешь, могут конницу вплынь пустить? Чего же ты молчишь, Степан? Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак!

Степан даже привскочил, с сердцем ответил:

— И чего ты привязался? Удивительный народ! Пришла жена проведать, так от вас отбою нет... Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться!

— Нашел с кем гутарить...— Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чирики, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину.

— Не дадут нам поговорить тут, пойдем в лес,— предложил Степан.

И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним.

Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшаника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемигиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая.

Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но, едва лишь шедший позади Степан поравнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал:

— С праздничком вас... разговемшись!

Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо... Он даже ше-

вельнул молодецки плечами, самодовольно показывая не просохшую от пота рубаху на спине.

И только после этого поощренные казаки, хохоча, оживленно заговорили:

— А и люта же, братцы, баба! На Степке-то рубаху хоть выжми... Прикипела к лопаткам!

— Выездила она его, в мылу весь...

А молоденький паренек, до самой землянки провожавший Аксинью восхищенным затуманенным взглядом, потерянно проронил:

— На всем белом свете такой раскрасавицы не найдешь, накажи господь!

На что Аникушка ему резонно заметил:

— А ты пробовал искать-то?

Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, гадливо морщась и от воспоминания о только что испытанной близости к мужу и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще:

— Ты не серчай, Ксюша, на этих жеребцов. От скуки они.

— Не на кого серчать-то,— глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из нее все, что привезла мужу. И еще тише: — На самою себя серчать бы надо, да сердца нет...

Разговор у них как-то не клеился. Минут через десять Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в Вёшки»,— подумала она и тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее Степаново белье.

Долго чинила сопревшие от пота рубахи и исподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце.

...В этот день она так и не ушла. Не хватило решимости. А наутро, едва взошло солнце, стала собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, только спросил перед расставанием:

— В Вёшках думаешь жить?

— Пока в Вёшках.

— Может, оставалась бы при мне?

— Негоже мне тут быть... с казаками.

— Оно-то так...— согласился Степан, но попрощался холодно.

Дул сильный юго-восточный ветер. Он летел издалека, приустал за ночь, но к утру все же донес горячий накал закаспийских пустынь и, свалившись за луговую пойму левобережья, иссушил росу, разметал туман, розовой душной мглою окутал меловые отроги придонских гор.

Аксинья сняла чирики и, захватив левой рукой подол юбки (в лесу на траве еще лежала роса), легко шла по лесной заброшенной дороге. Босые ноги приятно холодила влажная земля, а оголенные полные икры и шею ищущими горячими губами целовал суховей.

На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то недалеко на пересохшем озерце щелоктали в камыше дикие утки, хриповато кликал подружку селезень. За Доном нечасто, но почти безостановочно стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые года кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сидевшая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной первородною жизнью. Поемная почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безыменных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы по-

нюхать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо тенистым кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижние чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолоду плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканному платку.

Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей и верб. Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно вспугнутая стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки. Осыпанная призавявшими лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за Доном стрельбы, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее непокрытую голову. Проснулась, заслышав над собою людскую речь и конское пырсканье, поспешно привстала.

Около нее стоял, держа в поводу оседланную белоноздрую лошадь, молодой белоусый и белозубый казак. Он широко улыбался, поводил плечами, приплясывал, выговаривал хриповатым, но приятным тенорком слова веселой песни:

Я упала да лежу,
На все стороны гляжу.
Туда глядь,
Сюда глядь,
Меня некому поднять!
Оглянулася назад —
Позади стоит казак...

— Я и сама встану! — улыбнулась Аксинья и проворно вскочила, оправляя смятую юбку.

— Здорóво живешь, моя любезная! Ноженьки отказались служить аль приленилась? — приветствовал ее веселый казак.

— Сон сморил,— смущенно отвечала Аксинья.

— В Вёшки идешь?

— В Вёшки.

— Хочешь, подвезу?

— На чем же это?

— Ты садись верхи, а я пешком. Дело магарычевое...— И казачок подмигнул с шутливой многозначительностью.

— Нет уж, езжай с богом, а я и сама дойду.

Но казак обнаружил и опыт в любовных делах и упрямство. Воспользовавшись тем, что Аксинья покрывалась, он куцей, но сильной рукой обнял ее, рывком притянул к себе и хотел поцеловать.

— Не дури! — крикнула Аксинья и с силой ударила его локтем в переносицу.

— Лапушка моя, не дерись! Глянь, какая кругом благодать... Всякая тварь паруется... Давай и мы грех поимеем?.. — сузив смеющиеся глаза, щекоча шею Аксинье усами, шептал казак.

Выставив руки, беззлобно, но сильно упираясь ладонями в бурое, потное лицо казака, Аксинья попробовала освободиться, однако он держал ее крепко.

— Дурак! Я больная дурной болезнью... Пусти! — просила она, задыхаясь, думая этой наивной хитростью избавиться от приставанья.

— Это... чья болезня старше!..— уже сквозь зубы бормотнул казак и вдруг легко приподнял Аксинью.

Вмиг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из цепко державших ее рук.

— Я жена Григория Мелехова! Только подойди, рассукин ты сын!.. Расскажу — так он тебе...

Еще не веря в действие своих слов, Аксинья схватила в руки толстую сухую палку. Но казак сразу охладел. Вытирая рукавом защитной рубахи кровь с усов, обильно струившуюся из обеих ноздрей, он огорченно воскликнул:

— Дура! Ах, дура баба! Чего же ты раньше-то не сказала? Ишь кровь-то как хлобыщет... Мало мы ее с не-

приятелем проливаем, а тут ишо свои природные бабы начинают кровь пущать...

Лицо его вдруг стало скучным и неприветливым. Пока он умывался, черпая воду из придорожной лужины,— Аксинья поспешно свернула с дороги, быстро перешла поляну. Минут через пять казак обогнал ее. Он покосился на нее, молча улыбаясь, деловито поправил на груди винтовочный погон и поскакал шибкой рысью.

II

В эту ночь около хутора Малого Громчонка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах.

Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах — самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий визг, мужской хохот и посвист... Двадцать казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета двух пулеметчиков и конский цибар самогону.

От правого берега Дона в полной тишине отчалили загруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотне саженей от Дона.

Саперы, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев.

На левой стороне минут пять не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен, потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба и далеко покатилось прерывистое: «Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а-а!»

Громковская сотня была опрокинута и окончательному уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты.

Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по лугу в направлении Вёшенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новые партии красноармейцев, и полурота

первого батальона 111-го полка с двумя ручными пулеметами уже действовала во фланг Базковской сотне повстанцев.

В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Продвижение их было крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности, части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натыкались в ночной темноте на озера и налитые полой водой глубокие протоки, перейти которые вброд было невозможно.

Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета, с тем чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вёшенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление.

Но в Вёшенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной с вестью о переправе красных, послал за Кудиновым и Мелеховым. С хуторов Черного, Гороховки и Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операцией взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский триста сабель, с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли Татарской и Лебяженской сотням сдержать напор противника, в случае если он устремится в обход Вёшенской с востока; с запада, вниз по течению Дона, направил в помощь Базковской сотне Вёшенскую иногороднюю дружину и одну из Чирских пеших сотен; на угрожаемых участках расставил восемь пулеметов, а сам с двумя конными сотнями — часов около двух ночи — разместился на опушке Горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю.

Еще не погасли Стожары, когда Вёшенская иногородняя дружина, пробиравшаяся по лесу к базковскому колену, столкнулась с отступавшими базковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через широкое озеро, отделявшее Вёшенскую от луки, дружинники перебирались вплавь, в спешке побросав на берегу обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вёшенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вёшенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, прорвали фронт и ведут наступление на Вёшенскую...

Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве иногородней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий подъехал к одной группе, насмешливо спросил:

— Много перетопло, когда плыли через озеро?

Мокрый, на ходу выжимавший рубаху стрелок смущенно отвечал:

— Щуками плыли! Где уж там утопать...

— Со всеми конфуз бывает,— рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках.— А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не схотел, обмотки долго сымать, ну, и поплыл, а обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги... Уж и орал же он! В Елани небось слышно было!

Разыскав командира дружины Крамскова, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням.

На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело носившего боками коня, облегченно вздохнул:

— Насилу разыскал вас!

— Ты чего?

— Из штаба приказано передать, что Татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам... Кудинов, на словах, велел вам зараз же поспешать туда.

С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на дорогу. Через двадцать минут скачки они были уже около озера Голого Ильменя. Слева от них по лугу вроссыпь бежали охваченные паникой татарцы. Фронтовики и бывалые казаки пробирались не спеша, держались поближе к озеру, хоронясь в прибрежной куге; большинство же, руководимое, как видно, одним желанием — поскорее добраться до леса,— не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валило напрямик.

— Догоняй их! Пори плетями!..— скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторянам.

Позади всех, прихрамывая, диковинной, танцующей иноходью трусил Христоня. Накануне на рыбной ловле он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со

всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настигал его, высоко подняв над головой плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно наддал ходу.

— Куда?! Стой!.. Стой, говорят тебе!..— тщетно кричал Григорий.

Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрил бег, перейдя на какой-то разнузданный верблюжий галоп.

Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное матерное ругательство, гикнул на коня и, поравнявшись, с наслаждением рубнул плетью по мокрой от пота Христониной спине. Христоня взвился от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде заячьей «скидки», сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину.

Казаки, сопровождавшие Григория, заскакивали наперед бежавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали.

— Пори их!.. Пори!..— потрясая своей нарядной плетью, хрипло кричал Григорий.

Конь вертелся под ним, становился вдыбки, никак не хотел идти вперед. С трудом направив его, Григорий поскакал к бегущим впереди. На скаку он мельком видел остановившегося возле куста молчаливо улыбавшегося Степана Астахова; видел, как Аникушка, приседая от смеха и сложив ладони рупором, пронзительным, бабьим голосом визжал:

— Братцы! Спасайся, кто может! Красные!.. Ату их!.. Бери!..

Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватную куртку, бежавшего неутомимо и резво. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда, и Григорий еще издали заорал:

— Стой, сукин сын... Стой, зарублю!..

И вдруг человек в ватной куртке замедлил бег, остановился, и, когда стал поворачиваться,— характерным, знакомым с детства жестом выказывая высшую степень возбуждения,— пораженный Григорий, еще не видя обличья, узнал отца.

Щеки Пантелея Прокофьевича передергивали судороги.

— Это родной отец-то — сукин сын? Это отца грозишь срубить? — срывающимся фальцетом закричал он.

Глаза его дымились такой знакомой неуемной свирепо-

стью, что возмущение Григория разом остыло, и он, с силой придержав коня, крикнул:

— Не угадал в спину! Чего орешь, батя?

— Как так не угадал? Отца и не угадал?!

Столь нелепо и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поравнялся с отцом, примиряюще сказал:

— Батя, не серчай! На тебе сюртук какой-то неизвестный мне, окромя этого ты летел, как призовая лошадь, и даже хромота твоя куда делась! Как тебя угадать-то?

И опять, как бывало это раньше, всегда, в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и, все еще прерывисто дыша, но, посмирнев, согласился:

— Сюртук на мне, верно говоришь, новый, выменял на шубу — шубу таскать тяжело,— а хромать... Когда ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты!.. Смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь...

— Ну, до смерти ишо далеко. Поворачивай, батя! Патроны-то не раскидал?

— Куда ж поворачивать? — возмутился старик.

Но тут уж Григорий повысил голос; отчеканивая каждое слово, скомандовал:

— Приказываю вернуться! За ослушание командира в боевой обстановке, знаешь, что по уставу полагается?

Сказанное возымело действие: Пантелей Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Поравнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал:

— Вот они какие пошли, сынки-то! Нет того, чтобы уважить родителю или, к примеру говоря, ослобонить от бою, а он его же норовит... в это самое направить... да-а-а... Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был! Ровная у него душа была, а этот сумарок, Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой. Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе как шилом будет подсаживать!

Татарцев образумили без особого труда...

Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие; не слезая с седла, коротко пояснил:

— Красные переправились и силуются занять Вёшки. Возле Дона зараз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели ишо раз побежите — прикажу коннице, какая стоит в Еринском, рубить вас, как изменни-

ков! — Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: — Много у вас в сотне всякой сволочи набралось, она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки! А ишо казаками кличетесь! Особенно вы, деды, глядите у меня! Взялись воевать, так нечего теперь головы промеж ног хоронить! Зараз же, повзводно, рысью вон к энтому рубежу и от кустов к Дону. По-над Доном — до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!

Татарцы молча выслушали и так же молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на шибко поскакавшего Григория и сопутствовавших ему казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал:

— Ну и геройским сынком сподобил тебя господь! Истый орел! Как он Христоню-то потянул вдоль спины! Враз привел все в порядок!

И, польщенный в отцовских чувствах, Пантелей Прокофьевич охотно согласился:

— И не говори! Таких сынов по свету поискать! Полный бант крестов, это как, шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был и первенький, а все не такой! Уж дюже смирный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была! А этот — весь в меня! Ажник превзошел лихостью!

* * *

Григорий со своим полувзводом подбирался к Калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса, но их увидели с наблюдательного пункта, с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над вершинами верб, чмокнулся где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженные корневища старого осокоря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комьями жирной земли, и крошевом трухлявого дерева.

Оглушенный Григорий инстинктивно поднес к глазам руку, пригнулся в луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня.

Казачьи кони от потрясшего землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед; под Григорием конь

тяжко поднялся на дыбы, попятился, начал медленно валиться на бок. Григорий поспешно соскочил с седла, взял коня под уздцы. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на искрайке леса. Ложился на траву пороховой дымок; пахло свежевзвернутой землей, щепками, полусгнившим деревом; далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки.

Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь била его тело, под гнедым подшерстком волнами катились судороги.

— Готов кормилец? — громко спросил подскакавший казак.

Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно заторопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы: дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина.

Только в щетках, где-то около самых стаканов копыт, еще бились последние живчинки. Чуть вибрировало потертое крыло седла.

Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокую рану, теплую черную кровь, бившую из нее родниками, сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез:

— Стреляй с одной пули! — и передал ему свой маузер.

Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой.

С рассветом красноармейцы двинулись в наступление. В слоистом тумане поднялись их цепи, молча пошли по направлению к Вёшенской. На правом фланге, около налитой водой ложбины, на минуту замешкались, потом побрели по грудь в воде, высоко поднимая патронные подсумки и винтовки. Спустя немного с Обдонской горы согласно и величаво загремели четыре батареи. Как только по лесу веером начали ложиться снаряды, повстанцы открыли огонь. Красноармейцы уже не шли, а бежали с винтовками наперевес. Впереди них на полверсты сухо лопалась по лесу шрапнель, валились расщепленные снарядами деревья, белесыми клубами поднимался дым. Короткими

очередями заработали два казачьих пулемета. В первой цепи начали падать красноармейцы. Все чаще то тут, то там по цепи вырывали пули людей, опоясанных скатками, кидали их ничком или навзничь, но остальные не ложились, и все короче становилось расстояние, отделявшее их от леса.

Впереди второй цепи, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал высокий, с непокрытой головой командир. Цепь на секунду замедлила движение, но командир, на бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на побежку, снова все яростнее стало нарастать хрипловатое и страшное «ура-а-а!».

Тогда заговорили все казачьи пулеметы, на опушинах леса жарко, без умолку зачастили винтовочные выстрелы... Откуда-то сзади Григория, стоявшего с сотнями на выезде из леса, длинными очередями начал бить станковый пулемет Базковской сотни. Цепи дрогнули, залегли, стали отстреливаться. Часа полтора длился бой, но огонь пристрелявшихся повстанцев был так настилен, что вторая цепь, не выдержав, поднялась, смешалась с подходившей перебежками третьей цепью... Вскоре луг был усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на рыси вывел свои сотни из лесу, построил их и кинул в преследование. Дорогу к плотам отрезала отступавшим шедшая полным карьером Чирская сотня. У придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам прорвалась только часть красноармейцев. Они до отказа загрузили плоты, отчалили. Остальные бились, вплотную прижатые к Дону.

Григорий спе́шил свои сотни, приказал коноводам не выезжать из лесу, повел казаков к берегу. Перебегая от дерева к дереву, казаки все ближе подвигались к Дону. Человек полтораста красноармейцев ручными гранатами и пулеметным огнем отбросили наседавшую повстанческую пехоту. Плоты было снова направились к левому берегу, но базковцы ружейным огнем перебили почти всех гребцов. Участь оставшихся на этой стороне была предрешена. Слабые духом, побросав винтовки, пытались перебраться вплавь. Их расстреливали залегшие возле прорвы повстанцы. Много красноармейцев потонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Только двое перебрались благополучно: один в полосатой матросской тельняшке — как видно, искусный пловец — вниз головой кинулся с об-

рывистого берега, погрузился в воду и вынырнул чуть ли не на середине Дона.

Прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженками матрос доспевал к той стороне. И еще один переплыл благополучно. Он расстрелял все патроны, стоя по грудь в воде; что-то крикнул, грозя кулаком в сторону казаков, и пошел отмахивать наискось. Вокруг него чмокали пули, но ни одна не тронула счастливца. Там, где было когда-то скотинье стойло, он выбрел из воды, отряхнулся, не спеша стал взбираться по яру к дворам.

Оставшиеся возле Дона залегли за песчаным бугром. Их пулемет строчил безостановочно, до тех пор, пока не закипела в кожухе вода.

— За мной! — негромко скомандовал Григорий, как только пулемет умолк, и пошел к бугру, вынув из ножен шашку.

Позади, тяжко дыша, затопотали казаки.

До красноармейцев оставалось не более полусотни саженей. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал:

— Товарищи! Вперед! Бей беляков!

Кучка храбрецов с пением «Интернационала» пошла в контратаку. На смерть.

Сто шестнадцать павших последними возле Дона были все коммунисты Интернациональной роты.

III

Поздно ночью Григорий пришел из штаба на квартиру. Прохор Зыков ожидал его у калитки.

— Про Аксинью не слышно? — спросил Григорий с деланным равнодушием в голосе.

— Нет. Запропала где-то,— ответил Прохор, позевывая, и тотчас же со страхом подумал: «Не дай бог, опять заставит ее разыскивать... Вот скочетались, черти, на мою голову!»

— Принеси умыться. Потный я весь. Ну, живо! — уже раздраженно сказал Григорий.

Прохор сходил в хату за водой, долго лил из кружки в сложенные ковшом ладони Григория. Тот мылся с видимым наслаждением. Снял провонявшую по́том гимнастерку, попросил:

— Слей на спину.

От холодной воды, обжегшей потную спину, ахнул, зафыркал, долго и крепко тер натруженные ремнями плечи и волосатую грудь. Вытираясь чистой попонкой, уже повеселевшим голосом приказал Прохору:

— Коня мне утром приведут — прими его, вычисти, добудь зерна. Меня не буди, пока сам проснусь. Только если из штаба пришлют — разбудишь. Понятно?

Ушел под навес сарая. Лег на повозке и тотчас же окунулся в беспросыпный сон. На заре зяб, поджимал ноги, натягивал влажную от росы шинель, а после того как взошло солнце, снова задремал и проснулся часов около семи от полнозвучного орудийного выстрела. Над станицей, в голубом и чистом небе, кружил матово поблескивающий аэроплан. По нему били с той стороны Дона из орудий и пулеметов.

— А ить могут подшибить его! — проговорил Прохор, яростно охаживая щеткой привязанного к коновязи высокого рыжего жеребца.— Гляди, Пантелевич, какого черта под тебя прислали!

Григорий бегло осмотрел жеребца, довольный спросил:

— Не поглядел я, сколько ему годов. Шестой, должно?

— Шестой.

— Ох, хорош! Ножки под ним точеные и все в чулках. Нарядный конишко... Ну, седлай его, поеду погляжу, кто это прилетел.

— Уж хорош — слов нету. Как-то он будет на побежку? Но по всем приметам должон бы быть дюже резвым,— бормотал Прохор, затягивая подпруги.

Еще одно дымчато-белое облачко шрапнельного разрыва вспыхнуло около аэроплана.

Выбрав место для посадки, летчик резко пошел на снижение. Григорий выехал из калитки, поскакал к станичной конюшне, за которой опустился аэроплан.

В конюшне для станичных жеребцов — длинном каменном здании, стоявшем на краю станицы,— было битком набито более восьмисот пленных красноармейцев. Стража не выпускала их оправляться, параш в помещении не было. Тяжкий густой запах человеческих испражнений стеною стоял около конюшни. Из-под дверей стекали зловон-

ные потоки мочи; над ними тучами роились изумрудные мухи...

День и ночь в этой тюрьме для обреченных звучали глухие стоны. Сотни пленных умирали от истощения и свирепствовавших среди них тифа и дизентерии. Умерших иногда не убирали по суткам.

Григорий, объехав конюшню, только что хотел спешиться, как снова глухо ударило орудие с той стороны Дона. Скрежет приближающегося снаряда вырос и сомкнулся с тяжким гулом разрыва.

Пилот и прилетевший с ним офицер вылезли было из кабинки, их окружили казаки. Тотчас же на горе заговорили все орудия батареи. Снаряды стали аккуратно ложиться вокруг конюшни.

Пилот быстро влез в кабинку, но мотор отказался работать.

— Кати на руках! — зычно скомандовал казакам прилетевший из-за Донца офицер и первый взялся за крыло.

Покачиваясь, аэроплан легко двинулся к соснам. Батарея провожала его беглым огнем. Один из снарядов попал в набитую пленными конюшню. В густом дыму, в клубах поднявшейся известняковой пыли обрушился угол. Конюшня дрогнула от животного рева охваченных ужасом красноармейцев. В образовавшийся пролом выскочило трое пленных, сбежавшиеся казаки изрешетили их выстрелами в упор.

Григорий отскакал в сторону.

— Убьют! Езжай в сосны! — крикнул пробегавший мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белесыми глазами.

«А и в самом деле могут накинуть. Чем черт не шутит»,— подумал Григорий и не спеша повернул домой.

В этот день Кудинов, обойдя приглашением Мелехова, созвал в штабе строго секретное совещание. Прилетевший офицер Донской армии коротко сообщил, что со дня на день красный фронт будет прорван частями ударной группы, сконцентрированной возле станицы Каменской, и конная дивизия Донской армии под командой генерала Секретева двинется на соединение с повстанцами. Офицер предложил немедленно подготовить средства переправы, чтобы по соединении с дивизией Секретева тотчас же перебросить конные повстанческие полки на правую сторону Дона; посоветовал стянуть резервные части поближе к Дону и уже в конце совещания, после того как был разработан

план переправы и движения частей преследования, спросил:

— А почему у вас пленные находятся в Вёшенской?

— Больше их негде держать, в хуторах нет помещений,— ответил кто-то из штабных.

Офицер тщательно вытер носовым платком гладко выбритую вспотевшую голову; расстегнул ворот защитного кителя, со вздохом сказал:

— Направьте их в Казанскую.

Кудинов удивленно поднял брови.

— А потом?

— А оттуда — в Вёшенскую...— снисходительно пояснил офицер, щуря холодные голубые глаза. И, плотнее сжав губы, жестко закончил: — Я не знаю, господа, почему вы с ними церемонитесь? Время сейчас как будто не такое. Эту сволочь, являющуюся рассадником всяких болезней, как физических, так и социальных, надо истребить. Нянчиться с ними нечего! Я на вашем месте поступил бы именно так.

На другой день в пески вывели первую партию пленных в двести человек. Изможденные, иссиня-бледные, еле передвигающие ноги красноармейцы шли как тени. Конный конвой плотно окружал их нестройно шагавшую толпу... На десятиверстном перегоне Вёшенская — Дубровка двести человек были вырублены до одного. Вторую партию выгнали перед вечером. Конвою было строго приказано: отстающих только рубить, а стрелять лишь в крайнем случае. Из полутораста человек восемнадцать дошли до Казанской... Один из них, молодой цыгановатый красноармеец, в пути сошел с ума. Всю дорогу он пел, плясал и плакал, прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чабреца. Он часто падал лицом в раскаленный песок, ветер трепал грязные лохмотья бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутая кожей костистая спина и черные порепавшиеся подошвы раскинутых ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные блещущие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел.

Сердобольные бабы на одном из хуторов окружили конвойных, и величественная и дородная старуха строго сказала начальнику конвоя:

— Ты ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к богу стал ближе, и вам великий грех будет, коли такого-то загубите.

Начальник конвоя — бравый рыжеусый подхорунжий — усмехнулся:

— Мы, бабуня, лишнего греха не боимся на душу принимать. Все одно из нас праведников не получится!

— А ты ослобони, не противься,— настойчиво просила старуха.— Смерть-то над каждым из вас крылом машет...

Бабы дружно поддержали ее, и подхорунжий согласился.

— Мне не жалко, возьмите его. Он теперь не вредный. А за нашу доброту — молочка нам неснятого по корчажке на брата.

Старуха увела сумасшедшего к себе в хатенку, накормила его, постелила ему в горнице. Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к окошку, тихо запел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на худощавое лицо паренька, потом басовито сказала:

— Ваши-то, слыхать, недалеко...

Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише.

Тогда старуха строго заговорила:

— Ты, болезный мой, песенки брось играть, не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизню прожила, и меня не обманешь, не дурочка! Умом ты здоровый, знаю... Слыхала, как ты во сне гутарил, да таково складно!

Красноармеец пел, но все тише и тише. Старуха продолжала:

— Ты меня не боись, я тебе не лиха желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ить я их всех под сердцем выносила... Вспоила, вскормила, ночей смолоду не спала... Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют...— Она помолчала немного.

Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах, на тонкой худой шее напряженно запульсировала голубая жилка.

С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был осмыслен и полыхал таким нетерпеливым ожиданием, что старуха чуть приметно улыбнулась.

— Дорогу на Шумилинскую знаешь?

— Нет, бабуня,— чуть шевеля губами, ответил красноармеец.

— А как же ты пойдешь?

— Не знаю...

— То-то и оно! Что же мне с тобой теперича делать?

Старуха долго выжидала ответа, потом спросила:

— А ходить-то ты можешь?

— Пойду как-нибудь.

— Зараз тебе как-нибудь нельзя ходить. Надо идтить ночьми и шагать пошибче, ох, пошибче! Переднюй ишо, а тогда дам я тебе харчей и в поводыри внучонка, чтоб он дорогу указывал, и — в час добрый! Ваши-то, красные, за Шумилинской стоят, верно знаю. Вот ты к ним и припожалуешь. А шляхом вам нельзя идтить, надо — степью, логами да лесами, бездорожно, а то казаки перевстренут, и беды наберетесь. Так-то, касатик мой!

На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего двенадцатилетнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала:

— Идите с богом! Да, глядите, нашим служивым не попадайтеся!.. Не за что, касатик, не за что! Не мне кланяйся, богу святому! Я не одна такая-то, все мы, матери, добрые... Жалко ить вас, окаянных, до смерти! Ну, ну, ступайте, оборони вас господь! — и захлопнула окрашенную желтой глиной покосившуюся дверь хатенки.

IV

Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детишкам.

Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день троицы она впервые встала с постели, прошлась по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детишек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежонку.

И все время с исхудавшего лица ее не сходила улыбка, на ввалившихся щеках розовел румянец, а ставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей трепетной теплотой, как будто после родов.

— Полюшка, расхороша моя! Не забижал тебя Мишатка, как я хворала? — спрашивала она слабым голосом,

протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, гладя рукою черноволосую головку дочери.

— Нет, маманя! Мишка толечко раз меня побил, а то мы с ним хорошо игрались,— шепотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям.

— А бабушка жалела вас? — улыбаясь, допытывалась Наталья.

— Дюже жалела!

— А чужие люди, красные солдаты вас не трогали?

— Они у нас телушку зарезали, проклятые! — баском ответил разительно похожий на отца Мишатка.

— Ругаться нельзя, Мишенька! Ишь ты, хозяин какой! Больших нельзя черным словом обзывать! — назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку.

— Это бабка их так обзывала, спроси хоть у Польки,— угрюмо оправдывался маленький Мелехов.

— Верно, маманя, и курей они у нас всех дочиста порезали!

Полюшка оживилась: блестя черными глазенками, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух, бабка, кукарекал против Советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни! Хоть не проси — сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим».

И Полюшка развела руками, показывая:

— Во какие валенки оставил! Большущие-разбольшущие и все на дырьях!

Наталья, смеясь и плача, ласкала детишек и, не сводя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала:

— Ах ты моя Григорьевна! Истованная Григорьевна! Вся-то ты, до капельки, на своего батю похожа.

— А я похож? — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери.

— И ты похож. Гляди только: когда вырастешь — не будь таким непутевым, как твой батя...

— А он непутевый? А чем он непутевый? — заинтересовалась Полюшка.

На лицо Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи.

Присутствовавшая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский

говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой, вылинявшей кофточки...

На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей,— умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волновалась, и по тому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание,— Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки.

— Куда это собралась? — спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений.

— Пойду дедушку проведаю,— не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья.

Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что Кошевой сжег их дом и подворье.

— Слабая ты, не дойдешь.

— С передышками дотяну. Детей покормите, мамаша, а то я там, может, долго задержусь.

— И кто его знает — чего ты там будешь задерживаться! Ишо в недобрый час найдешь на этих чертей, прости бог. Не ходила бы, Натальюшка!

— Нет, я уж пойду.— Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку.

— Ну, погоди, чего ж ты голодная-то пойдешь? Сем-ка я молочка кислого положу?

— Нет, мамаша, спаси Христос, не хочу... Прийду, тогда поем.

Видя, что сноха твердо решила идти, Ильинична посоветовала:

— Иди лучше над Доном, огородами. Там тебя не так видно будет.

Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, и из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветерком.

Перешагнув через поваленный, опутанный повиликой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к сердцу, остановилась возле свежего холмика земли.

Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы лопухами, влажной землей, туманом. На старой засохшей после пожара яблоне одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями ссохшейся глины уже показались зеленые жальца выметавшейся травы.

Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями, Наталья молча опустилась на колени, припала лицом к неласковой, извечно пахнущей смертным тленом земле...

Через час она крадучись вышла из сада, в последний раз со стиснутым болью сердцем оглянулась на место, где некогда отцвела ее юность,— пустынный двор угрюмо чернел обуглившимися сохами сараев, обгорелыми развалинами печей и фундамента,— и тихо пошла по проулку.

* * *

С каждым днем Наталья поправлялась все больше. Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой наливалось тело. Вскоре стала помогать свекрови в стряпне. Возясь у печи, они подолгу разговаривали.

Однажды утром Наталья с сердцем сказала:

— И когда же это кончится? Вся душа изболелась!

— Вот поглядишь, скоро переправются наши из-за Дона,— уверенно отозвалась Ильинична.

— А почем вы знаете, мамаша!

— У меня сердце чует.

— Лишь бы наши казаки были целые. Не дай бог — убьют кого или поранют. Гриша, ить он отчаянный,— вздохнула Наталья.

— Небось ничего им не сделается, бог не без милости. Старик-то наш сулился опять переправиться, проведать нас, да, должно, напужался. Кабы приехал — и ты бы с ним переправилась к своим, от греха. Наши-то, хуторные, супротив хутора лежат, обороняются. Надысь, когда ты ишо лежала без памяти, пошла я на заре к Дону, зачерпнула воды и слышу — из-за Дона Аникушка шумит: «Здорово, бабушка! Поклон от старика!»

— А Гриша где? — осторожно спросила Наталья.

— Он ими всеми командует издаля,— простодушно отвечала Ильинична.

— Откуда ж он командует?

— Должно, из Вёшек. Больше неоткуда.

Наталья надолго умолкла. Ильинична глянула в ее сторону, испуганно спросила:

— Да ты чего это? Чего кричишь-то?

Не отвечая, Наталья прижимала к лицу грязную завеску, тихо всхлипывала.

— Не кричи, Натальюшка. Слезой тут не поможешь.

Бог даст, живых-здоровых увидим. Ты сама-то берегись, зря не выходи на баз, а то увидют эти анчихристы, воззрятся...

В кухне стало темнее. Снаружи окно заслонила чья-то фигура. Ильинична повернулась к окну и ахнула:

— Они! Красные! Натальюшка! Скорей ложись на кровать, прикинься, будто ты хворая... Как бы греха... Вот дерюжкой укройся!

Только что Наталья, дрожа от страха, упала на кровать, как звякнула щеколда, и в стряпку, пригибаясь, вошел высокий красноармеец. Детишки вцепились в подол побелевшей Ильиничны. А та, как стояла возле печи, так и присела на лавку, опрокинув корчажку с топленым молоком.

Красноармеец быстро оглядел кухню, громко сказал:

— Не пугайтесь. Не съем. Здравствуйте!

Наталья, притворно стоная, с головой укрылась дерюгой, а Мишатка исподлобья всмотрелся в гостя и обрадованно доложил:

— Бабуня! Вот этот самый и зарезал нашего кочета! Помнишь?

Красноармеец снял защитного цвета фуражку, поцокал языком, улыбнулся.

— Узнал, шельмец! И охота тебе про этого петуха вспоминать? Однако, хозяюшка, вот какое дело: не можешь ли ты выпечь нам хлеба? Мука у нас есть.

— Можно... Что ж... Испеку...— торопливо заговорила Ильинична, не глядя на гостя, стирая с лавки пролитое молоко.

А красноармеец присел около двери, вытащил кисет из кармана и, сворачивая папироску, затеял разговор:

— К ночи выпечешь?

— Можно и к ночи, ежели вам спешно.

— На войне, бабушка, завсегда спешно. А за петушка вы не обижайтесь.

— Да мы ничего! — испугалась Ильинична.— Это дите глупое... Вспомнит же, что́ не надо!

— Однако скупой ты, паренек...— добродушно улыбался словоохотливый гость, обращаясь к Мишатке.— Ну чего ты таким волчонком смотришь? Подойди сюда, потолкуем всласть про твоего петуха.

— Подойди, болезный! — шепотом просила Ильинична, толкая коленом внука.

Но тот оторвался от бабушкиного подола и норовил уже

выскользнуть из кухни, боком-боком пробираясь к дверям. Длинной рукой красноармеец притянул его к себе, спросил:

— Сердишься, что ли?

— Нет,— шепотком отозвался Мишатка.

— Ну вот и хорошо. Не в петухе счастье. Отец-то твой где? За Доном?

— За Доном.

— Воюет, значит, с нами?

Подкупленный ласковым обращением, Мишатка охотно сообщил:

— Он всеми казаками командует!

— Ох, врешь, малый!

— Спроси вот хучь у бабки.

А бабка только руками всплеснула и застонала, окончательно сокрушенная разговорчивостью внука.

— Командует всеми? — переспросил озадаченный красноармеец.

— А может, и не всеми...— уже неуверенно отвечал Мишатка, сбитый с толку отчаянными взглядами бабки.

Красноармеец помолчал немного, потом, искоса поглядывая на Наталью, спросил:

— Молодайка болеет, что ли?

— Тиф у нее,— неохотно ответила Ильинична.

Двое красноармейцев внесли в кухню мешок с мукой, поставили его около порога.

— Затопляй, хозяйка, печь! — сказал один из них.— К вечеру придем за хлебами. Да смотри, чтобы припек был настоящий, а то худо тебе будет!

— Как умею, так и испеку,— ответила Ильинична, донельзя обрадованная тем, что вновь пришедшие помешали продолжению опасного разговора и Мишатка выбежал из кухни.

Один спросил, кивком головы указывая на Наталью:

— Тифозная?

— Да.

Красноармейцы поговорили о чем-то вполголоса, покинули кухню. Не успел последний из них свернуть за угол — из-за Дона защелкали винтовочные выстрелы.

Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огороже, залегли за ней и, дружно клацая затворами, стали отстреливаться.

Испуганная Ильинична бросилась во двор искать Мишатку. Из-за огорожи ее окликнули:

— Эй, бабка! Иди в дом! Убьют!

— Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький! — со слезами в голосе звала старуха.

Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из-за Дона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего Мишатку и ушла с ним в кухню, стрельба возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули мелеховский двор.

Ильинична, шепотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось.

К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулеметы.

Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к Гетманскому шляху.

Великая тишина как-то сразу распростерлась надо всем Обдоньем. Умолкли орудия и пулеметы. По дорогам, по затравевшим летникам, от хуторов к Гетманскому шляху нескончаемо потянулись обозы, батареи; колоннами пошла пехота и конница.

Ильинична, смотревшая из окна, как по меловым мысам карабкаются на гору отставшие красноармейцы, вытерла о завеску руки, с чувством перекрестилась:

— Привел-то господь, Натальюшка! Уходют красные!

— Ох, маманя, это они из хутора на гору в окопы идут, а к вечеру вернутся.

— А чего же они бегом поспешают? Пихнули их наши! Отступают проклятые! Бегут анчихристы!..— ликовала Ильинична, а сама снова взялась вымешивать тесто.

Наталья вышла из сенцев, стала у порога и, приложив ладонь к глазам, долго глядела на залитую солнечным светом меловую гору, на выгоревшие бурые отроги.

Из-за горы в предгрозовом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся туч. Жарко калило землю полуденное солнце. На выгоне свистели суслики, и тихий грустноватый их посвист странно сочетался с жизнерадостным пением жаворонков. Так мила сердцу Натальи была установившаяся после орудийного гула тишина, что она, не шевелясь, с жадностью вслушивалась и в бесхитростные песни жаворонков и в скрип колодезного журавля, и в шелест напитанного полынной горечью ветра.

Он был горек и духовит, этот крылатый, степной, восточный ветер. Он дышал жаром раскаленного черноземе-

ма, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя: тянуло пресной влагой от Дона, почти касаясь земли раздвоенными остриями крыльев, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесье парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик.

Наталья прошлась по двору. За каменной огорожей на помятой траве лежали золотистые груды винтовочных гильз. Стекла и выбеленные стены дома зияли пулевыми пробоинами. Одна из уцелевших кур, завидев Наталью, с криком взлетела на крышу амбара.

Ласковая тишина недолго стояла над хутором. Подул ветер, захлопали в покинутых домах распахнутые ставни и двери. Снежно-белая градовая туча властно заслонила солнце и поплыла на запад.

Наталья, придерживая растрепанные ветром волосы, подошла к летней кухне, оттуда снова поглядела на гору. На горизонте — окутанные сиреневой дымкой пыли — на рысях шли двуколки, скакали одиночные всадники. «Значит, верно: уходят!» — облегченно решила Наталья.

Не успела она войти в сенцы, как где-то далеко за горою раскатисто и глухо загремели орудийные выстрелы и, точно перекликаясь с ними, поплыл над Доном радостный колокольный трезвон двух вешенских церквей.

На той стороне Дона из леса густо высыпали казаки. Они тащили волоком и несли на руках баркасы к Дону, спускали их на воду. Гребцы, стоя на кормах, проворно орудовали веслами. Десятка три лодок наперегонки спешили к хутору.

— Натальюшка! Родимая моя! Наши едут!..— плача навзрыд, причитала выскочившая из кухни Ильинична.

Наталья схватила на руки Мишатку, высоко подняла его. Глаза ее горячечно блестели, а голос прерывался, когда она, задыхаясь, говорила:

— Гляди, родненький, гляди, у тебя глазки вострые... Может, и твой отец с казаками... Не угадаешь? Это не он едет на передней лодке? Ох, да не туда ты глядишь!..

На пристани встретили одного исхудавшего Пантелея Прокофьевича. Старик прежде всего справился, целы ли быки, имущество, хлеб, всплакнул, обнимая внучат. А когда, спеша и прихрамывая, вошел на родное подворье — побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей выжженной земли свою седую голову.

V

Под командованием генерала Секретева трехтысячная конная группа Донской армии при шести конных орудиях и восемнадцати вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станице Казанской.

Ранним утром третьего дня офицерский разъезд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но командовавший разъездом казачий есаул по одежде узнал повстанцев, помахал нацепленным на шашку носовым платком и зычно крикнул:

— Свои!.. Не бегай, станичники!..

Разъезд без опаски подскакал к отножине яра. Начальник повстанческого караула — старый седой вахмистр,— на ходу застегивая захлюстанную по росе шинель, вышел вперед. Восемь офицеров спешились, и есаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белевшей на околыше офицерской кокардой, улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему обычаю — поцелуемся.— Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжидающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил:

— Ну как, опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?

— Так точно, ваше благородие! Покрыли грех... Три месяца сражались, не чаяли дождаться вас!

— Хорошо, что хоть поздно, да взялись за ум. Дело прошлое, а кто старое вспомянет — тому глаз вон. Какой станицы?

— Казанской, ваше благородие!

— Ваша часть за Доном?

— Так точно!

— Красные куда направились от Дона?

— Вверх по Дону, должно — на Донецкую слободку.

— Конница ваша еще не переправлялась?

— Никак нет.

— Почему?

— Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону.

— Артиллерия была у них тут?

— Две батареи были.

— Когда они снялись?

— Вчера на ночь.

— Преследовать надо было! Эх вы, раззявы! — укоризненно проговорил есаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту.

Вахмистр стоял навытяжку, руки по швам. В двух шагах позади него толпились казаки, со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства рассматривая офицеров, седла, породистых, но истощенных переходом лошадей.

Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминали ноги, похаживали возле лошадей, искоса посматривали на казаков. Уже ни на одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погонов, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины — все новое и не русского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в черкеске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в горских, без каблуков, сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную пачку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил:

— Курите, братцы!

Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры.

— Ну, как жилось под большевиками? — спросил большеголовый и широкоплечий хорунжий.

— Не дюже сладко...— сдержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно затягиваясь папиросой, глаз не сводя с высоких зашнурованных по колено гетр, туго обтягивавших толстые икры хорунжего.

На ногах казака еле держались стоптанные рваные чирики. Белые, многократно штопанные шерстяные чулки, с заправленными в них шароварами, были изорваны; потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельщавших его толщиною неизносных подошв, ярко блестевшими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение:

— А и хороша же у вас обувка!

Но хорунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал:

— Захотелось вам заграничную экипировку променять

на московские лапти, так теперь нечего на чужое завидовать!

— Промашка вышла. Обвиноватились...— смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки.

Хорунжий продолжал издевательски отчитывать:

— Ум у вас оказался бычиный. Бык, он ведь всегда так: сначала шагнет, а потом стоит думает. Промашка вышла! А осенью, когда фронт открыли, о чем думали! Комиссарами хотели быть! Эх вы, защитники отечества!..

Молоденький сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся хорунжему: «Оставь, будет тебе!» И тот затоптал папироску, сплюнул, развалисто пошел к лошадям.

Есаул передал ему записку, что-то сказал вполголоса. С неожиданной легкостью тяжеловатый хорунжий вскочил на коня, круто повернул его и поскакал на запад.

Казаки смущенно молчали. Подошедший есаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил:

— Сколько верст отсюда до хутора Варваринского?

— Тридцать пять,— в несколько голосов ответили казаки.

— Хорошо. Так вот что, станичники, ступайте и передайте вашим начальникам, чтобы конные части, не медля ни минуты, переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер, он поведет конницу. А пехота походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с богом шагом арш!

Казаки толпою пошли под гору. Саженей сто шагали и молчали, как по сговору, а потом невзрачный казачишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый хорунжий, покачал головой и горестно вздохнул:

— Вот и соединились, братушки...

Другой с живостью добавил:

— А хрен редьки не слаже! — и смачно выругался.

VI

Тотчас же, как только в Вёшенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разъезды и двинулся на юг.

За обдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали сливавшиеся раскаты орудийных выстрелов.

— Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют! Беглым огнем содют! — восхищенно сказал один из командиров, подъезжая к Григорию.

Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Базковского на протяжении трех верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арб. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном, все, что в великой хозяйской жадности было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением, зловонные трупы быков и лошадей.

— Вот так нахозяевали! — воскликнул потрясенный Григорий и, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно объехал курганчик слежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровяненном зипуне.

— Докараулил дедок свое добро! Черти его взмордовали тут оставаться,— с сожалением сказал кто-то из казаков.

— Небось, пашаницу жалко было бросать...

— А ну, трогай рысью! Воняет от него — не дай бог. Эй! Трогай!..— возмущенно закричали из задних рядов.

И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только цокот множества конских копыт да перезвяк подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу.

...Бой шел неподалеку от имения Листницких. По суходолу, в стороне от Ягодного, густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель, в спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лава Калмыцкого полка.

Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. Две красноармейские роты, прикрывавшие отход по Вёшенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й дивизии, были разбиты 3-м Калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал:

— Управились тут без нас. Иди на соединение, а я на минуту забегу в усадьбу.

— Что за нужда? — удивился Ермаков.

— Ну, как тебе сказать, жил тут в работниках смолоду, вот и потянуло что-то поглядеть на старые места...

Кликнув Прохора, Григорий повернул в сторону Ягодного и, когда отъехал с полверсты,— увидел, как над головной сотней взвилось и заполоскалось на ветру белое полотнище, предусмотрительно захваченное кем-то из казаков.

«Будто в плен сдаются!» — с тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы нехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей прямо по зеленям на рысях идет конная группа секретевцев.

Грустью и запустением пахнуло на Григория, когда через поваленные ворота въехал он на заросший лебедою двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно не крашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врывался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым плесневелым душком нежили.

Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом трехдюймовки. В разбитое венецианское окно коридора просунулась верхушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента груду кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо оплетал уцелевшие стекла окна, тянулся к карнизу.

Время и непогода делали свое дело. Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне вывалилась подмытая вешними дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полусгнившей соломы.

На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскочили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий подъехал к распахнутому окну флигеля; перегнувшись с седла, громко спросил:

— Есть кто живой?

Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил:

— Погодите, ради Христа! Сейчас выйду.

Постаревшая Лукерья, шаркая босыми ногами, вышла

на крыльцо; щурясь от солнца, долго всматривалась в Григория.

— Не угадаешь, тетка Лукерья? — спешиваясь, спросил Григорий.

И только тогда что-то дрогнуло в рябом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проронить ни одного слова.

Григорий привязал коня, терпеливо выжидал.

— Натерпелась я страсти. Не дай и не приведи...— начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской.— Думала, опять они приехали... Ох, Гришенька, что тут было... И не расскажешь!.. Одна ить я осталась...

— А дед Сашка где же? Отступил с панами?

— Кабы отступил, может, и живой бы был...

— Неужели помер?

— Убили его... Третьи сутки лежит на погребу... зарыть бы надо, а я сама расхворалась... Насилу встала... Да и боюсь до смерти идтить туда к нему, к мертвому...

— За что же? — не поднимая глаз от земли, глухо спросил Григорий.

— За кобылу порешили... Наши-то паны отступили поспешно. Один капитал взяли, а имущество почти все на меня оставили.— Лукерья перешла на шепот: — Все до нитки соблюла! Зарытое и до се лежит... А из лошадей только трех орловских жеребцов взяли, остальных оставили на деда Сашку. Как началась восстания, брали их и казаки и красные. Вороного жеребца Вихоря — может, помнишь? — взяли на провесне красные. Насилу заседлали. Он ить под седлом сроду не ходил. Только не пришлось им на нем поездить, поликовать. Заезжали через неделю каргиновские казаки, рассказывали. Сошлись они на бугре с красными, зачали палить один в одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ништо ж не притянул Вихорь красного к казакам? Кинулся со всех ног к кобыле; и не мог его удержать энтот-то ездок, какой на нем сидел. Видит он, что не совладает с жеребцом, и захотел на всем скаку ссигнуть с него. Сигнуть-то сигнул, а ногу из стремени не вытянул. Вихорь его и примчал прямо к казакам в руки.

— Ловко! — воскликнул восхищенный Прохор.

— Теперь на этом жеребце каргиновский подфорунжий ездит,— размеренно повествовала Лукерья.— Сулил, как только пан вернется — сейчас же Вихоря на конюшню

представить. И так вот всех позабрали лошадок, и осталась одна рысачка Стрелка, что от Примера и Суженой. Была она жеребая, через это ее никто и не трогал. Опорожнилась она недавно, и дед Сашка так уж этого жеребеночка жалел, так жалел — и рассказать нельзя! На руках носил и из рожка подпаивал молоком и каким-то травяным настоем, чтобы на ногах крепче был. Вот и случилась беда... Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они шумят ему: «Иди сюда, такой-сякой!» Он косу бросил, подошел, поздоровался, а они и не глядят, молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?» Он и говорит: «Одна есть, но она по вашему военному делу негожая: кобыла, к тому же подсосая, с жеребенком». Самый лютый из них как зашумит: «Это не твоего ума дело! Веди кобылу, старый черт! У моей лошади спина побитая, и должон я ее сменить!» Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу, ну, а он, сам знаешь, характерный старичок был... Пану — и тому, бывало, не смолчит. Помнишь небось?

— Что же он, так и не дал? — вмешался в рассказ Прохор.

— Ну, как же тут не дашь? Он только и сказал им: «До вас, мол, сколько — прибегало конных, всех лошадей забрали, а к этой жалость имели, а вы что ж...» Тут они и поднялись: «А, шумят, панский холуй, ты пану ее берегешь?!» Ну, и потянули его... Один вывел кобылу, начал седлать, а жеребенок к ней под сиську лезет. Дед просить начал: «Смилуйтесь, не берите! Жеребеночка куда ж девать?» — «А вот куда!» — говорит другой да с тем отогнал его от матки, снял с плеча ружье и вдарил в него. Я так и залилась слезьми... Подбегла, прошу их, деда хватаю, хочу увесть от греха, а он как глянул на жеребеночка — бороденка на нем затряслась, побелел весь, как стена, и говорит: «Ежели так, то стреляй и меня, сучий сын!» Кинулся к ним, вцепился, седлать не дает. Ну, они осерчали и порешили его вгорячах. От ума я отошла, как они в него стрёльнули... Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы надо ему сделать, да разве это бабьего ума дело?

— Дай две лопаты и рядно,— попросил Григорий.

— Думаешь похоронять его? — спросил Прохор.

— Да.

— И охота тебе утруждаться, Григорий Пантелевич! Давай я зараз смотаюсь за казаками. Они и гроб сделают и могилку ему выроют подходящую...

Прохору, как видно, не хотелось возиться с похоронами какого-то старика, но Григорий решительно отклонил его предложение.

— Сами и могилу выроем и похороним. Старик этот хороший был человек. Ступай в сад, возле пруда подождешь, а я пойду гляну на покойника.

Под тем же старым разлапистым тополем, возле одетого ряской пруда, где некогда схоронил дед Сашка дочушку Григория и Аксиньи, нашел и он себе последний приют. Положили его сухонькое тело, завернутое в чистый, пахнущий хмелинами дежник, засыпали землей. Рядом с крохотным могильным холмиком вырос еще один, аккуратно притоптанный сапогами, празднично сияющий свежим и влажным суглинком.

Удрученный воспоминаниями Григорий прилег на траву неподалеку от этого маленького дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво распростертое над ним голубое небо. Где-то там, в вышних беспредельных просторах, гуляли ветры, плыли осиянные солнцем холодные облака, а на земле, только что принявшей веселого лошадника и пьяницу деда Сашку, все так же яростно кипела жизнь: в степи, зеленым разливом подступившей к самому саду, в зарослях дикой конопли возле прясел старого гумна неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя, свистели суслики, жужжали шмели, шелестела обласканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки и, утверждая в природе человеческое величие, где-то далеко-далеко по суходолу настойчиво, злобно и глухо стучал пулемет.

VII

Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквах весь день трезвонили, как на пасху. По улицам разъезжали на поджарых, истощенных переходом дончаках низовские казаки. На плечах у них вызывающе синели погоны. На площади около купеческого дома, где отвели квартиру генералу Секретеву, толпились ординарцы. Луща семечки, они заговаривали с проходившими мимо принаряженными станичными девками.

В полдень к генеральской квартире трое конных калмы-

ков пригнали человек пятнадцать пленных красноармейцев. Позади шла пароконная подвода, заваленная духовыми инструментами. Красноармейцы были одеты необычно: в серые суконные брюки и такие же куртки с красным кантом на обшлагах рукавов. Пожилой калмык подъехал к ординарцам, праздно стоявшим у ворот, спешился, сунул в карман глиняную трубочку.

— Наши красных трубачей пригнала. Понимаешь?

— Чего ж тут понимать-то? — лениво отозвался толстомордый ординарец, сплевывая подсолнечную лузгу на запыленные сапоги калмыка.

— Чего ничего,— прими пленных. Наел жирный морда, болтай зря чего!

— Но-но! Ты у меня поговоришь, курюк бараний! — обиделся ординарец. Но доложить о пленных пошел.

Из ворот вышел дебелый есаул в коричневом, туго затянутом в талии бешмете. Раскорячив толстые ноги, картинно подбоченясь, оглядел столпившихся красноармейцев, пробасил:

— Комиссаров музыкой ус-слаж-дали, рвань тамбовская! Откуда серые мундиры? С немцев поснимали, что ли?

— Никак нет,— часто мигая, ответил стоявший впереди всех красноармеец. И скороговоркой пояснил: — Еще при Керенском нашей музыкантской команде пошили эту форму, перед июньским наступлением... Так вот и носим с той поры...

— Поносишь у меня! Поносишь! Вы у меня поносите! — Есаул сдвинул на затылок низко срезанную кубанку, обнажив на бритой голове малиновый незарубцевавшийся шрам, и круто повернулся на высоких стоптанных каблуках лицом к калмыку.— Чего ты их гнал, некрещеная харя? За каким чертом? Не мог по дороге на распыл пустить?

Калмык весь как-то незаметно подобрался, ловко сдвинул кривые ноги и, не отнимая руки от козырька защитной фуражки, ответил:

— Командир сотни приказала гони сюда надо.

— «Гони сюда надо»! — передразнил франтоватый есаул, презрительно скривив тонкие губы, и, грузно ступая отечными ногами, подрагивая толстым задом, обошел красноармейцев: долго и внимательно, как барышник — лошадей, осматривал их.

Ординарцы потихоньку посмеивались. Лица конвойных калмыков хранили всегдашнюю бесстрастность.

— Открыть ворота! Загнать их во двор! — приказал есаул.

Красноармейцы и подвода с беспорядочно наваленными инструментами остановились у крыльца.

— Кто капельмейстер? — закуривая, спросил есаул.

— Нет его,— ответили сразу несколько голосов.

— Где же он? Сбежал?

— Нет, убит.

— Туда и дорога. Обойдетесь и без него. А ну, разобрать инструменты!

Красноармейцы подошли к подводе. Смешиваясь с назойливым перезвоном колоколов, во дворе робко и нестройно зазвучали медные голоса труб.

— Приготовиться! Давайте «Боже, царя храни».

Музыканты молча переглянулись. Никто не начинал. С минуту длилось тягостное молчание, а потом один из них, босой, но в аккуратно закрученных обмотках, глядя в землю, сказал:

— Из нас никто не знает старого гимна...

— Никто? Интересно... Эй, там! Полувзвод ординарцев с винтовками!

Есаул отбивал носком сапога неслышный такт. В коридоре, гремя карабинами, строились ординарцы. За палисадником в густо разросшихся акациях чирикали воробьи. Во дворе жарко пахло раскаленными железными крышами сараев и людским едким потом. Есаул отошел с солнцепека в тень, и тогда босой музыкант с тоскою глянул на товарищей, негромко сказал:

— Ваше высокоблагородие! У нас все тут — молодые музыканты. Старое не приходилось играть... Революционные марши всё больше играли... Ваше высокоблагородие!

Есаул рассеянно вертел кончик своего наборного ремешка, молчал.

Ординарцы выстроились возле крыльца, ждали приказания. Расталкивая красноармейцев, из задних рядов поспешно выступил пожилой с бельмом на глазу музыкант; покашливая, спросил:

— Разрешите? Я могу исполнить.— И не дожидаясь согласия, приложил к дрожащим губам накаленный солнцем фагот.

Гнусавые тоскующие звуки, одиноко взметнувшиеся над просторным купеческим двором, заставили есаула гневно поморщиться. Махнув рукой, он крикнул:

— Перестать! Как нищего за ... тянешь! Разве это музыка?

В окнах показались улыбающиеся лица штабных офицеров и адъютантов.

— Вы им похоронный марш закажите! — юношеским тенорком крикнул до половины свесившийся из окна молоденький сотник.

Надсадный звон колоколов на минуту смолк, и есаул, шевеля бровями, вкрадчиво спросил:

— «Интернационал», надеюсь, исполняете? Давайте-ка! Да не бойтесь! Давайте, раз приказываю.

И в наступившей тишине, в полуденном зное, словно зовя на бой, вдруг согласно и величаво загремели трубные негодующие звуки «Интернационала».

Есаул стоял, как бык перед препятствием, наклонив голову, расставив ноги. Стоял и слушал. Мускулистая шея его и синеватые белки прищуренных глаз наливались кровью.

— От-ста-вить!..— не выдержав, яростно заорал он.

Оркестр разом умолк, лишь валторна запоздала, и надолго повис в раскаленном воздухе ее страстный незаконченный призыв.

Музыканты облизывали пересохшие губы, вытирали их рукавами, грязными ладонями. Лица их были усталы и равнодушны. Только у одного предательская слеза сбежала по запыленной щеке, оставив влажный след...

Тем временем генерал Секретев отобедал у родных своего сослуживца еще по русско-японской войне и, поддерживаемый пьяным адъютантом, вышел на площадь. Жара и самогон одурманили его. На углу против кирпичного здания гимназии ослабевший генерал споткнулся, упал ничком на горячий песок. Растерявшийся адъютант тщетно пытался поднять его. Тогда из толпы, стоявшей неподалеку, поспешили на помощь. Двое престарелых казаков под руки почтительнейше приподняли генерала, которого тут же всенародно стошнило. Но в перерывах между приступами рвоты он еще пытался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками. Кое-как уговорили его, повели на квартиру.

Стоявшие поодаль казаки провожали его долгими взглядами, вполголоса переговаривались:

— Эк его, болезного, развезло-то! Не в аккурате держит себя, даром что генерал.

— Самогонка-то на чины-ордена не глядит.

— Хлебать бы надо не всю, какую становили...

— Эх, сваток, не всякий вытерпит! Иной в пьяном виде сраму наберется и зарекается сроду не пить... Да ить оно ка́к говорится: зарекалась свинья чегой-то есть, бежит, а их два лежит...

— То-то и оно! Шумни ребятишкам, чтобы отошли. Идут рядом, вылупились на него, враженяты, как, скажи, сроду они пьяных не видали.

...Трезвонили и самогон пили по станице до самых сумерек. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет.

Высокий статный Секретев — исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы — был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упреки и угрозы по адресу верхнедонцев.

Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушивался в слова Секретева. Не успевший протрезвиться генерал стоял, опираясь пальцами о стол, расплескивая из стакана пахучий самогон; говорил, с излишней твердостью произнося каждую фразу:

— ...Нет, не мы вас должны благодарить за помощь, а вы нас! Именно вы, это надо твердо сказать. Без нас красные вас уничтожили бы. Вы это сами прекрасно знаете. А мы и без вас раздавили бы эту сволочь. И давим ее и будем давить, имейте в виду, до тех пор, пока не очистим наголо всю Россию. Вы бросили осенью фронт, пустили на казачью землю большевиков... Вы хотели жить с ними в мире, но не пришлось! И тогда вы восстали, спасая свое имущество, свою жизнь... Попросту — спасая свои и бычиные шкуры. Я вспоминаю о прошлом не для того, чтобы попрекнуть вас вашими грехами... Это не в обиду вам говорится. Но истину установить никогда не вредно. Ваша измена была нами прощена. Как братья, мы пошли к вам в наиболее трудную для вас минуту, пошли на помощь. Но ваше позорное прошлое должно быть искуплено в будущем. Понятно, господа офицеры? Вы должны искупить его своими подвигами и безупречным служением тихому Дону, понятно?

— Ну, за искупление! — ни к кому не обращаясь в отдельности, чуть приметно улыбаясь, сказал сидевший против Григория пожилой войсковой старшина и, не дожидаясь остальных, выпил первый.

У него — мужественное, слегка тронутое оспой лицо и насмешливые карие глаза. Во время речи Секретева губы его не раз складывались в неопределенную блуждающую усмешку, и тогда глаза темнели и казались совсем черными. Наблюдая за войсковым старшиной, Григорий обратил внимание на то, что тот был на «ты» с Секретевым и держался по отношению к нему крайне независимо, а с остальными офицерами был подчеркнуто сдержан и холоден. Он один из присутствовавших на банкете носил вшитые погоны цвета хаки на таком же кителе и нарукавный корниловский шеврон. «Какой-то идейный. Должно, из добровольцев»,— подумал Григорий. Пил войсковой старшина, как лошадь. Не закусывал и не пьянел, лишь время от времени отпускал широкий английский ремень.

— Кто это, насупротив меня, рябоватый такой? — шепотом спросил Григорий у сидевшего рядом Богатырева.

— А черт его знает,— отмахнулся подвыпивший Богатырев.

Кудинов не жалел для гостей самогона. Откуда-то появился на столе спирт, и Секретев, с трудом окончив речь, распахнул защитный сюртук, тяжело опустился на стул. К нему наклонился молодой сотник с ярко выраженным монгольским типом лица, что-то шепнул.

— К черту! — побагровев, ответил Секретев и залпом выпил рюмку спирта, услужливо налитую Кудиновым.

— А это кто с косыми глазами? Адъютант? — спросил Григорий у Богатырева.

Прикрывая ладонью рот, тот ответил:

— Нет, это его вскормленник. Он его в японскую войну привез из Маньчжурии мальчишкой. Воспитал и отдал в юнкерское. Получился из китайчонка толк. Лихой черт! Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. Два миллиона денег хапнул. Глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат! Повезло же проклятому! Чистый клад! Да пей ты, чего ты их разглядываешь?

Ответную речь держал Кудинов, но его почти никто уже не слушал. Попойка принимала все более широкий размах. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке.

Голо выбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял:

— Не-е-ет, извини! Уж это ты извини! Мы вам доверяем, но постольку-поскольку... Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубят себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным...

«Ну, и мы вам послужим постольку-поскольку!» — с холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал.

Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением, всей грудью, вдохнул свежий ночной воздух.

У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо перекликались кулики. Где-то далеко в займище заливисто и тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам были не нужны. Сволочь проклятая! Ломается, как конеечный пряник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку наступать... Вот подошло, так подошло! Куда ни кинь — везде клин. А ить я так и думал... Так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь носами закрутят. Отвыкли козырять да тянуться перед их благородиями»,— думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке.

Спирт подействовал и на него: кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку,— волоча ноги, пошел по улице.

Около домика Аксиньиной тетки на минуту остановился в раздумье, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сени была не заперта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо перед собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи суетилась Аксиньина тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона, в тарелке розовела порезанная на куски вяленая рыба.

Степан только что опорожнил стакан и, как видно, хотел закусить, но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене.

Как ни был пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана и его по-волчьи вспых-

нувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хрипловато проговорить:

— Здоро́во дневали!

— Слава богу,— испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношениях Григория с ее племянницей и не ожидавшая от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго.

Степан молча гладил левою рукою усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория.

А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбался, говорил:

— Вот, зашел проведать... Извиняйте.

Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория:

— Проходите, садитесь.

Теперь Григорию уж нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи объяснило Степану все. И Григорий пошел напролом:

— А где же жена?

— А ты... ее пришел проведать? — тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами.

— Ее,— со вздохом признался Григорий.

Он ждал в этот миг от Степана всего и, трезвея, готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза (в них уже погас недавний огонь), сказал:

— Я послал ее за водкой, она зараз прийдет. Садись, подожди.

Он даже встал — высокий и ладный — и подвинул Григорию стул; не глядя на хозяйку, попросил:

— Тетка, дайте чистый стакан.— И — Григорию: — Выпьешь?

— Немножко можно.

— Ну, садись.

Григорий присел к столу... Оставшееся в бутылке Степан разлил поровну в стаканы, поднял на Григория задернутые какой-то дымкой глаза.

— За все хорошее!

— Будем здоровы!

Чокнулись. Выпили. Помолчали. Хозяйка, проворная, как мышь, подала гостю тарелку и вилку с выщербленным черенком.

— Кушайте рыбку! Это малосольная.

— Благодарствую.

— А вы кладите на тарелку, угощайтесь! — потчевала повеселевшая хозяйка.

Она была донельзя довольна тем, что все обошлось так по-хорошему, без драки, без битья посуды, без огласки. Суливший недоброе разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружком жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени.

— Ты почему не в сотне? — обгладывая подлещика, спросил Григорий.

— Тоже проведать пришел,— помолчав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой.

— Сотня дома небось?

— Все в хуторе гостюют. Что ж, допьем?

— Давай.

— Будем здоровы!

— За все доброе!

В сенцах звякнула щеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул исподлобья на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо.

Аксинья, закутанная в ковровый платок, не узнавая Григория, подошла к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись, она насилу выговорила:

— Здравствуйте, Григорий Пантелевич!

Лежавшие на столе большие узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова.

Ставя на стол две бутылки самогона, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясущимися руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил дополна стаканы, повернулся лицом к жене:

— Возьми стакан и садись к столу.

— Я не хочу.

— Садись.

— Я же не пью ее, Степа!

— Сколько разов говорить? — Голос Степана дрогнул.

— Садись, соседка! — Григорий ободряюще улыбнулся.

Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось.

— Ах, беда-то какая! — Хозяйка огорченно всплеснула руками.

Аксинья молча собирала осколки.

Степан налил и ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью.

— Ну выпьем...— начал он и умолк.

В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевшая к столу Аксинья.

— ...Выпьем, жена, за долгую разлуку. Что же, не хочешь? Не пьешь?

— Ты же знаешь...

— Я зараз все знаю... Ну не за разлуку! За здоровье дорогого гостя Григория Пантелевича.

— За его здоровье выпью! — звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом.

— Победная твоя головушка! — прошептала хозяйка, выбежав на кухню.

Она забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел... Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные светом мухи да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станице петухи.

VIII

Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чабреца, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана.

Прохор проснулся в полночь. Спросил у хозяина квартиры:

— Наш-то не пришел?

— Нету. Гуляет с генералами.

— То-то там небось водки попьют! — завистливо вздохнул Прохор и, позевывая, стал одеваться.

— Ты куда это?

— Пойду коней напою да зерна засыплю. Говорил Пантелевич, что с рассветом выедем в Татарский. Переднюем там, а потом свои частя надо догонять.

— До рассвета ишо далеко. Позоревал бы.

Прохор с неудовольствием ответил:

— Сразу по тебе, дед, видать, что нестроевой ты был смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не ухаживать за ними, так, может, и живым не быть. На худоконке разве расскачешься? Чем ни добрее под тобою животина, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой: мне догонять их нету надобностев, а коли туго прийдется, подопрет к кутнице — так я первый махну! Я и так уж какой год лоб под пули подставляю, осточертело! Зажги, дедок, огонь, а то портянки не найду. Вот спасибо! Да-а-а, это наш Григорий Пантелевич кресты да чины схватывал, в пекло лез, а я не такой дурак; мне это без надобностев. Ну, никак, несут его черти, и небось пьяный в дымину.

В дверь тихонько постучали.

— Взойдите! — крикнул Прохор.

Вошел незнакомый казак с погонами младшего урядника на защитной гимнастерке и в фуражке с кокардой.

— Я ординарец штаба группы генерала Секретева. Могу я видеть их благородие господина Мелехова? — спросил он, козырнув и вытянувшись у порога.

— Нету его,— ответил пораженный выправкой и обращением вышколенного ординарца Прохор.— Да ты не тянись, я сам смолоду был такой дурак, как ты. Я его вестовой. А по какому ты делу?

— По приказанию генерала Секретева за господином Мелеховым. Его просили сейчас же явиться в дом офицерского собрания.

— Он туда потянул ишо с вечера.

— Был, а потом ушел оттуда домой.

Прохор свистнул и подмигнул сидевшему на кровати хозяину:

— Понял, дед? Зафитилил, значит, к своей жалечке... Ну, ты иди, служивый, а я его разыщу и представлю туда прямо тепленького!

Поручив старику напоить лошадей и задать им зерна, Прохор отправился к Аксиньиной тетке.

В непроглядной темени спала станица. На той стороне Дона в лесу наперебой высвистывали соловьи. Не торопясь, подошел Прохор к знакомой хатенке, вошел в сени и только что взялся за дверную скобу,— услышал басистый Степа-

нов голос. «Вот это я нарвался! — подумал Прохор.— Спросит, зачем пришел? А мне и сказануть нечего. Ну, была не была,— повидалась! Скажу, зашел самогонки купить, направили, мол, соседи в этот дом».

И, уже осмелев, вошел в горницу,— пораженный изумлением, молча раскрыл рот: за одним столом с Астаховыми сидел Григорий и — как ни в чем не бывало — тянул из стакана мутно-зеленый самогон.

Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал:

— Чего же ты зевало раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую увидал?

— Вроде этого...— переминаясь с ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор.

— Ну, не пужайся, проходи, садись,— приглашал Степан.

— Мне садиться время не указывает... Я за тобой, Григорий Пантелевич. Приказано к генералу Секретеву явиться зараз же.

Григорий и до прихода Прохора несколько раз порывался уйти. Он отодвигал стакан, вставал и тотчас же снова садился, боясь, что уход его Степан расценит как открытое проявление трусости. Гордость не позволяла ему покинуть Аксинью, уступить место Степану. Он пил, но самогон уже не действовал на него. И трезво оценивая всю двусмысленность своего положения, Григорий выжидал развязки. На секунду ему показалось, что Степан ударит жену, когда она выпила за его — Григория — здоровье. Но он ошибся: Степан поднял руку, потер шершавой ладонью загорелый лоб и — после недолгого молчания,— с восхищением глядя на Аксинью, сказал: «Молодец, жена! Люблю за смелость!»

Потом вошел Прохор.

Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться.

— Пойди туда и скажи, что не нашел меня. Понял? — обратился он к Прохору.

— Понять-то понял. Только лучше бы тебе, Пантелевич, сходить туда.

— Не твое дело! Ступай.

Прохор пошел было к дверям. Но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала:

— Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий Пантелевич! Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами

время... Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассвенет, а нам со Степой на зорьке надо домой идтить... Да и выпили вы достаточно. Хватит!

Степан не стал удерживать, и Григорий поднялся. Прощаясь, Степан задержал руку Григория в своей холодной и жесткой руке, словно бы хотел напоследок что-то сказать,— но так и не сказал, молча до дверей проводил Григория глазами, не спеша потянулся к недопитой бутылке...

Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора:

— Иди седлай коней и подъезжай сюда. Не дойду я..

— Не доложить об том, что едешь-то?

— Нет.

— Ну, погоди, я — живой ногой!

И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью.

Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал: «Ну что ж, теперь он знает. Лишь бы не бил Аксинью». Потом усталость и пережитое волнение заставили его прилечь. Он задремал.

Вскоре подъехал Прохор.

На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью.

С рассветом въехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору,— торопясь и волнуясь, пошел к дому.

Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и по тому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет.

Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни.

— Ну, как пережили? Все благополучно? — спросил, задыхаясь от волнения.

— Слава богу, сынок. Страху повидали, а так чтобы дюже забижать — этого не было,— торопливо ответила Ильинична и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово

крикнула ей: — Радоваться надо, а ты кричишь, дура! Ну, не стои же без дела! Неси дров печь затоплять...

Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил:

— Ты умойся, я солью на руки. Оно голова-то и посвежеет. Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях?

— Было дело. Только пока неизвестно: на радостях или при горести...

— Как так? — несказанно удивился старик.

— Да уж дюже Секретев злует на нас.

— Ну, это не беда. Неужли и он выпивал с тобой?

— Ну да.

— Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка! За одним столом с настоящим генералом! Подумать только! — И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком.

Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга.

Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот и имущество и сколько потравили зерна,— Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его.

И он не замедлил высказаться:

— Как же, Гришенька, теперича быть? Неужли опять прийдется служить?

— Ты про кого это?

— Про стариков. К примеру, хоть меня взять.

— Пока неизвестно.

— Стало быть, надо выступать?

— Ты можешь остаться.

— Да что ты! — обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне.

— Усядься ты, хромой бес! Сор-то не греби ногами по хате! Возрадовался, забегал, как худой щенок! — строго прикрикнула Ильинична.

Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение:

— А ты могешь дать освобождение?

— Конечно, могу.

— Бумажку напишешь?

— А то как же!

Старик замялся в нерешительности, но все же спросил:

— Бумажка-то, как она?.. Без печати-то. Али, может, и печать при тебе?

— Сойдет и без печати! — улыбнулся Григорий.

— Ну, тогда и гутарить нечего! — снова повеселел старик.— Дай бог тебе здоровья! Сам-то когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Частя твои пошли вперед? На Усть-Медведицу?

— Да. А за себя, батя, ты не беспокойся. Все равно вскорости таких, как ты, стариков, будут спущать по домам. Вы свое уж отслужили.

— Дай-то бог! — Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно.

Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетанье.

Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — это плоть от плоти его,— как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции...

Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы... Раза три он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки.

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный бьется колокольчик... Впрочем, все это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна...

Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы и, когда он, шутливым жестом разгладив усы, приблизил к ней лицо,— закрыла глаза. Григорий видел, как, словно от ветра, дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек.

А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка: гибкая, красивая и доступная.

— Цветешь? — спросил Григорий.

— Как придорожная белена! — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться.

Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности...

Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол.

— Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка.— Серый какой-то стал, как бирюк.

Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал:

— Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать... Только вот что я тебе скажу: о Мишке Кошевом с нонешнего дня и думать позабудь. Ежли услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь,— на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь — так и раздеру, как лягушонка! Поняла?

Дуняшка вспыхнула, как маков цвет,— сквозь слезы посмотрела на Григория.

Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице — в ощеренных под усами зубах, в суженных глазах — еще ярче проступило врожденное мелеховское, звероватое.

Но и Дуняшка была этой породы: оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала:

— Вы, братушка, знаете? Сердцу не прикажешь!

— Вырвать надо такое сердце, какое тебя слухаться не будет,— холодно посоветовал Григорий.

«Не тебе бы, сынок, об этом гутарить...» — подумала Ильинична.

Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал:

— Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь! Ах ты паскуда этакая! Вот пойду зараз, возьму вожжи...

— Батенка! Вожжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали! — со смиренным видом прервала его Дарья.

Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу:

— Возьму чересседельню — так я тебе таких чертей...

— И чересседельню красные тоже взяли! — уже громче вставила Дарья, по-прежнему глядя на свекра невинными глазами.

Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом (был похож он в этот миг на вытащенного из воды судака), а потом хрипло крикнул:

— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать — так тебя и убить мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Да ништо ж это человек? Да чтобы такой христопродавец был моим зятем?! Попадись он мне зараз — своей рукой смерти предам! Только пикни ишо: возьму шелужину, так я тебе...

— Их, шелужинов-то, на базу днем с огнем не сыщешь,— со вздохом сказала Ильинична.— По базу хоть шаром покати, хворостины на растопку и то не найдешь. Вот до чего дожили!

Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимися глазами, вскочил как сумасшедший, выбежал на баз.

Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но как только по крыльцу затопотал Пантелей Прокофьевич,— лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь.

— Вот! Вот! На всех на вас, на проклятых, языкастых, хватит! Ведьмы длиннохвостые!.. Шелужины нету?! А это что? И тебе, старая чертовка, достанется! Вы ее у меня отпробуете!..

Жердь не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугун, с грохотом бросил ее в сенцы,— тяжело дыша, присел к столу.

Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел

молча. Молчали и остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, господи, господи! Грехи наши тяжкие!» Одной Дуняшке было не до смеха, да Наталья, в отсутствие старика улыбавшаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточенна и грустна.

— Соли подай! Хлеба! — изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами.

Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами, и, по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень,— дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал:

— Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!..

— Это ты меня... то есть деда... так?

— Тебя! — мужественно подтвердил Мишатка.

— Да нешто родного деда можно... такими словами?!.

— А ты чего шумишь?

— Каков вражененок? — Поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами.— А это все от тебя, старая карга, таких слов наслухался! Ты научаешь!

— И кто его научает! Весь в тебя да в папаню необузданный! — сердито оправдывалась Ильинична.

Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая:

— Не учись так гутарить с дедом! Не учись!

Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:

— Гришка! Сынок! Фитинóв твоей матери! Верное слово старуха сказала! Наш! Мелеховских кровей!.. Вот она когда кровь сказалась-то!.. Этот никому не смолчит!.. Внучек! Родимый мой!.. На, бей старого дурака, чем хошь!.. Тягай его за бороду!..— И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой.

Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию:

— Оно вроде и неудобно просить тебя, ты ить у нас — гость, да делать нечего... Пособи плетни поставить, гумно

загородить, а то скрозь все повалено, а чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось.

Григорий охотно согласился, и они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу.

Врывая стоянки на огороде, старик спросил:

— Покос начнется что не видно, и не знаю — прикупать травы али нет. Ты как скажешь всчет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц красные опять припожалуют, и все сызнова пойдет к чертям на выделку?

— Не знаю, батя,— откровенно сознался Григорий.— Не знаю, чем оно обернется и кто кого придолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нонешним временам все это ни к чему. Вон возьми тестя: всю жизню хрип гнул, наживал, жилы из себя и из других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу!

— Я, парень, и сам так думаю,— подавив вздох, согласился старик.

И разговора о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приклячивает воротца на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью:

— Делай абы как. Чего ты стараешься? Не век же им стоять!

Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь по-старому...

Перед закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось оттого, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась.

Григорий сел на сундук, сказал:

— Присядь на-час, а то завтра уеду и не погутарим.

Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал:

— А ты гладкая, как будто и не хворала.

— Поправилась... Мы, бабы, живущие, как кошки,— сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову.

Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пуш-

ком мочку уха и в просветах между прядями волос желтоватую кожу на затылке, спросил:

— Лезут волосы?

— Вылезли почти все. Облиняла, скоро лысая буду.

— Давай я тебе голову побрею сейчас? — предложил вдруг Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнула она.— На что же я буду тогда похожа?

— Надо побриться, а то волосы не будут расть.

— Маманя сулила остричь меня ножницами,— смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густоподсиненный платок.

Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразна стала ее голова после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него... Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза.

Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам.

Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжаривавшиеся корчажки, недовольно говорила свекрови: «Вы и коровто, небось, не каждый день доили. Что-то старая меньше дает молока...»

С попаса возвращался табун. Мычали коровы, щелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята. Хрипло и прерывисто ревел хуторской бугай. Шелковистый подгрудок его и литая покатая спина в кровь были искусаны оводами. Бугай зло помахивал головой; на ходу поддев на короткие широко расставленные рога астаховский плетень, опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала:

— А бугай тоже отступал за Дон. Маманя рассказывала: как только застреляли в хуторе, он прямо со стойла переплыл Дон, в луке и спасался все время.

Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна... Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец, он спросил:

— С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташа? Ты бы сказала, а?

И ждал слез, упреков... Но Наталья испуганно ответила:

— Нет, нет, тебе так показалось, я ничего. Правда, я ишо не совсем поздоровела. Голова кружится и, ежли нагнусь или подыму что — в глазах темнеет.

Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил:

— Без меня тут тебя ничего?.. Не трогали?

— Нет, что ты! Я же все время лежала хворая.— И глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила: — Рано завтра тронешься?

— С рассветом.

— А передневать нельзя? — В голосе Натальи прозвучала неуверенная, робкая надежда.

Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала:

— Зараз тебе как... погоны надо надевать?

— Прийдется.

— Ну, тогда сыми рубаху, пришью их, пока видно.

Григорий, крякнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила.

— Эти?

— Эти самые. Соблюла?

— Мы сундук зарывали,— продевая в игольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнула такой родной солоноватый запах пота...

— Чего это ты? — удивленно спросил Григорий.

— Тобой пахнет...— блестя глазами, сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой.

Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами.

— Тебе с ними лучше! — сказала Наталья, с нескрываемым восхищением глядя на мужа.

Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул:

— Век бы их не видать. Ничего-то ты не понимаешь!

Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем.

Потом, когда смерклось и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю,— пошли в кухню вечерять.

И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки, а потом тихо, стараясь не разбудить Натальи, встал, оделся, вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил:

— Сем-ка я его свожу искупаю перед походом?

— Обойдется,— сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.

— Хорошо выспался? — осведомился старик.

— Дюже спал! Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь!

Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся.

— Им, парнишша, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам... Ни войны им, ни разору...

К воротам подъехал Прохор. Был он свеже выбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сохе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена. На плечах новехонькие погоны.

— И ты погоники нацепил, Григорий Пантелевич? — крикнул он, подходя.— Долежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить! До самой погибели хватит! Я говорю жене: «Не пришивай, дура, насмерть. Чудок приколбни, лишь бы ветром не сорвало, и хорош!» А то наше дело какое? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смикитят, что я — чин хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. «А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать — умей и голову подставлять!» Видал, на чем они у меня зависли? Умора!

Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались.

Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули не тронутые временем белые зубы.

— Вот это служивый! Стал быть, чуть чего — и долой погоны?

— А ты думаешь — как? — усмехнулся Прохор.

Григорий, улыбаясь, сказал отцу:

— Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь — сроду не пропадешь!

— Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелевич... Умри ты нынче, а я завтра,— оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман.— К фронту подъедем, там их и пришить можно.

Григорий наскоро позавтракал; попрощался с родными.

— Храни тебя царица небесная! — исступленно зашептала Ильинична, целуя сына.— Ты ить у нас один остался...

— Ну, дальние проводы — лишние слезы. Прощайте! — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню.

Наталья, накинув на голову черную свекровьину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать:

— Не пускай его! Не пускай, маманюшка! На войне убивают! Папанька, не ездий туда!

У Мишатки дрожали губы, но — нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке:

— Не бреши, дура! И вовсе там не всех убивают!

Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать — великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал,— с удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания: градом покатились из глаз его слезы! Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди, крикнул:

— Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался!.. Не хочу, чтобы ты!..

Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня.

Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час»,— а вот никогда

Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро.

Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку.

* * *

Плыли, плыли в синей омутной глубине вспененные ветром облака. Струилось марево над волнистой кромкой горизонта. Кони шли шагом. Прохор дремал, покачиваясь в седле. Григорий, стиснув зубы, часто оглядывался. Сначала он видел зеленые купы верб, серебряную, прихотливо извивавшуюся ленту Дона, медленно взмахивавшие крылья ветряка. Потом шлях отошел на юг. Скрылись за вытоптанными хлебами займище, Дон, ветряк... Григорий насвистывал что-то, упорно смотрел на золотисто-рыжую шею коня, покрытую мелким бисером пота, и уже не поворачивался в седле... Черт с ней, с войной! Были бои по Чиру, прошли по Дону, а потом загремят по Хопру, по Медведице, по Бузулуку. И — в конце концов — не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля? — думал он.

IX

Бой шел на подступах к станице Усть-Медведицкой. Глухой орудийный гул заслышал Григорий, выбравшись с летника на Гетманский шлях.

Всюду по шляху виднелись следы спешного отступления красных частей. Во множестве попадались брошенные двуколки и брички. За хутором Матвеевским в логу стояло орудие с перебитой снарядом боевой осью и исковерканной люлькой. Постромки на вальках передка были косо обрублены. В полуверсте от лога, на солончаках, на низкорослой, спаленной солнцем траве густо лежали трупы бойцов, в защитных рубахах и штанах, в обмотках и тяжелых окованных ботинках. Это были красноармейцы, настигнутые и порубленные казачьей конницей.

Григорий, проезжая мимо, без труда установил это по обилию крови, засохшей на покоробившихся рубахах, по положению трупов. Они лежали, как скошенная трава. Казаки не успели их раздеть, очевидно, лишь потому, что не прекращали преследования.

Возле куста боярышника запрокинулся убитый казак. На широко раскинутых ногах его рдели лампасы. Неподалеку валялась убитая лошадь светло-гнедой масти, подседланная стареньким седлом с выкрашенным охрой ленчиком.

Кони Григория и Прохора приустали. Их надо было подкормить, но Григорий не захотел останавливаться на месте, где недавно проходил бой. Он проехал еще с версту, спустился в балку, приостановил коня. Неподалеку виднелся пруд с размытой до материка плотиной. Прохор подъехал было к пруду с зачерствевшей и потрескавшейся землей у краев, но тотчас повернул обратно.

— Ты чего? — спросил Григорий.

— Подъзжай, глянь.

Григорий тронул коня к плотине. В промоине лежала убитая женщина. Лицо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно раздвинуты. Левая рука подвернута под спину.

Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полузакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотные зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые блеклые тени, ползали суетливые муравьи.

— Какую красоту загубили сукины сыны! — вполголоса сказал Прохор.

С минуту он молчал, потом с ожесточением сплюнул.

— Я бы таких... таких умников к стенке становил! Поедем отсюда, ради бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце переворачивается!

— Может, похороним ее? — спросил Григорий.

— Да мы что, подряд взяли всех мертвых хоронить? — возмутился Прохор. — В Ягодном деда какого-то зарывали, тут эту бабу... Нам их всех ежели похоронять, так и мозлей

на руках не хватит! А могилку чем копать? Ее, брат, шашкой не выроешь, земля от жары на аршин заклекла.

Прохор так спешил, что насилу попал носком сапога в стремя.

Снова выехали на бугор, и тут Прохор, напряженно о чем-то думавший, спросил:

— А что, Пантелевич, не хватит кровицу-то наземь цедить?

— Почти что.

— А как по твоему разумению, скоро это прикончится?

— Как набьют нам, так и прикончится...

— Вот веселая жизня заступила, да черт ей рад! Хоть бы скорей набили, что ли. В германскую, бывало, самострел палец себе отобьет, и спущают его по чистой домой, а зараз хоть всю руку оторви себе,— все одно заставют служить. Косоруких в строй берут, хромых берут, косых берут, грызных берут, всякую сволочь берут, лишь бы на двух ногах телипал. Да разве же так она, война, прикончится? Черт их всех перебьет! — с отчаянием сказал Прохор и съехал с дороги, спешился, бормоча что-то вполголоса, начал отпускать коню подпруги.

* * *

В хутор Хованский, расположенный неподалеку от Усть-Медведицкой, Григорий приехал ночью. Выставленная на краю хутора застава 3-го полка задержала его, но, опознав по голосу своего командира дивизии, казаки, на вопрос Григория, сообщили, что штаб дивизии находится в этом же хуторе и что начальник штаба сотник Копылов ждет его с часу на час. Словоохотливый начальник заставы отрядил одного казака, поручив ему проводить Григория до штаба; напоследок сказал:

— Дюже они укрепились, Григорий Пантелевич, и, должно, не скоро мы заберем Усть-Медведицу. А там, конешно, кто знает... Наших силов тоже достаточно. Гутарют, будто англицкие войска идут с Морозовской. Вы не слыхали?

— Нет,— трогая коня, ответил Григорий.

В доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но, войдя в коридор, услышал глухой оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице

под потолком, ослепил его, в ноздри ударил густой и горький запах махорочного дыма.

— Наконец-то и ты! — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом.— Заждались мы, брат, тебя!

Григорий поздоровался с присутствовавшими, снял шинель и фуражку, прошел к столу.

— Ну, и накурили! Не продыхнешь. Откройте же хучь одно окошко, что вы запечатались! — морщась, сказал он.

Сидевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся:

— А мы принюхались и не чуем.— И, выдавив локтем оконный глазок, с силой распахнул ставню.

В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас.

— Вот это по-хозяйски! На что же ты стекло выдавил? — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками.— У кого есть спички? Осторожней, тут возле карты чернила.

Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил:

— Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова: красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами, приблизительно, в четыре тысячи штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря и еще в ряде мест ими порыты траншеи. Обдонские высоты заняты ими. Ну, и позиции их — нельзя сказать чтобы были неприступные, но, во всяком случае, довольно-таки трудные для овладения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхелаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком Шестая бригада Богатырева и наша Первая дивизия. Но она не в полном составе, пешего полка нет, он где-то еще под Усть-Хоперской, а конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный.

— К примеру, у меня в полку в третьей сотне только тридцать восемь казаков,— сказал командир 2-го полка подхорунжий Дударев.

— А было? — осведомился Ермаков.

— Было девяносто один.

— Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир? — хмурясь и барабаня пальцами по столу, спросил Григорий.

— А черт их удержит! Расстрялись по хуторам, на

провед поехали. Но зараз подтягиваются. Ноне прибегли трое.

Копылов подвинул Григорию карту,— указывая мизинцем на месторасположение частей, продолжал:

— Мы еще не втянулись в наступление. У нас только Второй полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке, но неудачно.

— Потери большие?

— По донесению командира полка, у него за вчерашний день выбыло убитыми и ранеными двадцать шесть человек. Так вот о соотношении сил: у нас численный перевес, но для поддержки наступления пехоты не хватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут, четыреста снарядов и полтораста тысяч патронов. Но ведь это когда они прибудут! А наступать надо завтра же, таков приказ генерала Фицхелаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера четыре раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались! Так вот, Фицхелауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда, видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на сто — сто пятьдесят саженей. Кстати, только что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к шести утра на совещание для координирования действий. Генерал Фицхелауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача в общем сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкреплений со станции Себряково. По той стороне Дона наши не очень-то активны... Четвертая дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильные заслоны и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас пока они навели понтонный мост через Дон и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы.

— Казаки болтают, будто союзники идут, верно это?

— Есть слух, что из Чернышевской идет несколько английских батарей и танков. Но вот вопрос: как они эти танки будут через Дон переправлять? По-моему, насчет танков — это брехня! Давно уж о них разговаривают...

В горнице надолго установилась тишина.

Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску.

Широко расставленные, круглые, темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами.

Когда-то учительствовал он в церковноприходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуколку и с купцами по маленькой в преферанс, мастерски играл на гитаре и был веселым, общительным молодым человеком; потом женился на молоденькой учительнице и так бы и жил в станице и наверняка дослужился бы до пенсии, но в войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт, в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить шашку, в форме обращения с младшими по чину. В голосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за три года, проведенных на фронте; все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера, но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко оценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях храбрость.

До Копылова начальником штаба у Григория был безграмотный и неумный хорунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чиру, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо, толково. Он так же добросовестно просиживал в штабе над разработкой операций, как когда-то над исправлением ученических тетрадей, однако, в случае необходимости, по первому слову Григория бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой.

Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости, но за два месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я о тебе погано думал, Копылов, зараз вижу, что ошибался, так ты вот чего, извиняй уж как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был очевидно польщен.

Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по овладению Усть-Медведицкой, а вспоминал домашних, родную станицу и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск, месяца на полтора...

Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал.

— Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как брать Усть-Медведицу. За нас теперича генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фицхелаурову, нехай нас, горемык, умуразуму поучит... А всчет Второго полка думаю так: пока наша власть — нынче же командира полка Дударева на добно разжаловать, лишить всех чинов-орденов..

— И порции каши,— вставил Ермаков.

— Нет, без шуток,— продолжал Григорий,— надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампия. Зараз же дуй, Ермаков, туда, примай полк и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударева напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает, и как бы не подсунул он казаков ишо раз под удар. Пеший бой — это дело такое... Тут нехитро людей в трату дать, ежли командир — бестолочь.

— Правильно. Я — за смену Дударева,— поддержал Копылов.

— Ты что, Ермаков, против? — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова.

— Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя?

— Тем лучше. Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михайло Григорич, приказ и ложись позорюй. В шесть чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру четырех ординарцев.

Копылов удивленно поднял брови:

— Для чего их столько?

— Для вида! Мы ить тоже не лыком шиты, дивизией командуем.— Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул внапашку шинель, пошел к выходу.

Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуваясь и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади. Пахло сухими кизяками и не остывшей от дневного жара землей. Сквозь дремоту Григорий слышал голоса

и смех ординарцев, слышал, как один из них, судя по голосу — молодой парень, седлая коня, со вздохом проговорил:

— Эх, братушки, да и набрыдло же! Ночь-полночь — езжай с пакетом, ни сна тебе, ни покою... Да стой же ты, чертяка! Ногу! Ногу, говорят тебе!..

А другой глуховатым простуженным басом вполголоса пропел:

— «Надоела ты нам, службица, надоскучила. Добрых коников ты наших призамучила...» — и перешел на просящую деловитую скороговорку: — Всыпь на цигарочку, Прошка! А и жадоба ж ты! Забыл, как я тебе под Белавиным красноармейские ботинки отдал? Сволочь ты! За такую обувку другой бы век помнил, а у тебя и на цигарку не выблазнишь!

Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо щелкая подковами по сухой и крепкой, как кремень, земле. «Все об этом гутарют... Надоела ты нам, службица, надоскучила»,— улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас заснул. И как только заснул — увидел сон, снившийся ему и прежде: по бурому полю, по высокой стерне идут цепи красноармейцев. Насколько видит глаз — протянулась передняя цепь. За ней еще шесть или семь цепей. В гнетущей тишине приближаются наступающие. Растут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как спотыкающимся быстрым шагом идут, идут, подходят на выстрел, бегут с винтовками наперевес люди, в ушастых шапках, с безмолвно разверстыми ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором винтовки, часто стреляет; под выстрелами его, запрокидываясь, падают красноармейцы; вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам,— видит: из соседних окопов вскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут; лица их перекошены страхом. Григорий слышит страшное биение своего сердца, кричит: «Стреляйте! Сволочи! Куда?! Стой, не бегай!..» Он кричит изо всей силы, но голос его поразительно слаб, еле слышен. Ужас охватывает его! Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого смуглого красноармейца, молча бегущего прямо на него, и видит, что промахнулся. У красноармейца возбужденно-серьезное бесстрашное лицо. Он бежит легко, почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегающего врага, видит его блестящие глаза и блед-

ные щеки, поросшие молодой курчавой бородкой, видит короткие широкие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки, но затвор не поддается: его заело. Григорий в отчаянье бьет затвором о колено,— никакого результата! А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий поворачивается и бежит. Впереди него все бурое голое поле пестрит бегущими казаками. Григорий слышит позади тяжкое дыхание преследующего, слышит звучный топот его ног, но убыстрить бег не может. Требуется страшное усилие, чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он достигает какого-то полуразрушенного мрачного кладбища, прыгает через поваленную изгородь, бежит между осевшими могилками, покосившимися крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот позади нарастает, звучнеет. Горячее дыхание преследователя опаляет шею Григория, и в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястик шинели и за полу. Глухой крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые тесными сапогами, затекли, на лбу холодный пот, все тело болит, словно от побоев. «Фу ты, черт!..» — говорит он сипло, с удовольствием вслушиваясь в собственный голос и еще не веря, что все только что испытанное им — сон. Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сшибить прикладом, а потом уж убегать...» Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, испытывая радостное волнение оттого, что все это — только скверный сон и в действительности пока ничто ему не угрожает. «Диковинно, почему во сне это в десять раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько ни приходилось бывать в переплетах!» — думает он, засыпая и с наслаждением вытягивая затекшие ноги.

X

На рассвете его разбудил Копылов.

— Вставай, пора собираться, ехать! Приказано ведь быть к шести часам.

Начальник штаба только что побрился, вычистил сапоги

и надел помятый, но чистый френч. Он, как видно, спешил: пухлые щеки в двух местах порезаны бритвой. Но во всем его облике была видна какая-то, ранее не свойственная ему, щеголеватая подтянутость.

Григорий критически осмотрел его с ног до головы, подумал: «Ишь как выщелкнулся! Не хочет к генералу явиться абы в чем!..»

Словно следя за ходом его мыслей, Копылов сказал:

— Неудобно являться неряхой. Советую и тебе привести себя в порядок.

— Продерет и так! — пробормотал Григорий, потягиваясь.— Так, говоришь, приказано быть к шести? Нам с тобой уж приказывать начинают?

Копылов, посмеиваясь, пожал плечами:

— Новое время — новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Фицхелауров — генерал, не ему же к нам ехать.

— Оно-то так. К чему шли, к тому и пришли,— сказал Григорий и пошел к колодцу умываться.

Хозяйка бегом бросилась в дом, вынесла чистый расшитый рушник, с поклоном подала Григорию. Тот яростно потер концом рушника кирпично-красное, обожженное холодной водой лицо, сказал подошедшему Копылову:

— Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается... Туговаты они на поворотах. Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было!

— Это ты насчет чего? — рассеянно спросил Копылов, сдувая с рукава приставшую соринку.

— А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его чую! — Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос.

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул:

— Ты потише, ординарцы слушают.

— Почему это так, спрашивается? — сбавив голос, продолжал Григорий.— Да потому, что я для них белая ворона. У них — руки, а у меня — от старых музлей — копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими

притирками пахнет, а от меня конской мочой и пóтом. Они все ученые а я с трудом церковную школу кончил. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему! И выйду я от них, и все мне сдается, будто у меня на лице паутина насела: щелоктно мне и неприятно страшно, и все хочется пообчиститься.— Григорий бросил рушник на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом лице его резко белел не тронутый загаром лоб.— Не хотят они понять того, что все старое рухнулось к едреной бабушке! — уже тише сказал Григорий.— Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я или такой, как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный — офицер? Вахмистр старой службы, а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топали офицерские полки? Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, заславный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской ускакал? А знаешь, кто его нагнал на склизкое? Какой-то московский слесарек — командир красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать! А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание? Много нам генералы помогали?

— Помогали немало,— значительно ответил Копылов.

— Ну, может, Кудинову и помогали, а я ходил без помочей и бил красных, чужих советов не слухаясь.

— Так ты что же — науку в военном деле отрицаешь?

— Нет, я науку не отрицаю. Но, брат, не она в войне главное.

— А что же, Пантелеевич?

— Дело, за какое в бой идешь...

— Ну, это уж другой разговор...— Копылов, настороженно улыбаясь, сказал: — Само собою разумеется... Идея в этом деле — главное. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. Истина эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за сделанное тобою открытие. Я за старое, за доброе старое время. Будь иначе, я и пальцем бы не ворохнул, чтобы идти куда-то и за что-то воевать. Все, кто с нами,— это люди, отстаивающие силой оружия свои старые привилегии, усмиряющие взбунтовавшийся народ. В числе этих усмирителей и мы с тобой. Но я вот давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеевич, и не могу тебя понять...

— Потом поймешь. Давай ехать,— бросил Григорий и направился к сараю.

Хозяйка, караулившая каждое движение Григория,— желая угодить ему, предложила:

— Может, молочка бы выпили?

— Спасибо, мамаша, времени нету моло́ки распивать. Как-нибудь потом.

* * *

Прохор Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил:

— Далеко поедешь? И мне с тобой?

Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал:

— Ты, зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь занузданный стоит? Кто должон коня мне подать? Прорва чертова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чертова!

— И чего ты расходился? — обиженно бормотал Прохор, угнездившись в седле.— Орешь, а все зря. Тоже не велик в перьях! Что ж, мне и перекусить нельзя перед дорогой? Ну, чего шумишь-то?

— А того, что ты с меня голову сымешь, требуха свиная! Как ты со мной обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у меня гляди!.. А то привык запанибрата!.. Я тебе кто есть? Езжай пять шагов сзади! — приказал Григорий, выезжая из ворот.

Прохор и трое остальных ординарцев приотстали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым,— продолжая начатый разговор, насмешливо спросил:

— Ну, так чего ты не поймешь? Может, я тебе растолкую?

Не замечая насмешки в тоне и в форме вопроса, Копылов ответил:

— А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что! С одной стороны ты — борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика.

— В чем это я — большевик? — Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле.

— Я не говорю — большевик, а некое подобие большевика.

— Один черт. В чем? — спрашиваю.

— А хотя бы и в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты хочешь от этих людей? Чего ты вообще хочешь? — добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче: — Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например: вместо того чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи двух пальцев, во время еды руки вытираешь то о голенища сапог, то о волосы, после умывания не брезгаешь вытереть лицо лошадиной попонкой, ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. Или еще лучше: помнишь, зимой как-то в Каргинской разговаривал ты при мне с одной интеллигентной женщиной, у которой мужа арестовали казаки, и в ее присутствии застегивал штаны...

— Стал быть, было лучше, если б я штаны оставил расстегнутыми? — хмуро улыбаясь, спросил Григорий.

Лошади их шли шагом бок о бок, и Григорий искоса посматривал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова.

— Не в этом дело! — досадливо морщась, воскликнул Копылов.— Но как ты вообще мог принять женщину, будучи в одних брюках, босиком? Ты даже кителя на плечи не накинул, я это отлично помню! Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека... Как тебе сказать...

— Да уж говори как проще!

— Ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас! Вместо квартира — фатера, вместо эвакуироваться — экуироваться, вместо как будто — кубыть, вместо артиллерия — антилерия. И, как всякий безграмотный человек, ты имеешь необъяснимое пристрастие к звучным иностранным словам, употребляешь их к месту и не к месту, искажаешь невероятно, а когда на штабных совещаниях при тебе произносятся такие слова из

специфически военной терминологии, как дислокация, форсирование, диспозиция, концентрация и прочее, то ты смотришь на говорящего с восхищением и, я бы даже сказал — с завистью.

— Ну уж это ты брешешь! — воскликнул Григорий, и веселое оживление прошло по его лицу. Гладя коня между ушей, почесывая ему под гривой шелковистую теплую кожу, он попросил: — Ну, валяй дальше, разделывай своего командира!

— Слушай, чего ж разделывать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличий и грамотности ты просто пробка! — Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как несдержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки, но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился: Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожидан был для Копылова результат его слов, так заразителен смех Григория, что он сам рассмеялся, говоря: — Вот видишь, другой, разумный, плакал бы от такого разноса, а ты ржешь... Ну, не чудак ли ты?

— Так говоришь, стало быть, пробка я? И черт с вами! — отсмеявшись, проговорил Григорий.— Не желаю учиться вашим обхождениям и приличиям. Мне они возле быков будут ни к чему. А бог даст — жив буду,— мне же с быками возиться и не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый! Извините меня, рябый! Разрешите мне поправить на вас ярмо? Милостивый государь, господин бык, покорнейше прошу не заламывать борозденного!» С ними надо покороче: цоб-цобэ, вот и вся бычиная дисклокация.

— Не дисклокация, а дислокация! — поправил Копылов.

— Ну, нехай дислокация. А вот в одном я с тобой не согласный.

— В чем это?

— В том, что я — пробка. Это я у вас — пробка, а вот погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадайтесь мне приличные и образованные дармоеды! Душу буду вынать прямо с потрохом! — полшутя-полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь.

Утро над Обдоньем вставало в такой тонко выпряденной тишине, что каждый звук, даже нерезкий, рвал ее и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных хуторах стоял тот неумолчный негромкий роковитый шум, который обычно сопровождает передвижения крупных войсковых частей. Гремели на выбоинах колеса орудий и зарядных ящиков, возле колодцев ржали кони, согласно, глухо и мягко гоцали шаги проходивших пластунских сотен, погромыхивали брички и хода обывательских подвод, подвозящих к линии фронта боеприпасы и снаряжение; возле походных кухонь сладко пахло разопревшим пшеном, мясным кондёром, сдобренным лавровым листом, и свежеиспеченным хлебом.

Под самой Усть-Медведицкой трещала частая ружейная перестрелка, лениво и звучно бухали редкие орудийные выстрелы. Бой только что начинался.

Генерал Фицхелауров завтракал, когда немолодой потасканного вида адъютант доложил:

— Командир Первой повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.

— Проси в мою комнату,— Фицхелауров большой жилистой рукой отодвинул тарелку, заваленную яичной скорлупой, не спеша выпил стакан парного молока и, аккуратно сложив салфетку, встал из-за стола.

Саженного роста, старчески грузный и рыхлый, он казался неправдоподобно большим в этой крохотной казачьей горенке с покосившимися притолоками дверей и подслеповатыми окошками. На ходу поправляя стоячий воротник безупречно сшитого мундира, гулко кашляя, генерал прошел в соседнюю комнату, коротко поклонился вставшим Копылову и Григорию и, не подавая руки, жестом пригласил их к столу.

Придерживая шашку, Григорий осторожно присел на краешек табурета, искоса глянул на Копылова.

Фицхелауров тяжело опустился на хрустнувший под ним венский стул, согнул голенастые ноги, положив на колени крупные кисти рук, густым низким басом заговорил:

— Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы... Повстанческая партизанщина кончилась! Ваши части перестают существовать как самостоятельное целое, да целым они, по сути, и не были. Фикция. Они вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление, пора все это осознать и безого-

ворочно подчинятья приказам высшего командования. Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей так называемой дивизии?

— Я,— негромко ответил Григорий.

— Потрудитесь ответить на вопрос!

— Я только вчера прибыл в дивизию.

— Где вы изволили быть?

— Заезжал домой.

— Командир дивизии во время боевых операций изволит гостить дома! В дивизии — бардак! Распущенность! Безобразие! — Генеральский бас все громче грохотал в тесной комнатушке; за дверями уже ходили на цыпочках и шептались, пересмеиваясь, адъютанты; щеки Копылова все больше и больше бледнели, а Григорий, глядя на побагровевшее лицо генерала, на его сжатые отечные кулаки, чувствовал, как и в нем самом просыпается неудержимая ярость.

Фицхелауров с неожиданной легкостью вскочил,— ухватясь за спинку стула, кричал:

— У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд!.. Отребье, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить!.. Сапоги чистить! Слышите вы?! Почему не был выполнен приказ?! Митинга не провели? Не обсудили? Зарубите себе на носу: здесь вам не товарищи, и большевицких порядков мы не позволим заводить!.. Не поз-волим!..

— Я попрошу вас не орать на меня! — глухо сказал Григорий и встал, отодвинув ногой табурет.

— Что вы сказали?! — перегнувшись через стол, задыхаясь от волнения, прохрипел Фицхелауров.

— Прошу на меня не орать! — громче повторил Григорий.— Вы вызвали нас для того, чтобы решать...— На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шепота: — Ежли вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хоть пальцем,— зарублю на месте!

В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь. В щелку заглянул испуганный адъютант. Дверь так же осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса шашки. У Копылова мелко дрожали колени, взгляд его блуждал где-то по

стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески покряхтел, буркнул:

— Хорошенькое дело! — И уже совсем спокойно, но не глядя на Григория: — Садитесь. Погорячились, и хватит. Теперь извольте слушать: приказываю вам немедленно перебросить все конные части... Да садитесь же!..

Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице.

— ...Так вот, все конные части немедленно перебросьте на юго-восточный участок и тотчас же идите в наступление Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова...

— Дивизию я туда не поведу,— устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной Натальиной утиркой еще раз вытер пот со лба, повторил: — Дивизию туда не поведу.

— Это почему?

— Перегруппировка займет много времени...

— Это вас не касается. За исход операции отвечаю я.

— Нет, касается, и отвечаете не только вы...

— Вы отказываетесь выполнить мое приказание? — с видимым усилием сдерживая себя, хрипло спросил Фицхелауров.

— Да.

— В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией! Теперь мне понятно, почему не был выполнен мой вчерашний приказ...

— Это уж как вам угодно, только дивизию я не сдам.

— Как прикажете вас понимать?

— А так, как я сказал.— Григорий чуть заметно улыбнулся.

— Я вас отстраняю от командования! — Фицхелауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал.

— Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство!

— А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?

— Да, командующему повстанческими силами Кудинову подчиняюсь. А от вас мне все это даже удивительно слухать... Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите... Вот как только переведут меня в сотенные командиры, тогда — пожалуйста. Но драться...— Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: — ...драться и тогда не дам!

Фицхелауров встал, поправил душивший его воротник, с полупоклоном сказал:

— Нам больше не о чем разговаривать! Действуйте как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии, и, смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.

Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям. На пороге он остановился, сказал:

— Вы сообчайте, куда следует, но меня не пужайте, я не из полохливых... И пока не трожьте меня.— Подумал и добавил: — А то боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали...— Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы.

На крыльце его догнал взволнованный Копылов.

— Ты с ума сошел, Пантелеевич! — шепнул он, в отчаянии сжимая руки.

— Коней! — зычно крикнул Григорий, комкая в руках плеть.

Прохор подлетел к крыльцу чертом.

Выехав за ворота, Григорий оглянулся: трое ординарцев, суетясь, помогали генералу Фицхелаурову взобраться на высоченного, подседланного нарядным седлом коня...

С полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору и спорить с ним сейчас небезопасно. Наконец Григорий не выдержал.

— Чего молчишь? — резко спросил он.— Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? В молчанку играл?

— Ну, брат, и номер же ты выкинул!

— А он не выкинул?

— Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен!

— Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как, скажи, ему шило в зад воткнули!

— Однако и ты хорош! Неповиновение старшему по чину... в боевой обстановке, это, брат...

— Ничего, не это! Вот жалко, что не намахнулся он на меня! Я б его потянул клинком через лоб, ажник черепок бы его хрустнул!

— Тебе и без этого добра не ждать,— с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг.— По всему видно, что теперь они начнут дисциплину подтягивать, держись!

Лошади их, пофыркивая, отгоняя хвостами оводов, шли рядом. Григорий насмешливо оглядел Копылова, спросил:

— Ты из-за чего наряжался-то? Думал небось, что тебя чаем угощать будут? К столу под белы руки поведут? Побрился, френч вычистил, сапоги наяснил... Я видал, как ты утирку слюнявил да пятнышки на коленях счищал!

— Оставь, пожалуйста! — румянея, защищался Копылов.

— Зря пропали твои труды! — издевался Григорий.— Не токмо чего, но и к ручке тебя не подпустил.

— С тобой и не этого можно было ожидать,— скороговоркой пробормотал Копылов и, сощурив глаза, изумленно-радостно воскликнул: — Смотри! Это — не наши. Союзники!

Навстречу им по узкому проулку шестерная упряжка мулов везла английское орудие. Сбоку, на рыжей куцехвостой лошади ехал англичанин-офицер. Ездовой переднего выноса тоже был в английской форме, но с русской офицерской кокардой на околыше фуражки и с погонами поручика.

Не доезжая нескольких саженей до Григория, офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. Проулок был так узок, что разминуться можно было, только поставив верховых лошадей вплотную к каменной огороже.

На щеках Григория заиграли желваки. Стиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Они с трудом разъехались, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую ногу, туго обтянутую крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей породистой кобылицы.

Один из артиллерийской прислуги, русский офицер, судя по внешности,— злобно оглядел Григория.

— Кажется, вы могли бы посторониться! Неужто и здесь надо оказывать свое невежество?

— Ты проезжай да молчи, сучья вымя, а то я тебе посторонюсь!..— вполголоса посоветовал Григорий.

Офицер приподнялся на передке, обернулся назад, крикнул:

— Господа! Задержите этого наглеца!

Григорий, выразительно помахивая плетью, шагом пробирался по проулку. Усталые, пропыленные артиллеристы, сплошь безусые, молодые офицерики, озирали его недружелюбными взглядами, но никто не попытался задержать.

Шестиорудийная батарея скрылась за поворотом, и Копылов, покусывая губы, подъехал к Григорию вплотную.

— Дуришь, Григорий Пантелеевич! Как мальчишка ведешь себя!

— Ты что, ко мне воспитателем приставлен? — огрызнулся Григорий.

— Мне понятно, что ты озлился на Фицхелаурова,— пожимая плечами, говорил Копылов,— но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?

— Мне он тут, под Усть-Медведицей, что-то не понравился... ему бы его в другом месте носить... Две собаки грызутся — третья не мешайся, знаешь?

— Ага! Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, по-моему, когда за горло берут — рад будешь любой помощи.

— Ну ты и радуйся, а я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил!

— Ты у красных китайцев видел?

— Ну?

— Это не все равно? Тоже ведь чужеземная помощь.

— Это ты зря! Китайцы к красным добровольцами шли.

— А этих, по-твоему, силою сюда тянули?

Григорий не нашелся, что ответить, долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада:

— Вот вы, ученые люди, всегда так... Скидок наделаете, как зайцы на снегу! Я, брат, чую, что тут ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею... Давай бросим об этом. Не путляй меня, я и без тебя запутанный!

Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали. Один лишь снедаемый любопытством Прохор догнал было их, спросил:

— Григорий Пантелевич, ваше благородие, скажи на милость, что это такое за животная у кадетов под орудиями? Ухи у них, как у ослов, а остальная справа — натуральная лошадиная. На эту скотину аж глядеть неудобно... Что эта за черт, за порода,— объясни, пожалуйста, а то мы под деньги заспорили...

Минут пять ехал сзади, так и не дождался ответа, отстал и, когда поравнялись с ним остальные ординарцы, шепотом сообщил:

— Они, ребята, едут молчаком и сами, видать, диву даются и ни черта не знают, откуда такая пакость на белом свете берется...

XI

Казачьи сотни четвертый раз вставали из неглубоких окопов и под убийственным пулеметным огнем красных залегали снова. Красноармейские батареи, укрытые лесом левобережья, с самой зари безостановочно обстреливали позиции казаков и накоплявшиеся в ярах резервы.

Молочно-белые тающие облака шрапнели вспыхивали над обдонскими высотами. Впереди и позади изломанной линии казачьих окопов пули схватывали бурую пыль.

К полудню бой разгорелся, и западный ветер далеко по Дону нес гул артиллерийской стрельбы.

Григорий с наблюдательного пункта повстанческой батареи следил в бинокль за ходом боя. Ему видно было, как, несмотря на потери, перебежками упорно шли в наступление офицерские роты. Когда огонь усиливался, они ложились, окапываясь, и опять — бросками передвигались к новому рубежу; а левее, в направлении к монастырю, повстанческая пехота никак не могла подняться. Григорий набросал записку Ермакову, послал ее со связным.

Через полчаса прискакал распаленный Ермаков. Он спешился возле батарейской коновязи,— тяжело дыша, поднялся к окопу наблюдателя.

— Не могу поднять казаков! Не встают! — еще издали закричал он, размахивая руками.— У нас уж двадцати трех человек как не было! Видал, как красные пулеметами режут?

— Офицеры идут, а ты своих поднять не можешь? — сквозь зубы процедил Григорий.

— Да ты погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету да патронов по ноздри, а мы с чем?!

— Но-но, ты мне не толкуй! Зараз же веди, а то голову сымем!

Ермаков матерно выругался, сбежал с кургана. Следом за ним пошел Григорий. Он решил сам вести в атаку 2-й пехотный полк.

Около крайнего орудия, искусно замаскированного ветками боярышника, его задержал командир батареи.

— Полюбуйся, Григорий Пантелевич, на английскую работу. Сейчас они начнут по мосту бить. Давай подымемся на курганик?

В бинокль была чуть видна тончайшая полоска понтонного моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней беспрерывным потоком катились подводы.

Минут через десять английская батарея, расположившаяся за каменистой грядой в лощине, повела огонь. Четвертым снарядом мост был разрушен почти на середине. Поток подвод приостановился. Видно было, как красноармейцы, суетясь, сбрасывали в Дон разбитые брички и трупы лошадей.

Тотчас же от правого берега отвалили четыре баркаса с саперами. Но не успели они заделать разрушенный настил на мосту, как английская батарея снова послала пачку снарядов. Один из них разворотил въездную дамбу на левом берегу, второй взметнул возле самого моста зеленый столб воды, и возобновившееся движение по мосту снова приостановилось.

— А и точно же бьют, сукины сыны! — с восхищением сказал командир батареи.— Теперь они до ночи не дадут им переправляться. Мосту этому не быть живу!

Григорий, не отнимая от глаз бинокля, спросил:

— Ну, а ты чего молчишь? Поддержал бы свою пехоту. Ведь вон они, пулеметные гнезда.

— И рад бы, да ни одного снаряда нету! С полчаса назад кинул последний и заговел.

— Так чего же ты тут стоишь? Берись на передки и езжай к чертовой матери!

— Послал к кадетам за снарядами.

— Не дадут,— решительно сказал Григорий.

— Раз уж отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка два, чтобы подавить вот эти пулеметы. Шутка дело — двадцать три души наших побили. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат!..

Григорий перевел взгляд на казачьи окопы — возле них на косогоре пули по-прежнему рыли сухую землю. Там, где ложилась пулеметная очередь, возникала полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымились, заштрихованные пылью.

Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова.

— Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем.

— А я тебе не это говорил? — укоризненно сказал

Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня.

Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его черт понес напрямки? Скосят пулеметом! Спустился бы в лощину, по теклине поднялся вверх и за бугром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до лощины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял! Теперь доберется»,— облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, не спеша свернул цигарку.

Странное равнодушие овладело им! Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую. И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Не трусость, не боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его командованию казаков. А вот сейчас словно что-то сломалось... Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю никчемность происходившего. Разговор ли с Копыловым, или стычка с Фицхелауровым, а может быть, то и другое, вместе взятое, было причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не идти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхелауровых, которые глубоко его презирали и которых не менее глубоко презирал он сам,— он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию — буду проситься из строя в тыл. С меня хватит!» — думал он и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдания красным. «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за хреновое солдатское жалованье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалованье? Какого черта на него можно купить? Разве что в карты проиграть... Стало быть, тут корысти нету, что-то другое... А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов и то прислали! А потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она в чем разница! Ну, да мы об этом

еще вечером поспорим! Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: — А разница-то есть, Копылов, и ты мне голову не морочь!»

Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом два часа спустя...

Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхелаурова.

XII

Дня через три после отъезда Григория явился в хутор Татарский Митька Коршунов. Приехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Один из них был немолодой калмык, родом откуда-то с Маныча, другой — невзрачный казачишка Распопинской станицы. Калмыка Митька презрительно именовал «хо́дей», а распопинского пропойцу и бестию величал Силантием Петровичем.

Видно, немалую службу сослужил Митька Войску Донскому, будучи в карательном отряде: за зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжии и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо думать, что неплохо жилось ему в отступлении, за Донцом; легкий защитный френч так и распирали широченные Митькины плечи, на тугой стоячий воротник набегали жирные складки розовой кожи, сшитые в обтяжку синие диагоналевые штаны с лампасами чуть не лопались сзади... Быть бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворце и охранять священную особу его императорского величества, если бы не эта окаянная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться, в карательном отряде от человека требовались иные качества... А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй: не особенно доверяя казакам, он сам водил на распыл заподозренных в большевизме, не брезгал собственноручно, при помощи плети или шомпола, расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных — во всем отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прянишников, пожимая плечами, го-

ворил: «Нет, господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно! Дракон, а не человек!» И еще одним замечательным свойством отличался Митька: когда карателям арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпустить живым из рук,— его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял, да так, что после пяти — десяти ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после ста — человека, не ослушивая, уверенно заворачивали в рогожу... Из-под Митькиных рук еще ни один осужденный живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежли б мне со всех красных, побитых мною, посымать штаны да юбки,— весь хутор Татарский одел бы!»

Жестокость, свойственная Митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Соприкасаясь по роду своей службы со всеми стекавшимися в отряд подонками офицерства,— с кокаинистами, насильниками, грабителями и прочими интеллигентными мерзавцами,— Митька охотно, с крестьянской старательностью, усваивал все то, чему они его в своей ненависти к красным учили, и без особого труда превосходил учителей. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастеник-офицер не выдерживал,— Митька только щурил свои желтые, мелкой искрой крапленные глаза и дело доводил до конца.

Таким стал Митька, попав из казачьей части на легкие хлеба — в карательный отряд войскового старшины Пряничникова.

Появившись в хуторе, он, важничая и еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему куреню. Возле полуобгоревших, задымленных ворот спешился, отдал поводья калмыку,— широко расставляя ноги, прошел во двор. Сопровождаемый Силантием, молча обошел вокруг фундамента, кончиком плети потрогал слившийся во время пожара, отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом:

— Сожгли... А курень был богатый! Первый в хуторе. Наш хуторной сжег, Мишка Кошевой. Он же и деда убил. Так-то, Силантий Петров, пришлось проведать родимую пепелищу.

— А с этих Кошевых есть кто дома? — с живостью спросил тот.

— Должно быть, есть. Да мы повидаемся с ними... А зараз поедем к нашим сватам.

По дороге к Мелеховым Митька спросил у встретившейся снохи Богатыревых:

— Мамаша моя вернулась из-за Дону?

— Кубыть не вернулась ишо, Митрий Мироныч.

— А сват Мелехов дома?

— Старик-то?

— Да.

— Старик дома, словом — вся семья дома, опричь Григория. Петра-то убили зимой, слыхал?

Митька кивнул головой и тронул коня рысью.

Он ехал по безлюдной улице, и в желтых кошачьих глазах его, пресыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к мелеховскому базу и ни к кому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал:

— Так встречает родимый хутор! Пообедать и то надо к родне ехать... Ну-ну, ишо потягаемся!..

Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам.

— Милости просим,— радушно сказал он, открывая калитку.— Гостям рады! С прибытием!

— Здравствуй, сват! Живой-здоровый?

— Слава богу, покуда ничего. Да ты, никак, уж в офицерах ходишь?

— А ты думал, одним твоим сынам белые погоны носить? — самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку.

— Мои до них не дюже охочи были,— с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей.

Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выспрашивал обо всем, касающемся его семьи, и был молчалив и ничем не выказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, остался ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась Мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию.

Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил:

— Долго думаешь прогостить в хуторе?

— Да так дня два-три.
— Матерю-то повидаешь?
— А это как прийдется.
— Ну, а зараз далеко отъезжаешь?
— Так... Повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем.
Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатилась молва: «Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали!»
Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только что пришел из кузницы с косогоном и снова собрался было налаживать лобогрейку, но его позвала Ильинична:
— Поди-ка сюда, Прокофич! Да попроворней!
В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату.
Заплаканная, бледная Наталья стояла у печки. Ильинична указала глазами на Аникушкину жену, глухо спросила:
— Слыхал новость, старик?
«Ох, с Григорием что-то... Сохрани и помилуй!» — опалила Пантелея Прокофьевича догадка. Он побледнел и, в страхе и ярости оттого, что никто ничего не говорит, крикнул:
— Скорей выкладывайте, будь вы прокляты!.. Ну, что случилося? С Григорием?..— И, словно обессилевший от крика, опустился на лавку, поглаживая трясущиеся ноги.
Дуняшка первая сообразила, что отец боится черных вестей о Григории, поспешно сказала:
— Нет, батенька, это не об Грише весть. Митрий Кошевых побил.
— Как, то есть, побил? — У Пантелея Прокофьевича разом отлегло от сердца, и, еще не понимая смысла сказанных Дуняшкой слов, он снова переспросил: — Кошевых? Митрий?
Аникушкина жена, прибежавшая с новостями,— сбиваясь, начала рассказывать:
— Ходила я, дяденька, телка искать и вот иду мимо Кошевых, а Митрий и с ним ишо двое служивых подъехали к базу и пошли в дома. Я и думаю: телок дальше ветряка не уйдет,— очередь пасть телят была...
— Да на черта мне твой телок! — гневно прервал Пантелей Прокофьевич.
— ...И пошли они в дома,— захлебываясь продолжала

баба,— а я стою, жду. «Не с добром, думаю, они сюда приехали». И начался там крик, и слышно — бьют. Испугалась я до смерти, хотела бечь, да только отошла от плетня, слышу — топочут сзади; оглянулась, а это Митрий ваш накинул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чисто как собаку, прости господи! Подтянул ее к сараю, она, сердешная, и голосу не отдает, должно, уж без памяти была; калмык, какой с ним был, сигнул на переруб... Гляжу — Митрий конец оборки ему кинул и шумит: «Подтяни и завязывай узлом!» Ох, страсти я натерпелась! На моих глазах и задушили бедную старуху, а посля вскочили на коней и поехали по проулку, должно, к правлению. В хату-то я побоялась идтить... А видала, как из сенцев, прямо из-под дверей, кровь на приступки текла. Не дай и не приведи господи ишо раз такую страсть видать!

— Хороших гостей нам бог послал! — выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична.

Пантелей Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени.

Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелей Прокофьевич проворно захромал им навстречу.

— Постой-ка! — крикнул он еще издали.— Не вводи коней на баз!

— Что такое, сваток? — удивленно спросил Митька.

— Поворачивай обратно! — Пантелей Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в желтые мерцающие Митькины глаза, твердо сказал: — Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курене. Лучше подобру уезжай, куда знаешь.

— А-а-а...— понимающе протянул Митька и побледнел.— Выгоняешь, стало быть?..

— Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! — решительно повторил старик.— И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи несродни, так-то!

— Понятно! Только больно уж ты жалостлив, сваток!

— Ну уж ты, должно, милосердия не поимеешь, коли баб да детишков начал казнить! Ох, Митрий, негожее у тебя рукомесло... Не возрадовался бы твой покойный отец, глядючи на тебя!

— А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христосовался? Иди ты — знаешь куда?..— Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку.

— Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны гож. И делить нам с тобой нечего, езжай с богом!

Все больше и больше бледнея, грозя плетью, Митька глухо покрикивал:

— Ты не вводи меня в грех, не вводи! Наталью жалко, а то бы я тебя, милостивца... Знаю вас! Вижу наскрозь, каким вы духом дышите? За Донец в отступ не пошли? Красным передались? То-то!.. Всех бы вас надо, сукиных сынов, как Кошевых, перевесть! Поехали, ребята! Ну, хромой кобель, гляди, не попадайся мне! Из моей горсти не высигнешь! А хлеб-соль твою я тебе попомню! Я такую родню тоже намахивал!..

Пантелей Прокофьевич дрожащими руками запер калитку на засов, захромал в дом.

— Выгнал твоего братца,— сказал он, не глядя на Наталью.

Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступком свекра, а Ильинична быстро перекрестилась и обрадованно сказала:

— И слава богу: унесла нелегкая! Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом! И службу-то себе такую нашел: нет чтобы, как и другие казаки, в верных частях служить, а он — вишь! — поступил в казнительный отряд! Да разве ж это казацкое дело — казнителем быть, старух вешать да детишков безвинных шашками рубить?! Да разве они за Мишку своего ответчики? Этак и нас с тобой и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поимели милость? Нет, оборони господь, а я с этим несогласная!

— Я за брата и не стою, маманя...— только и сказала Наталья, кончиком платка вытирая слезы.

Митька уехал из хутора в этот же день. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении Верхнедонского восстания.

После его отъезда с неделю шли по хутору толки. Большинство осуждало самосудную расправу над семьей Кошевого. На общественные средства похоронили убитых; хатенку Кошевых хотели было продать, но покупателей не нашлось. По приказу хуторского атамана ставни накрест забили досками, и долго еще ребятишки боялись играть

около страшного места, а старики и старухи, проходя мимо выморочной хатенки, крестились и поминали за упокой души убиенных.

Потом наступил степной покос, и недавние события забылись.

Хутор по-прежнему жил в работе и слухах о фронте. Те из хозяев, у которых уцелел рабочий скот, кряхтели и поругивались, поставляя обывательские подводы. Почти каждый день приходилось отрывать быков и лошадей от работы и посылать в станицу. Выпрягая из косилок лошадей, не один раз недобрым словом поминали старики затянувшуюся войну. Но снаряды, патроны, мотки колючей проволоки, продовольствие надо было подвозить к фронту. И везли. А тут, как назло, установились такие погожие дни, что только бы косить да грести подоспевшую, на редкость кормовитую траву.

Пантелей Прокофьевич готовился к покосу и крепко досадовал на Дарью. Повезла она на паре быков патроны, с перевалочного пункта должна была возвратиться, но прошла неделя, а о ней и слуха не было; без пары же старых, самых надежных быков в степи нечего было и делать.

По сути, не надо бы посылать Дарью... Пантелей Прокофьевич скрепя сердце доверил ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но, кроме нее, никого не нашлось. Дуняшку нельзя было послать, потому что — не девичье дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу; у Натальи — малые дети; не самому же старику было везти эти проклятые патроны? А Дарья с охотой вызвалась ехать. Она и раньше с большим удовольствием ездила всюду: на мельницу ли, на просорушку или еще по какой-либо хозяйской надобности, и все лишь потому, что вне дома чувствовала себя несравненно свободнее. Ей каждая поездка приносила развлечение и радость. Вырвавшись из-под свекровьиного присмотра, она могла и с бабами досыта посудачить и — как она говаривала — «на ходу любовь покрутить» с каким-нибудь приглянувшимся ей расторопным казачком. А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, как будто Дарья, изменявшая живому мужу, обязана была соблюдать верность мертвому.

Знал Пантелей Прокофьевич, что не будет за быками хозяйского догляда, но делать было нечего,— снарядил в поездку старшую сноху. Снарядить-то снарядил, да и прожил всю неделю в великой тревоге и душевном беспокой-

стве. «Луснули мои бычки!» — не раз думал он, просыпаясь среди ночи, тяжело вздыхая.

Дарья приехала на одиннадцатые сутки утром. Пантелей Прокофьевич только что вернулся с поля. Он косил в супряге с Аникушкиной женой и, оставив ее и Дуняшку в степи, приехал в хутор за водой и харчами. Старики и Наталья завтракали, когда мимо окон — со знакомым перестуком — загремели колеса брички. Наталья проворно подбежала к окну, увидела закутанную по самые глаза Дарью, вводившую усталых, исхудавших быков.

— Она, что ли? — спросил старик, давясь непрожеванным куском.

— Дарья!

— Не чаял и увидать быков! Ну, слава тебе господи! Хлюстанка проклятая! Насилу-то прибилась к базу...— забормотал старик, крестясь и сыто рыгая.

Разналыгав быков, Дарья вошла в кухню, положила у порога вчетверо сложенное рядно, поздоровалась с домашними.

— А то чего ж, милая моя! Ты бы ишо неделю ездила! — с сердцем сказал Пантелей Прокофьевич, исподлобья глянув на Дарью и не отвечая на приветствие.

— Ехали бы сами! — огрызнулась та, снимая с головы пропыленный платок.

— Чего ж так долго ездила? — вступила в разговор Ильинична, чтобы сгладить неприязненность встречи.

— Не пускали, того и долго.

Пантелей Прокофьевич недоверчиво покачал головой, спросил:

— Христонину бабу с перевалочного пустили, а тебя нет?

— А меня не пустили! — Дарья зло сверкнула глазами, добавила: — Ежли не верите — поезжайте спросите у начальника, какой обоз сопровождал.

— Справляться о тебе мне незачем, но уж в другой раз посиди дома. Тебя только за смертью посылать.

— Загрозили вы мне! Ох, загрозили! Да я и сама не поеду! Посылать будете, и не поеду!

— Быки-то здоровые? — уже мирнее спросил старик.

— Здоровые. Ничего вашим быкам не поделалось...— Дарья отвечала нехотя и была мрачнее ночи.

«Разлучилась в дороге с каким-нибудь милым, через это и злая»,— подумала Наталья.

Она всегда относилась к Дарье и к ее нечистоплотным

любовным увлечениям с чувством сожаления и брезгливости.

После завтрака Пантелей Прокофьевич собрался ехать, но тут пришел хуторской атаман.

— Сказал бы — в час добрый, да погоди, Пантелей Прокофьевич, не выезжай.

— Уж не сызнова ли за подводой прибег? — с деланным смирением спросил старик, а у самого от ярости даже дух захватило.

— Нет, тут другая музыка. Нынче приезжает к нам сам командующий всей Донской армией, сам генерал Сидорин. Понял? Зараз получил с нарочным бумажку от станичного атамана, приказывает стариков и баб всех до одного собрать на сходку.

— Да они в уме? — вскричал Пантелей Прокофьевич.— Да кто же это в такую горячую пору сходки устраивает? А сена мне на зиму припасет твой генерал Сидорин?

— Он одинаково и твой такой же, как и мой,— спокойно ответил атаман.— Мне что приказано, то и делаю. Распрягай! Надо хлебом-солью встречать. Гутарют, промежду прочим, будто с ним союзниковы генералы едут.

Пантелей Прокофьевич молча постоял около арбы, поразмыслил и начал распрягать быков. Видя, что сказанное им возымело действие, повеселевший атаман спросил:

— Твоей кобылкой нельзя ли попользоваться?

— Чего тебе ей делать?

— Приказано, ёж их наколи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. А где их, тарантасы, брать и лошадей,— ума не приложу! До света встал, бегаю, раз пять рубаха взмокла,— и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо хучь криком кричи!

Смирившийся Пантелей Прокофьевич согласился дать кобылу и даже свой рессорный тарантасишко предложил. Как-никак, а ехал командующий армии, да еще с иноземными генералами, а к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трепетного уважения...

Стараниями атамана две тройки кое-как были собраны и высланы к Дурному логу встречать почетных гостей. На плацу собирался народ. Многие, бросив покос, спешили со степи в хутор.

Пантелей Прокофьевич, махнув рукой на работу, принарядился, надел чистую рубаху, суконные шаровары с лампасами, фуражку, некогда привезенную Григорием

в подарок, и степенно захромал на майдан, наказав старухе, чтобы отправила с Дарьей воду и харчи Дуняшке.

Вскоре густая пыль взвихрилась на шляху и потоком устремилась к хутору, а сквозь нее блеснуло что-то металлическое, и издалека донесся певучий голос автомобильной сирены. Гости ехали на двух новехоньких блещущих темно-синей краской автомобилях; где-то далеко позади, обгоняя едущих с покоса косарей, порожняком скакали тройки и уныло позванивали под дугами почтарские колокольчики, добытые для торжественного случая атаманом. На плацу в толпе прошло заметное оживление, зазвучал говор, послышались веселые восклицания ребят. Растерявшийся атаман засновал по толпе, собирая почетных стариков, коим надлежало вручать хлеб-соль. На глаза ему попался Пантелей Прокофьевич, и атаман обрадованно вцепился в него.

— Выручай, ради Христа! Человек ты бывалый, знаешь обхождение... Уж ты знаешь, как с ними и ручкаться и все такое... Да ты же и член Круга, и сын у тебя такой... Пожалуйста, бери хлеб-соль, а то я вроде робею, и дрожание у меня в коленях.

Пантелей Прокофьевич — донельзя польщенный честью — отказывался, соблюдая приличия, потом, как-то сразу вобрав голову в плечи, проворно перекрестился и взял покрытое расшитым рушником блюдо с хлебом-солью; расталкивая локтями толпу, вышел вперед.

Автомобили быстро приближались к плацу, сопровождаемые целым табуном охрипших от лая разномастных собак.

— Ты... как? Не робеешь? — шепотом справился у Пантелея Прокофьевича побледневший атаман. Он впервые видел столь большое начальство. Пантелей Прокофьевич искоса блеснул на него синеватыми белками, сказал осипшим от волнения голосом:

— На, подержи, пока я бороду причешу. Бери же!

Атаман услужливо принял блюдо, а Пантелей Прокофьевич разгладил усы и бороду, молодецки расправил грудь и, опираясь на кончики пальцев искалеченной ноги, чтобы не видно было его хромоты,— снова взял блюдо. Но оно так задрожало в его руках, что атаман испуганно осведомился:

— Не уронишь? Ох, гляди!

Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом. Это он-то уронит! Может же человек сказать такую глупость! Он, который был членом Круга и во дворце на-

казного здоровался со всеми за руку, и вдруг испугается какого-то генерала? Этот несчастный атаманишка окончательно спятил с ума!

— Я, братец ты мой, когда был на Войсковом Кругу, так я с самим наказным атаманом чай внакладку...— начал было Пантелей Прокофьевич и умолк.

Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче ловко выскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот, как стал навытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли позади и были по виду наряднее — попросту чины сопровождающей их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече и за этих позорящих генеральское звание генералов. Черт возьми, если бы он знал, что явятся этакие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом, и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который и пекла-то какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось: минуту назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребятишки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребята! Гля, как хромой Мелехов наконился! Будто ерша проглотил!» Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать больную ногу, вытянувшись в струну... Внутри у Пантелея Прокофьевича все клокотало от негодования. А всему виной этот проклятый трус атаманишка! Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувши язык, громышки и колокольцы для троек искал. Воистину: хорошего не видал человек, так и ветошке рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал! Взять хотя бы на императорском смотру: иной идет — вся грудь в крестах, в медалях, в золотом

шитве; глядеть, и то душа радуется, икона, а не генерал! А эти — все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеей, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи... Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплюнул от отвращения, но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал:

— Иди же, подноси!..

Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегло оглядел толпу, звучно произнес:

— Здравствуйте, господа старики!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — вразброд загомонили хуторяне.

Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюдо адъютанту.

Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах.

Полковник был утомлен дорожными лишениями, однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великой державы, но интересы королевской службы — прежде всего! И он внимательно вслушивался в речь станичного оратора и почти все понимал, так как знал русский язык, скрывая это от посторонних. С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурым казаком-славянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак, с рукою на грязной перевязи, вполголоса беседовал с седым библейским патриархом — и можно было биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, течет чистейшая кровь кавказских горцев...

Полковник немного знал историю: рассматривая каза-

ков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придется идти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав, и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков победят,— полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...

Внимание полковника привлекли громко перешептывавшиеся бабы. Он, не поворачивая головы, оглядел их скуластые обветренные лица, и твердо сжатые губы его тронула чуть приметная презрительная усмешка.

Пантелей Прокофьевич, вручив хлеб-соль, замешался в толпе. Он не стал слушать, как от имени казачьего населения станицы Вешенской приветствовал приехавших какой-то вешенский краснобай, а, околесив толпу, направился к стоявшим поодаль тройкам.

Лошади были все в мыле и тяжело носили боками. Старик подошел к своей впряженной в корень кобылке, рукавом протер ей ноздри, вздохнул. Ему хотелось выругаться, тут же выпрячь кобылу и вести ее домой,— так велико было его разочарование.

В это время генерал Сидорин держал к татарцам речь. Одобрительно отозвавшись об их боевых действиях в тылу у красных, он сказал:

— Вы мужественно сражались с нашими общими врагами. Ваши заслуги не будут забыты родиной, постепенно освобождающейся от большевиков, от их страшного ига. Мне хотелось бы отметить наградой тех женщин вашего хутора, которые, как нам известно, особенно отличились в вооруженной борьбе против красных. Я прошу выйти вперед наших героинь-казачек, фамилии которых будут сейчас оглашены!

Один из офицеров прочитал короткий список. Первой в нем значилась Дарья Мелехова, остальные были вдовы казаков, убитых в начале восстания, участвовавшие, как и Дарья, в расправе над пленными коммунистами, пригнанными в Татарский после сдачи Сердобского полка.

Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб и была разнаряжена, словно на праздник.

Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на ходу поправляя белый, с кружевной каемкой платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резче оттеняли жаркий блеск прищуренных ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ таилось что-то вызывающее и нечистое.

Ей загородил дорогу стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала:

— Пропустите женихову родню! — И подошла к Сидорину.

Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке,— неумело действуя пальцами, приколол ее к Дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза.

— Вы — вдова убитого в марте хорунжего Мелехова?

— Да.

— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Богаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие... Они сочувствуют вам в вашем горе.

Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков... А генералик ничего из себя, подходящий»,— со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто отдаленно похожее на улыбку.

— Мне можно идти? — спросила Дарья.

— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.

Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги,— направилась к толпе. За ее легкой скользящей

походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры.

К Сидорину неуверенно подходила жена покойного Мартина Шамиля. Когда и к ее старенькой кофтенке была приколота медаль, Шамилиха вдруг заплакала, да так беспомощно и по-женски горько, что лица офицеров сразу утратили веселое выражение и стали серьезными, сочувственно-кислыми.

— Ваш муж тоже убит? — нахмурясь, спросил Сидорин.

Плачущая женщина закрыла лицо руками, молча кивнула головой.

— У нее детей на воз не покладешь! — басом сказал кто-то из казаков.

Сидорин повернулся лицом к англичанину, громко сказал:

— Мы награждаем женщин, проявивших в боях с большевиками исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть мужей, уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из награжденных мною — жена офицера — собственноручно убила прославившегося жестокостями комиссара-коммуниста.

Переводчик-офицер бегло заговорил по-английски. Полковник выслушал, наклонил голову, сказал:

— Я восхищаюсь храбростью этих женщин. Скажите, генерал, они участвовали в боях наравне с мужчинами?

— Да,— коротко ответил Сидорин и нетерпеливым движением руки пригласил подойти поближе третью вдову.

Вскоре после вручения наград гости отбыли в станицу. Народ торопливо стал расходиться с плаца, спеша на покос, и через несколько минут после того, как скрылись сопровождаемые собачьим лаем автомобили, возле церковной ограды осталось только трое стариков.

— Диковинные времена заступили! — сказал один из них и широко развел руками.— Бывалоча, на войне егорьевский крест али медаль давали за больши-и-ие дела, за геройства, да кому давали-то? Самым ухачам, отчаюгам! Добывать кресты не дюже много рискателей находилось. Недаром сложили поговорку: «Иль домой с крестом, иль лежать пластом». А нынче медали бабам понавешали... Да хучь бы было за что, а то так... Казаки пригнали в хутор, а они кольями побили пленных, обезруженных людей. Какая же тут геройства? Не пойму, накажи господь!

Другой старик, подслеповатый и немощный, отставил ногу, не спеша достал из кармана свернутый в трубку матерчатый кисет, сказал:

— Им, начальству, виднее из Черкасскова. Стало быть, там рассудили так: надо и бабам приманку сделать, чтоб духом все поднялись, чтобы дюжей воевали. Тут медаль, а тут по пятисот деньгами,— какая баба супротив такой чести устоит? Иной из казаков и не схотел бы выступать на фронт, думал бы прихорониться от войны, да разве зараз смогет он усидеть? Ему баба все уши прожужжит! Ночная кукушка, она всегда перекукует! И каждая будет думать: «Может, и мне медаль навесют?»

— Это ты зря так говоришь, кум Федор! — возразил третий.— Следовало наградить, вот и наградили. Бабы повдовели, им деньги будут большой подмогой по хозяйству, а медали им за лихость пожалованы. Дашка Мелеховых первая суд навела Котлярову, и правильно! Господь им всем судья, но и баб нельзя винить: своя-то кровь резко гутарит...

Старики спорили и переругивались до тех пор, пока не зазвонили к вечерне. А как только звонарь ударил в колокол — все трое встали, сняли шапки, перекрестились и чинно пошли в ограду.

XIII

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых! Совсем недавно Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином, все домашние ему безоговорочно подчинялись, работа шла ряд рядом, сообща делили и радость и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменилось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей выполнять, делала с видимой неохотой и так, как будто работала не для себя, а по найму; и внешне стала как-то замкнутей, отчужденней; редко-редко слышался теперь беззаботный Дуняшкин смех.

После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалилась от стариков; с детишками проводила почти все время, с ними только охотно разговаривала и занималась, и было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья,

но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело.

Про Дарью и говорить было нечего: совсем не та стала Дарья после того, как съездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекру, на Ильиничну и внимания не обращала, безо всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделывалась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в мелеховском доме последние дни.

Семья распадалась на глазах у Пантелея Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения... За общий стол садились не так, как прежде — единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди.

Война была всему этому причиной, Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дуняшка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого — единственного, кого она любила со всей беззаветной девичьей страстью; Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью переживала новый отход Григория к Аксинье. А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком, да и что толку было бы от его согласия, коли этот чертов жених мотался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием: не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на астаховский баз и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницы, но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем, а старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой,— будь что будет!

Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плаца в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталье на медаль.

— За что это тебе? — удивилась Наталья.

— Это за кума Ивана Алексеевича, царство ему небесное, сукиному сыну! А это — за Петю...— И, похваляясь, развернула пачку хрустящих донских кредиток.

В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась:

— Отвяжитесь, батенка, я уморилась с дороги!

Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полушутливо сказала:

— В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на́ поля. Мне нынче праздник!

— Отвезу и сам,— согласился старик.— Ну, а деньги как?

— Что — деньги? — Дарья удивленно приподняла брови.

— Деньги, спрашиваю, куда денешь?

— А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену!

— То есть как же это так? Деньги-то за Петра тебе выдали?

— Выдали их мне, и вам ими не распоряжаться.

— Да ты семьянинка или кто?

— А вы чего от этой семьянинки хотите, батенка? Деньги себе забрать?

— Не к тому, что все забрать, но Петро-то сын нам был или кто, по-твоему? Мы-то со старухой должны быть в части?

Притязания свекра были явно неуверенны, и Дарья решительно взяла перевес. Издевательски спокойно она сказала:

— Ничего я вам не дам, даже рубля не дам! Вашей части тут нету, ее бы вам на руки выдали. Да с чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть? Об этом и разговору не было, и вы за моими хоть не тянитесь, не получите!

Тогда Пантелей Прокофьевич предпринял последнюю попытку:

— Ты в семье живешь, наш хлеб ешь, значит — и все у нас должно быть общее. Что это за порядки, ежели каждый зачнет поврозь свое хозяйство заводить? Я этого не дозволю! — сказал он.

Но Дарья отразила и эту попытку овладеть собственно ей принадлежащими деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она заявила:

— Я с вами, батенка, не венчанная, нынче у вас живу, а завтра замуж выйду, и только вы меня и видали! А за

прокорм я вам не обязана платить. Я на вашу семью десять лет работала, спину не разгинала.

— Ты на себя работала, сука поблудная! — возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич. Он еще что-то орал, но Дарья и слушать не стала, повернулась перед самым его носом, взмахнув подолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал!» — шептала она, насмешливо улыбаясь.

На том разговор и кончился. Воистину, не такая была Дарья, чтобы уступить свое, убоявшись стариковского гнева.

Пантелей Прокофьевич собрался ехать в поле и перед отъездом коротко поговорил с Ильиничной.

— Ты за Дарьей поглядывай...— попросил он.

— А чего за ней глядеть? — удивилась Ильинична.

— Того, что она сорвется и уйдет из дому и из нашего добра с собой прихватит. Я так гляжу, что неспроста она крылья распущает... Видать, приискала себе в пару и не нынче-завтра выскочит замуж.

— Должно быть, так,— со вздохом согласилась Ильинична.— Живет она, как хохол на отживе, ничего ей не мило, все не по ней... Она зараз — отрезанный ломоть, а отрезанный ломоть, как ни старайся, не прилепишь.

— Нам ее и прилепливать не к чему! Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет со двора. Мне уж надоело с ней вожжаться.— Пантелей Прокофьевич взобрался на арбу; погоняя быков, закончил: — Она от работы хоронится, как собака от мух, а сама все норовит сладкий кусок сожрать да увеяться на игрища. Нам после Петра, царство ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая!

Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить замуж. О замужестве она не думала, иная у нее на сердце была забота...

Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, всячески рассматривая медаль, раз пять переодевалась, примеряя, к какой кофточке больше всего идет полосатая георгиевская ленточка, шутила: «Мне бы теперича ишо крестов нахватать!» — потом отозвала Ильиничну в горенку, сунула ей в рукав две бумажки по двадцать рублей и, прижимая к груди горячими руками узловатую руку Ильиничны, зашептала: «Это Петю поминать... Закажите, мамаша, все-

ленскую панихиду, кутьи наварите...» — И заплакала... Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с Мишаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалькой и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез.

Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получала медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал и каким чучелом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом, лукаво, заговорщицки подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарье, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков.

Наталья чинила детские рубашонки и слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просила:

— Дарьюшка! Милая! Не бреши, ради Христа! А то я уж и не пойму, где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай сурьезно.

— Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка! Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте, а кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и предоставят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь! Вот как я ими буду командовать! — Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свекровь, быстрым движением просунула меж ног подол юбки, и, захватив его сзади рукой, сверкая оголенными лоснящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом скомандовала: «Старики, смирно! Бороды поднять выше! Кругом налево ша-а-гай!»

Дуняшка не выдержала и пырскнула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала:

— Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!

— Так уж и не перед добром! Да вы его, добро-то, видите? Вас ежели не расчудить, так вы тут от тоски заплеснеете!

Но этот порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник. Спустя полчаса она ушла к себе в боковушку, с досадой сорвала с груди и кинула в сундук злополучную медаль; подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов.

Дня четыре после этого она прилежно работала в поле.

Покос шел невесело. Не хватало рабочих рук. За день выкашивали не больше двух десятин. Сено в валках намочил дождь, прибавилось работы: пришлось валки растрясать, сушить на солнце. Не успели сметать в копны — снова спустился проливной дождь и шел с вечера до самой зари с осенним постоянством и настойчивостью. Потом установилось вёдро, подул восточный ветер, в степи снова застрекотали косилки, от почерневших копен понесло сладковато-прогорклым запахом плесени, степь окуталась паром, и сквозь голубоватую дымку чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов, синеющие русла балок и зеленые шапки верб над далекими прудами.

На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась идти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать.

Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил:

— Чего это тебе приспичило? До воскресенья не могешь подождать?

— Стало быть, дело есть и ждать некогда.

— Так-таки и дня подождать нельзя?

Дарья сквозь зубы ответила:

— Нет!

— Ну уж раз так гребтится, что и трошки потерпеть нельзя,— иди. А все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?

— Все будете знать — раньше времени помрете.

Дарья, как и всегда, за словом в карман не лазила, и Пантелей Прокофьевич, сплюнув от досады, прекратил расспросы.

На другой день по дороге из станицы Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Мишатка подбежал было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови:

— А Наталья где же, мамаша?

— Она на огороде, картошку полет. На что она тебе понадобилась? Либо старик за ней прислал? Нехай он с ума не сходит! Так ему и скажи!

— Никто за ней не присылал, я сама хотела кое-что ей сказать.

— Ты пеши пришла?

— Пеши.

— Скоро управятся наши?

— Должно, завтра.

— Да погоди, куда ты летишь? Сено-то дюже дожди попортили? — назойливо выспрашивала старуха, идя следом за сходившей с крыльца Дарьей.

— Нет, не дюже. Ну, я пойду, а то некогда...

— С огорода зайди рубаху старику возьми. Слышишь?

Дарья сделала вид, будто не расслышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась,— прищурившись, оглядела зеленоватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам.

Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво наползала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью, а омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны.

Дарья сняла с натруженных ног чирики, вымыла ноги и долго сидела на берегу, на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватающего за сердце крика чаек, и еще тяжелей и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилось на нее.

Наталья с трудом разогнула спину, прислонила к плетню мотыгу и, завидев Дарью, пошла к ней навстречу.

— Ты за мной, Даша?

— К тебе со своим горюшком...

Они присели рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее поразила перемена, происшедшая с Дарьиным лицом за эти дни: щеки осунулись и потемнели, на лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий тревожный блеск.

— Что это с тобой? Ты ажник с лица почернела,— участливо спросила Наталья.

— Небось почернеешь.— Дарья насильственно улыбнулась, помолчала.— Много тебе ишо полоть?

— К вечеру кончу. Так что с тобой стряслось?

Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила:

— А вот что: захворала я. У меня — дурная болезня. Вот как ездила в этот раз и зацепила. Наделил проклятый офицеришка!

— Догулялась!..— Наталья испуганно и горестно всплеснула руками.

— Догулялась. И сказать нечего, и жаловаться не на кого... Слабость моя... Подсыпался проклятый, улестил. Зубы белые, а сам оказался червивый... Вот я и пропала теперь.

— Головушка горькая! Ну как же это? Как же ты теперь? — Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собой, глядя себе под ноги, уже спокойнее продолжала:

— Видишь, я ишо в дороге за собой стала примечать... Думала спервоначалу: может, это так что... У нас, сама знаешь, по бабьему делу бывает всякое... Я вон весной подняла с земли чувал с пшеницей, и три недели месячные шли. Ну, а тут вижу, чтой-то не так... Знаки появились... Вчера ходила в станицу к фершалу. Было со стыда пропала... Зараз уж все, отыгралась бабочка!

— Лечиться надо, да ить страмы сколько! Их, эти болезни, говорят, залечивают.

— Нет, девка, мою не вылечишь.— Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла полышущие огнем глаза.— У меня — сифилис. Это от какого не вылечивают. От какого носы проваливаются... Вон как у бабки Андронихи, видала?

— Как же ты теперь? — спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами.

Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок, понюхала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала:

— Как я буду, спрашиваешь? Я шла из станицы — думала, прикидывала... Руки на себя наложу, вот как буду! Оно и жалковато, да, видно, выбирать не из чего. Все равно, ежли мне лечиться — все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться... Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, высохну вся, живьем буду гнить... Нет, не хочу! — Она говорила так, как будто рассуждала сама с собой, и на протестующее движение Натальи не обратила внимания.— Я думала, как ишо в станицу не ходила, ежли это у меня дурная болезня —

буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала, думала — они мне пригодятся фершалам платить... А зараз иначе решила. И надоело мне все! Не хочу!

Дарья выругалась страшным мужским ругательством, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладони повисшую на длинных ресницах слезинку.

— Какие ты речи ведешь... Бога побоялась бы! — тихо сказала Наталья.

— Мне он, бог, зараз ни к чему. Он мне и так всю жизню мешал.— Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью.— Того нельзя было делать, этого нельзя, все грехами да Страшным судом пужали... Страшнее этого суда, какой я над собой сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все! Люди все поопостылели... Мне легко будет с собой расквитаться. У меня — ни сзади, ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого... Так-то!

Наталья начала горячо уговаривать, просила одуматься и не помышлять о самоубийстве, но Дарья, рассеянно слушавшая вначале, опомнилась и гневно прервала ее на полуслове:

— Ты это брось, Наташка! Я не за тем пришла, чтоб ты меня отговаривала да упрашивала! Я пришла сказать тебе про свое горе и предупредить, чтобы ты ко мне с нонешнего дня ребят своих не подпускала. Болезня моя прилипчивая, фершал сказал, да я и сама про нее слыхала, и как бы они от меня не заразились, поняла, глупая? И старухе ты скажи, у меня совести не хватает. А я... я не сразу в петлю полезу, не думай, с этим успеется... Поживу, порадуюсь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ить мы, знаешь, как? Пока под сердце не кольнет — ходим и округ себя ничего не видим... Я вон какую жизню прожила и была вроде слепой, а вот как пошла из станицы по-над Доном да как вздумала, что мне скоро надо будет расставаться со всем этим, и кубыть глаза открылись! Гляжу на Дон, а по нем зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж глазам глядеть на него больно. Повернусь кругом, гляну — господи, красота-то какая! А я ее и не примечала...— Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос ее стал еще выше и напряженнее: — Я уж за дорогу и отревела разов несколько... Подошла к хутору, гляжу — ребятишки махонькие купаются в Дону... Ну, поглядела на них, сердце зашлось, и разревелась, как дура. Часа два

лежала на песке. Оно и мне нелегко, ежли подумать...— Поднялась с земли, отряхнула юбку, привычным движением поправила платок на голове.— Только у меня и радости, как вздумаю про смерть: придется же на том свете увидаться с Петром... «Ну, скажу, дружечка мой, Петро Пантелевич, принимай свою непутевую жену!» — И с обычной для нее циничной шутливостью добавила: — А драться ему на том свете нельзя, драчливых в рай не пущают, верно? Ну, прощай, Наташенька! Не забудь свекрухе сказать про мою беду.

Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Меж пальцев ее, как в расщепах сосны смола, блестели слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверец, потом вернулась, деловито сказала:

— С нонешнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да ишо вот что: пущай она отцу не говорит про это, а то старик взбесится и выгонит меня из дому. Этого ишо мне недоставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай!

XIV

На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка погнала к Дону быков, а Ильинична и Наталья проворно накрыли на стол.

Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как и всегда, налила в большую, общую миску.

Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на Дарьину миску:

— Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она что, не нашей веры стала?

— И чего тебе надо? Ешь!

Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся:

— Ага, понимаю! С той поры как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. Тебе что, Дашка, аль гребостно с нами из одной чашки хлебать?

— Не гребостно, а нельзя,— хрипло ответила Дарья.

— Через чего же это?

— Глотка болит.

— Ну и что?

— Ходила в станицу, и фершал сказал, чтобы ела из отдельной посуды.

— У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?

Дарья побледнела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него:

— Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя! Прилипнет, как орепей, и отцепы от него нету.

— Да мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич.— По мне, вы хоть через край хлебайте.

С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щи, заорал дурным голосом:

— Подать не умеете, распроклятые! Кто такие щи, прямо с пылу, подает?!

— Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся,— утешала Ильинична.

Дуняшка чуть не пырскнула, глядя, как побагровевший отец выбирает из бороды капусту и кусочки картофеля, но лица остальных были настолько серьезны, что и она сдержалась и взгляд от отца отвела, боясь некстати рассмеяться.

После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала вороха пахнущего гнильцой сена, утаптывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед.

За курганом садилось солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удушливую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому степному пруду, перекликаясь, летели чибисы.

Дарья лежала на покачивающемся возу вниз лицом, опираясь на локти, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат; на спокойном чистом лице ее бродили медно-красные отблески. «Вот Наташка счастливая, у нее и муж и дети, ничего ей не надо,

в семье ее любят, а я — конченый человек. Издохну — никто и ох не скажет»,— думала Дарья, и у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспрестанно думать о своей пропащей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность:

— Хочу, Наталья, повиниться перед тобою...

Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать, и она вышла проводить его за ворота, и тогда так же горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи... Григорий отъезжал полуобернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой, девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца... Ей стало неприятно от того, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехотя спросила:

— В чем виниться-то?

— Был такой грех... Помнишь, весной приезжал Григорий с фронта на побывку? Вечером в энтот день, помнится, я доила корову. Пошла в курень, слышу — Аксинья меня окликает. Ну, зазвала к себе, подарила, прямо-таки навязала, вот это колечко,— Дарья повертела на безымянном пальце золотое кольцо,— и упросила, чтобы я вызвала к ней Григория... Мое дело — что ж... Я ему сказала. Он тогда всю ночь... Помнишь, он говорил, будто Кудинов приезжал и он с ним просидел? Брехня! Он у Аксиньи был!

Ошеломленная, побледневшая Наталья молча ломала в пальцах сухую веточку донника.

— Ты не серчай, Наташа, на меня. Я и сама не рада, что призналась тебе...— искательно сказала Дарья, пытаясь заглянуть Наталье в глаза.

Наталья молча глотала слезы. Так неожиданно и велико было снова поразившее ее горе, что она не нашла в себе сил ответить что-либо Дарье и только отворачивалась, пряча свое искаженное страданием лицо.

Уже перед въездом в хутор, досадуя на себя, Дарья подумала: «И черт меня дернул раскквелить ее. Теперь будет целый месяц слезы точить! Нехай бы уж жила ничего не знаючи. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше». Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала:

— Да ты не убивайся дюже. Эка беда какая! У меня горюшко потяжельше твоего, да и то хожу козырем. А там черт его знает, может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я же за ним не следила. А раз непойманный — значит, не вор.

— Догадывалась...— тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка.

— А догадывалась, так чего ж ты у него не допыталась? Эх ты, никудышняя! У меня бы он не открутился! Я бы его в такое щемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы!

— Боялась правду узнать... Ты думаешь — это легко? — блеснув глазами, заикаясь от волнения, сказала Наталья.— Это ты так... с Петром жили... А мне, как вспомню... как вспомню, все что пришлось... пришлось пережить... И зараз страшно!

— Ну, тогда позабудь об этом,— простодушно посоветовала Дарья.

— Да разве это забывается!..— чужим, охрипшим голосом воскликнула Наталья.

— А я бы забыла. Дело большое!

— Позабудь ты про свою болезню!

Дарья рассмеялась.

— И рада бы, да она, проклятая, сама о себе напоминает! Слушай, Наташка, хочешь, я у Аксиньи все дочиста узнаю? Она мне скажет! Накажи господь! Нет такой бабы, чтобы утерпела, не рассказала об том, кто и как ее любит. По себе знаю!

— Не хочу я твоей услуги. Ты мне и так услужила,— сухо ответила Наталья.— Я не слепая, вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ить не из жалости ты призналась, как своднichала, а чтобы мне тяжельше было...

— Верно! — вздохнув, согласилась Дарья.— Рассуди сама, не мне же одной страдать?

Дарья слезла с арбы, взяла в руки налыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На въезде в проулок она подошла к арбе:

— Эй, Наташка! Что я у тебя хочу спросить... Дюже ты своего любишь?

— Как умею,— невнятно отозвалась Наталья.

— Значит, дюже,— вздохнула Дарья.— А мне вот ни одного дюже не доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось... Мне бы теперь сызнова жизню начать,— может, и я бы другой стала?

Черная ночь сменила короткие летние сумерки. В темноте сметывали на базу сено. Женщины работали молча, и Дарья даже на окрики Пантелея Прокофьевича не отвечала.

XV

Стремительно преследуя отступавшего от Усть-Медведицкой противника, объединенные части Донской армии и верхнедонских повстанцев шли на север. Под хутором Шашкином на Медведице разгромленные полки 9-й Красной армии пытались задержать казаков, но были снова сбиты и отступали почти до самой Грязе-Царицынской железнодорожной ветки, не оказывая решительного сопротивления.

Григорий со своей дивизией участвовал в бою под Шашкином и крепко помог пехотной бригаде генерала Сутулова, попавшей под фланговый удар. Конный полк Ермакова, ходивший по приказу Григория в атаку, захватил в плен около двухсот красноармейцев, отбил четыре станковых пулемета и одиннадцать патронных повозок.

К вечеру с группой казаков первого полка Григорий въехал в Шашкин. Около дома, занятого штабом дивизии, под охраной полусотни казаков, стояла густая толпа пленных, белея бязевыми рубахами и кальсонами. Большинство их было разуто и раздето до белья, и лишь изредка в белесой толпе зеленела грязная защитная гимнастерка.

— До чего белые стали, как гуси! — воскликнул Прохор Зыков, указывая на пленных.

Григорий натянул поводья, повернул коня боком; разыскав в толпе казаков Ермакова, поманил его к себе пальцем.

— Подъезжай, чего ты по-за чужими спинами хоронишься?

Покашливая в кулак, Ермаков подъехал. Под черными негустыми усами его на разбитых зубах запеклась кровь, правая щека вздулась и темнела свежими ссадинами. Во время атаки конь под ним споткнулся на всем скаку, упал, и камнем вылетевший из седла Ермаков сажени две скользил на животе по кочковатой толоке. И он и конь одновременно вскочили на ноги. А через минуту Ермаков, в седле и без фуражки, страшно окровавленный, но с обнаженной шашкой в руке, уже настигал катившуюся по косогору казачью лаву...

— И чего бы это мне хорониться? — с кажущимся удивлением спросил он, поравнявшись с Григорием, а сам смущенно отводил в сторону еще не потухшие после боя, налитые кровью осатанелые глаза.

— Чует кошка, чью мясу съела! Чего сзади едешь? — гневно спросил Григорий.

Ермаков, трудно улыбаясь распухшими губами, покосился на пленных.

— Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты мне зараз загадки не задавай, все равно не разгадаю, я нынче с коня сторчь головой падал...

— Твоя работа? — Григорий плетью указал на красноармейцев.

Ермаков сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление:

— Вот сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда ж это они успели?.. Скажи на милость! Только что отъехал, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, растелешили бедных дочиста!..

— Ты мне дурочку не трепи! Чего ты прикидываешься? Ты велел раздеть?

— Сохрани господь! Да ты в уме, Григорий Пантелевич?

— Приказ помнишь?

— Это насчет того, чтобы...

— Да-да, это насчет того самого!..

— Как же, помню. Наизусть помню! Как стишок, какие в школе, бывалоча, разучивали.

Григорий невольно улыбнулся,— перегнувшись на седле, схватил Ермакова за ремень портупеи. Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира.

— Харлампий! Без шуток, к чему ты дозволил? Новенький полковник, какого заместо Копылова посадили в штаб, донесет, и прийдется отвечать. Ить не возрадуешься, как начнется волынка, спросы да допросы.

— Не мог стерпеть, Пантелевич! — серьезно и просто ответил Ермаков.— На них было все с иголочки, им только что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и дома с одежей не густо. А с них — один черт — все в тылу посымали бы! Мы их будем забирать, а тыловая сволочь будет раздевать? Нет уж, нехай лучше наши попользуются! Я буду отвечать, а с меня взятки гладки! И ты, пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я знать ничего не знаю и об этих делах сном-духом не ведаю!

Поравнялись с толпой пленных. Сдержанный говор в толпе смолк. Стоявшие с краю сторонились конных, поглядывали на казаков с угрюмой опаской и настороженным выжиданием. Один красноармеец, распознав в Григории командира, подошел вплотную, коснулся рукой стремени:

— Товарищ начальник! Скажите вашим казакам, чтобы нам хоть шинели возвратили. Явите такую милость! По ночам холодно, а мы прямо-таки нагие, сами видите.

— Небось не замерзнешь середь лета, суслик! — сурово сказал Ермаков и, оттеснив красноармейца конем, повернулся к Григорию.— Ты не сумлевайся, я скажу, чтоб им отдали кое-что из старья. Ну, сторонись, сторонись, вояки! Вам бы в штанах вшей бить, а не с казаками сражаться!

В штабе допрашивали пленного командира роты. За столом, покрытым ветхой клеенкой, сидел новый начальник штаба, полковник Андреянов — пожилой курносый офицер, с густою проседью на висках и с мальчишески оттопыренными, крупными ушами. Против него в двух шагах от стола стоял красный командир. Показания допрашиваемого записывал один из офицеров штаба, сотник Сулин, прибывший в дивизию вместе с Андреяновым.

Красный командир — высокий рыжеусый человек, с пепельно-белесыми, остриженными под ежик волосами,— стоял, неловко переступая босыми ногами по крашенному охрой полу, изредка поглядывая на полковника. Казаки оставили на пленном одну нижнюю солдатскую рубаху из желтой, неотбеленной бязи да взамен отобранных штанов дали изорванные в клочья казачьи шаровары с выцветшими лампасами и неумело приштопанными латками. Проходя к столу, Григорий заметил, как пленный коротким смущенным движением поправил разорванные на ягодицах шаровары, стараясь прикрыть оголенное тело.

— Вы говорите, Орловским губвоенкоматом? — спросил полковник, коротко, поверх очков взглянув на пленного, и снова опустил глаза и, прищурившись, стал рассматривать и вертеть в руках какую-то бумажку — как видно, документ.

— Да.

— Осенью прошлого года?

— В конце осени.

— Вы лжете!

— Я говорю правду.

— Утверждаю, вы лжете!..

Пленный молча пожал плечами. Полковник глянул на Григория, сказал, пренебрежительно кивнув в сторону допрашиваемого:

— Вот полюбуйтесь: бывший офицер императорской армии, а сейчас, как видите, большевик. Попался и сочиняет, будто у красных он случайно, будто его мобилизовали. Врет дико, наивно, как гимназистишка, и думает, что ему поверят, а у самого попросту не хватает гражданского мужества сознаться в том, что предал родину... Боится, мерзавец!

Трудно двигая кадыком, пленный заговорил:

— Я вижу, господин полковник, у вас хватает гражданского мужества на то, чтобы оскорблять пленного...

— С мерзавцами я не разговариваю!

— А мне сейчас приходится говорить.

— Осторожнее! Не вынуждайте меня, я могу вас оскорбить действием!

— В вашем положении это так нетрудно и — главное — безопасно!

Не обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника. «Здорово ощипал он полковничка!» — с удовольствием подумал Григорий и не без злорадства глянул на мясистые, багровые щеки Андреянова, подергивавшиеся от нервного тика.

Своего начальника штаба Григорий невзлюбил с первой же встречи. Андреянов принадлежал к числу тех офицеров, которые в годы мировой войны не были на фронте, а благоразумно отсиживались по тылам, используя влиятельные служебные и родственные связи и знакомства, всеми силами цепляясь за безопасную службу. Полковник Андреянов и в гражданскую войну ухитрился работать на оборону, сидя в Новочеркасске, и только после отстранения от власти атамана Краснова он вынужден был поехать на фронт.

За две ночи, проведенные с Андреяновым на одной квартире, Григорий с его слов успел узнать, что он очень набожен, что он без слез не может говорить о торжественных церковных богослужениях, что жена его — самая примерная жена, какую только можно представить, что зовут ее Софьей Александровной и что за ней некогда безуспешно ухаживал сам наказный атаман барон фон Граббе; кроме этого, полковник любезно и подробно рассказал: каким имением владел его покойный родитель, как он,

Андреянов, дослужился до чина полковника, с какими высокопоставленными лицами ему приходилось охотиться в 1916 году; а также сообщил, что лучшей игрой он считает вист, полезнейшим из напитков — коньяк, настоянный на тминном листе, а наивыгоднейшей службой — службу в войсковом интендантстве.

От близких орудийных выстрелов полковник Андреянов вздрагивал, верхом ездил неохотно, ссылаясь на болезнь печени; неустанно заботился об увеличении охраны при штабе, а к казакам относился с плохо скрываемой неприязнью, так как, по его словам, все они были предателями в 1917 году, и с этого года он возненавидел всех «нижних чинов» без разбора. «Только дворянство спасет Россию!» — говорил полковник, вскользь упоминая о том, что и он дворянского рода и что род Андреяновых старейший и заслуженнейший на Дону.

Несомненно, основным пороком Андреянова была болтливость, та старческая, безудержная и страшная болтливость, которой страдают некоторые словоохотливые и неумные люди, достигшие преклонного возраста и еще смолоду привыкшие судить обо всем легко и развязно.

С людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда испытывал к ним чувство глубокого отвращения. На второй день после знакомства с Андреяновым Григорий начал избегать встреч с ним и днем преуспевал в этом, но как только останавливались на ночевку — Андреянов разыскивал его, торопливо спрашивал: «Вместе ночуем?» — и, не дожидаясь ответа, начинал: «Вот вы, любезнейший мой, говорите, что казаки неустойчивы в пешем бою, а я, в бытность мою офицером для поручений при его превосходительстве... Эй, кто там, принесите мой чемодан и постель сюда!» Григорий ложился на спину, закрывал глаза и, стиснув зубы, слушал, потом неучтиво поворачивался к неугомонному рассказчику спиной, с головой укрывался шинелью, думал с немой яростью: «Как только получу приказ о переводе — лупану его чем-нибудь тяжелым по голове: может, после этого он хоть на неделю языка лишится!» — «Вы спите, сотник?» — спрашивал Андреянов. «Сплю»,— глухо отвечал Григорий. «Позвольте, я еще не досказал!» — И рассказ продолжался. Сквозь сон Григорий думал: «Нарочно подсунули мне этого балабона. Должно, Фицхелауров постарался. Ну, как с ним, с таким ушибленным, служить?» И,

засыпая, слышал пронзительный тенорок полковника, звучавший, как дождевая дробь по железной крыше.

Вот поэтому-то Григорий и злорадствовал, видя, как ловко пленный командир отделывает его разговорчивого начальника штаба.

С минуту Андреянов молчал, щурился; длинные мочки его оттопыренных ушей ярко пунцовели, лежавшая на столе белая пухлая рука, с массивным золотым кольцом на указательном пальце, вздрагивала.

— Слушайте вы, ублюдок! — сказал он охрипшим от волнения голосом.— Я приказал привести вас ко мне не для того, чтобы пикироваться с вами, вы этого не забывайте! Понимаете ли вы, что вам не отвертеться?

— Отлично понимаю.

— Тем лучше для вас. В конце концов мне наплевать, добровольно вы пошли к красным или вас мобилизовали. Важно не это, важно то, что вы из ложно понимаемых вами соображений чести отказываетесь говорить...

— Очевидно, мы с вами разно понимаем вопросы чести.

— Это потому, что у вас ее не осталось и вот столько!

— Что касается вас, господин полковник, то, судя по обращению со мной, я сомневаюсь, чтобы честь у вас вообще когда-нибудь была!

— Я вижу — вы хотите ускорить развязку?

— А вы думаете, в моих интересах ее затягивать? Не пугайте меня, не выйдет!

Андреянов дрожащими руками раскрыл портсигар, закурил, сделал две жадные затяжки и снова обратился к пленному:

— Итак, вы отказываетесь отвечать на вопросы?

— О себе я говорил.

— Идите к черту! Ваша паршивая личность меня меньше всего интересует. Потрудитесь ответить вот на какой вопрос: какие части подошли к вам от станции Себряково?

— Я вам ответил, что не знаю.

— Вы знаете!

— Хорошо, доставлю вам удовольствие: да, я знаю, но отвечать не буду.

— Я прикажу вас выпороть шомполами, и тогда вы заговорите.

— Едва ли! — Пленный тронул левой рукой усы, уверенно улыбнулся.

— Камышинский полк участвовал в этом бою?

— Нет.

— Но ваш левый фланг прикрывала кавалерийская часть, что это за часть?

— Оставьте! Еще раз повторяю вам, что на подобные вопросы отвечать не стану.

— На выбор: или ты, собака, сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! Ну?!

И тогда неожиданно высоким, юношески звучным голосом пленный сказал:

— Вы мне надоели, старый дурак! Тупица! Если б вы попались ко мне — я бы вас не так допрашивал!..

Андреянов побледнел, схватился за кобуру нагана. Тогда Григорий неторопливо встал и предостерегающе поднял руку.

— Ого! Ну, теперь хватит! Погутарили — и хватит. Обое вы горячие, как погляжу... Ну, не сошлись, и не надо, об чем толковать? Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово! Я и не ждал!

— Нет, позвольте!..— горячился Андреянов, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру.

— Не позволю! — с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоняя собой пленного.— Пустое дело — убить пленного. Как вас совесть не зазревает намеряться на него, на такого? Человек безоружный, взятый в неволю, вон на нем и одежи-то не оставили, а вы намахиваетесь...

— Долой! Меня оскорбил этот негодяй! — Андреянов с силой оттолкнул Григория, выхватил наган.

Пленный живо повернулся лицом к окну,— как от холода, повел плечами. Григорий с улыбкой следил за Андреяновым, а тот, почувствовав в ладони шероховатую рукоять револьвера, как-то нелепо взмахнул им, потом опустил дулом книзу и отвернулся.

— Рук не хочу марать...— отдышавшись и облизав пересохшие губы, хрипло сказал он.

Не сдерживая смеха, сияя из-под усов кипенным оскалом зубов, Григорий сказал:

— Оно и не пришлось бы! Вы поглядите, наган-то у вас разряженный. Ишо на ночевке, я проснулся утром, взял его со стула и поглядел... Ни одного патрона в нем, и не чищенный, должно, месяца два! Плохо вы доглядаете за личным оружием!

Андреянов опустил глаза, повертел большим пальцем барабан револьвера, улыбнулся:

— Черт! А ведь верно...

Сотник Сулин, молча и насмешливо наблюдавший за всем происходившим, свернул протокол допроса, сказал, приятно картавя:

— Я вам неоднократно говорил, Семен Поликарпович, что с оружием вы обращаетесь безобразно. Сегодняшний случай — лишнее доказательство тому.

Андреянов поморщился, крикнул:

— Эй, кто там из нижних чинов? Сюда!

Из передней вошли два ординарца и начальник караула.

— Уведите! — Андреянов кивком головы указал на пленного.

Тот повернулся лицом к Григорию, молча поклонился ему, пошел к двери. Григорию показалось, будто у пленного под рыжеватыми усами в чуть приметной благодарной усмешке шевельнулись губы...

Когда утихли шаги, Андреянов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, желчно сказал:

— Вы блестяще защищали эту сволочь,— это дело ваших убеждений, но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение — послушайте, что же это такое?

— Беда не дюже большая,— примирительно ответил Григорий.

— Нет, все же напрасно. А знаете ли, я бы мог его убить. Тип возмутительный! До вашего прихода я бился с ним полчаса. Сколько он тут врал, путал, изворачивался, давал заведомо ложных сведений — ужас! А когда я его уличил — попросту и наотрез отказался говорить. Видите ли, офицерская честь не позволяет ему выдавать противнику военную тайну. Тогда об офицерской чести не думал, сукин сын, когда нанимался к большевикам... Полагаю, что его и еще двух из командного состава надо без шума расстрелять. В смысле получения интересующих нас сведений — они все безнадежны: закоренелые и непоправимые негодяи, следовательно — и щадить их незачем. Вы — как?

— Каким путем вы узнали, что он — командир роты? — вместо ответа спросил Григорий.

— Выдал один из его же красноармейцев.

— Я полагаю, надо расстрелять этого красноармейца,

а командиров оставить! — Григорий выжидающе взглянул на Андреянова.

Тот пожал плечами и улыбнулся так, как улыбаются, когда собеседник неудачно шутит.

— Нет, серьезно, вы как?

— А вот так, как я уже вам сказал.

— Но, позвольте, это из каких же соображений?

— Из каких? Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии дисциплину и порядок. Вчера, когда мы ложились спать, вы, господин полковник, дюже толково рассказывали, какие порядки надо будет заводить в армии после того, как разобьем большевиков,— чтобы вытравить из молодежи красную заразу. Я с вами был целиком согласный, помните? — Григорий поглаживал усы, следя за меняющимся выражением лица полковника, рассудительно говорил: — А зараз вы что предлагаете? Этим же вы разврат заводите! Значит, нехай солдаты выдают своих командиров? Это вы чему же их научаете? А доведись нам с вами быть на таком положении, тогда что? Нет, помилуйте, я тут упрусь! Я — против.

— Как хотите,— холодно сказал Андреянов и внимательно посмотрел на Григория. Он слышал о том, что повстанческий командир дивизии своенравен и чудаковат, но этакого от него не ожидал. Он только добавил: — Мы обычно так поступали в отношении взятых в плен красных командиров, и в особенности — бывших офицеров. У вас что-то новое... И мне не совсем понятно ваше отношение к такому, казалось бы, бесспорному вопросу.

— А мы обычно убивали их в бою, ежли доводилось, но пленных без нужды не расстреливали! — багровея, ответил Григорий.

— Хорошо, пожалуйста, отправим их в тыл,— согласился Андреянов.— Теперь вот какой вопрос: часть пленных — мобилизованные крестьяне Саратовской губернии — изъявила желание сражаться в наших рядах. Третий пехотный полк наш не насчитывает и трехсот штыков. Считаете ли вы возможным после тщательного отбора влить в него часть добровольцев из пленных? На этот счет из штабарма у нас имеются определенные указания.

— Ни одного мужика я к себе не возьму. Убыль пущай пополняют мне казаками,— категорически заявил Григорий.

Андреянов попробовал убедить его:

— Послушайте, не будем спорить. Мне понятно ваше

желание иметь в дивизии однородный казачий состав, но необходимость понуждает нас не брезговать и пленными. Даже в Добровольческой армии некоторые полки укомплектовываются пленными.

— Они пущай делают как хотят, а я отказываюсь принимать мужиков. Давайте об этом больше не будем гутарить,— отрезал Григорий.

Спустя немного он вышел распорядиться относительно отправки пленных. А за обедом Андреянов взволнованно сказал:

— Очевидно, не сработаемся мы с вами...

— Я тоже так думаю,— равнодушно ответил Григорий. Не замечая улыбки Сулина, он пальцами достал из тарелки кусок вареной баранины, начал с таким волчьим хрустом дробить зубами твердоватый хрящ, что Сулин сморщился, как от сильной боли, и даже глаза на секунду закрыл.

* * *

Через два дня преследование отступавших красных частей повела группа генерала Сальникова, а Григория срочно вызвали в штаб группы, и начальник штаба, пожилой благообразный генерал,— ознакомив его с приказом командующего Донской армией о расформировании повстанческой армии, без обиняков сказал:

— Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией, теперь же мы не можем доверить вам не только дивизии, но и полка. У вас нет военного образования, и в условиях широкого фронта, при современных методах ведения боя вы не сможете командовать крупной войсковой единицей. Вы согласны с этим?

— Да,— ответил Григорий.— Я сам хотел отказаться от командования дивизией.

— Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваших возможностей. У нынешних молодых офицеров это качество встречается весьма редко. Так вот: приказом командующего фронтом вы назначаетесь командиром четвертой сотни Девятнадцатого полка. Полк сейчас на марше, верстах в двадцати отсюда, где-то около хутора Вязникова. Поезжайте сегодня же, в крайнем случае — завтра. Вы как будто что-то имеете сказать?

— Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть.

— Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте.

— Я за две войны четырнадцать раз ранен и контужен.

— Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно и еще можете сражаться. Что касается ранений, то кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего!

Вероятно, для того, чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцов при расформировании повстанческой армии, многим рядовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в подхорунжии, а офицеры — участники восстания — получили повышение в чинах и награды.

Не был обойден и Григорий: его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги по борьбе с красными и объявили благодарность.

Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизии и полков заменили генералы и полковники, командирами сотен назначили опытных офицеров; целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рядовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанной в боях на Донце.

Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии,— прощаясь, сказал:

— Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо прийдется думать, крепко думать, как дальше быть...

Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо:

— Опять старинка зачинается?

— Куда же нас теперича?

— Силуют народ как хотят, сволочи!

— Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?!

— Ну, ребяты, объединились на свою шею!..

— Сызнова их благородия заламывать нас зачинают!

— Зараз держися! Суставчики зачнут выпрямлять вовсю...

Григорий выждал тишины, сказал:

— Занапрасну глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и супротивничать

начальникам. Расходись по квартирам да языками поменьше орудуйте, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а аккурат до полевых судов да до штрафных сотен.

Казаки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили:

— Прощай, Пантелевич! Ты нас тоже недобрым словом не поминай.

— Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службицу ломать!

— Зря ты нас в трату дал. Не соглашался бы сдавать дивизию!

— Жалкуем об тебе, Мелехов. Чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ить нам от этого не легше, а тяжельше будет, вот в чем беда!

Лишь один казак, уроженец с хутора Наполовского, сотенный балагур и острослов, сказал:

— Ты, Григорий Пантелевич, не верь им. Со своими ли работаешь аль с чужими — одинаково тяжело, ежли работа не в совесть!

* * *

Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять Девятнадцатый полк.

Не успел принять сотню и как следует ознакомиться с людьми — вызвали к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замешкался и явился только через полчаса. Он ожидал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню? Стоящий народ?» — и, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал:

— Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость... У вас дома — большое несчастье. Сегодня ночью из Вёшенской получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте.

— Дайте телеграмму,— бледнея, проговорил Григорий.

Он взял сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал в мгновенно запотевшей руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка запнулся, когда говорил:

— Да, этого я не ждал. Стало быть, я поеду. Прощайте.

— Не забудьте взять отпускное свидетельство.

— Да-да. Спасибо, не забуду.

В сени он вышел, уверенно и твердо шагая, привычно придерживая шашку, но когда начал сходить с высокого крыльца — вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце.

На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткое перильце, а правой — проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и когда оторвался от перил и направился к привязанному у калитки коню, то шел уже тяжело ступая, слегка покачиваясь.

XVI

Несколько дней после разговора с Дарьей Наталья жила, испытывая такое ощущение, какое бывает во сне, когда тяжко давит дурной сон и нет сил очнуться. Она искала благовидного предлога, чтобы пойти к жене Прохора Зыкова и попытаться у нее узнать, как жил Григорий в Вёшенской во время отступления и виделся ли там с Аксиньей или нет. Ей хотелось убедиться в вине мужа, а словам Дарьи она и верила и не верила.

Поздно вечером подошла она к зыковскому базу, беспечно помахивая хворостиной. Прохорова жена, управившись с делами, сидела около ворот.

— Здорово, жалмерка! Телка нашего не видала? — спросила Наталья.

— Слава богу, милушка! Нет, не видала.

— Такой поблудный, проклятый,— дома никак не живет! Где его искать — ума не приложу.

— Постой, отдохни трошки, найдется. Семечками угостить?

Наталья подошла, присела. Завязался немудрый бабий разговор.

— Про служивого не слыхать? — поинтересовалась Наталья.

— И вестки нету. Как, скажи, в воду канул, анчихрист! А твой либо прислал что?

— Нет. Сулился Гриша написать, да что-то не шлет писем. Гутарют в народе, будто где-то за Усть-Медведицу

наши пошли, а окромя ничего не слыхала.— Наталья перевела разговор на недавнее отступление за Дон, осторожно начала выспрашивать, как жили служивые в Вешенской и кто был с ними из хуторных. Лукавая Прохорова жененка догадалась, зачем пришла к ней Наталья, и отвечала сдержанно, сухо.

Со слов мужа она все знала о Григории, но, хотя язык у нее и чесался, рассказывать побоялась, памятуя Прохорово наставление: «Так и знай: скажешь об этом кому хоть слово — положу тебя головой на дровосеку, язык твой поганый на аршин вытяну и отрублю. Ежли дойдет слух об этом до Григория — он же меня походя убьет, между делом! А мне одна ты осточертела, а жизня пока ишо нет. Поняла? Ну и молчи, как дохлая!»

— Аксинью Астахову не доводилось твоему Прохору видать в Вёшках? — уже напрямик спрашивала потерявшая терпение Наталья.

— Откуда ему было ее видать! Разве им там до этого было? Истинный бог, ничего не знаю, Мироновна, и ты про это у меня хоть не пытай. У моего белесого черта слова путнего не добьешься. Только и разговору знает — подай да прими.

Так ни с чем и ушла еще более раздосадованная и взволнованная Наталья. Но оставаться в неведении она больше не могла, это и толкнуло ее зайти к Аксинье.

Живя по соседству, они за последние годы часто встречались, молча кланялись друг дружке, иногда перебрасывались несколькими фразами. Та пора, когда они при встречах, не здороваясь, обменивались ненавидящими взглядами, прошла; острота взаимной неприязни смягчилась, и Наталья, идя к Аксинье, надеялась, что та ее не выгонит и уж о ком, о ком, а о Григории будет говорить. И она не ошиблась в своих предположениях.

Не скрывая изумления, Аксинья пригласила ее в горницу, задернула занавески на окнах, зажгла огонь, спросила:

— С чем хорошим пришла?

— Мне с хорошим к тебе не ходить...

— Говори плохое. С Григорием Пантелеевичем беда случилась?

Такая глубокая, нескрываемая тревога прозвучала в Аксиньином вопросе, что Наталья поняла все. В одной фразе сказалась вся Аксинья, открылось все, чем она жила и чего боялась. После этого, по сути, и спрашивать об ее

отношениях к Григорию было незачем, однако Наталья не ушла; помедлив с ответом, она сказала:

— Нет, муж живой и здоровый, не пужайся.

— Я и не пужаюсь, с чего ты берешь? Это тебе об его здоровье надо страдать, а у меня своей заботы хватит.— Аксинья говорила свободно, но, почувствовав, как кровь бросилась ей в лицо, проворно подошла к столу и, стоя спиной к гостье, долго поправляла и без того хорошо горевший огонь в лампе.

— Про Степана твоего слыхать что?

— Поклон пересылал недавно.

— Живой-здоровый он?

— Должно быть.— Аксинья пожала плечами.

И тут не смогла она покривить душой, скрыть свои чувства: равнодушие к судьбе мужа так явственно проглянуло в ее ответе, что Наталья невольно улыбнулась.

— Видать, не дюже ты об нем печалуешься... Ну, да это — твое дело. Я вот чего пришла: по хутору идет брехня, будто Григорий опять к тебе прислоняется, будто видаетесь вы с ним, когда приезжает он домой. Это верно?

— Нашла у кого спрашивать! — насмешливо сказала Аксинья.— Давай я у тебя спрошу, верно это или нет?

— Правду боишься сказать?

— Нет, не боюсь.

— Тогда скажи, чтобы я знала, не мучилась. Зачем же меня зря томить?

Аксинья сузила глаза, шевельнув черными бровями.

— Мне тебя все одно жалко не будет,— резко сказала она.— У нас с тобой так: я мучаюсь — тебе хорошо, ты мучаешься — мне хорошо... Одного ить делим? Ну, а правду я тебе скажу: чтобы знала загодя. Все это верно, брешут не зря. Завладала я Григорием опять и уж зараз постараюсь не выпустить его из рук. Ну, чего ж ты после этого будешь делать? Стекла мне в курене побьешь или ножом зарежешь?

Наталья встала, завязала узлом гибкую хворостину, бросила ее к печи и ответила с несвойственной ей твердостью:

— Зараз я тебе никакого лиха не сделаю. Погожу, приедет Григорий, погутарю с ним, потом будет видно, как мне с вами, обоими, быть. У меня двое детей, и за них и за себя я постоять сумею!

Аксинья улыбнулась.

— Значит, пока мне можно жить без опаски?

Не замечая насмешки, Наталья подошла к Аксинье, тронула ее за рукав.

— Аксинья! Всю жизню ты мне поперек стоишь, но зараз уж я просить не буду, как тогда, помнишь? Тогда я помоложе была, поглупее, думала — упрошу ее, она пожалеет, смилуется и откажется от Гриши. Зараз не буду! Одно я знаю: не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ль ты его когда-нибудь так, как я? Должно быть, нет. Ты с Листницким путалась, с кем ты, гулящая, не путалась? Когда любят — так не делают.

Аксинья побледнела,— отстранив Наталью рукой, встала с сундука.

— Он меня этим не попрекал, а ты попрекаешь? Какое тебе дело до этого? Ладно! Я — плохая, ты — хорошая, дальше что?

— Это все. Не серчай. Зараз уйду. Спасибо, что открыла правду.

— Не стоит, не благодари, и без меня узнала бы. Погоди трошки, я выйду с тобой ставни закрыть.— На крыльце Аксинья приостановилась, сказала: — Я рада, что мы с тобой по-доброму расстаемся, без драки, но напоследок я так тебе скажу, любезная соседушка: в силах ты будешь — возьмешь его, а нет — не обижайся. Добром я от него тоже не откажусь. Года мои не молоденькие, и я, хоть ты и назвала меня гулящей,— не ваша Дашка, такими делами я сроду не шутковала... У тебя хоть дети есть, а он у меня,— голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже,— один на всем белом свете! Первый и последний. Знаешь что? Давай об нем больше не гутарить. Жив будет он, оборонит его от смерти царица небесная, вернется — сам выберет...

Ночь Наталья не спала, а наутро вместе с Ильиничной ушла полоть бахчу. В работе ей было легче. Она меньше думала, равномерно опуская мотыгу на высушенные солнцем, рассыпающиеся в прах комки песчаного суглинка, изредка выпрямляясь, чтобы отдохнуть, вытереть пот с лица и напиться.

По синему небу плыли и таяли изорванные ветром белые облака. Солнечные лучи палили раскаленную землю. С востока находил дождь. Не поднимая головы, Наталья спиной чувствовала, когда набежавшая тучка заслоняла солнце; на миг становилось прохладнее, на бурую, дышащую жаром землю, на разветвленные арбузные плети, на высокие стебли подсолнуха стремительно ложилась серая

тень. Она покрывала раскинутые по косогору бахчи, разомлевшие и полегшие от зноя травы, кусты боярышника и терна с понурой, испачканной птичьим пометом листвой. Звонче звенел надсадный перепелиный крик, отчетливей слышалось милое пение жаворонков, и даже ветер, шевеливший теплые травы, казался менее горячим. А потом солнце наискось пронизывало ослепительно белую кайму уплывавшей на запад тучки и, освободившись, снова низвергало на землю золотые, сияющие потоки света. Где-то далеко-далеко, по голубым отрогам Обдонских гор еще шарила и пятнила землю провожающая тучку тень, а на бахчах уже властвовал янтарно-желтый полдень, дрожало, переливалось на горизонте текучее марево, удушливее пахла земля и вскормленные ею травы.

В полдень Наталья сходила к вырытому в яру колодцу, принесла кувшин ледяной родниковой воды. Они с Ильиничной напились, помыли руки, сели на солнцепеке обедать. Ильинична на разостланной завеске аккуратно порезала хлеб, достала из сумки ложки, чашку, из-под кофты вынула спрятанный от солнца узкогорлый кувшин с кислым молоком.

Наталья ела неохотно, и свекровь спросила:

— Давно примечаю за тобой, что-то ты не такая стала... Аль уж с Гришкой что у вас получилось?

У Натальи жалко задрожали обветренные губы.

— Он, маманя, опять с Аксиньей живет.

— Это... откуда же известно?

— Я вчера у Аксиньи была.

— И она, подлюка, призналась?

— Да.

Ильинична помолчала, раздумывая. На морщинистом лице ее в углах губ легли строгие складки.

— Может, она похваляется, проклятая?

— Нет, маманя, это верно, чего уж там...

— Не доглядела ты за ним...— осторожно сказала старуха.— С такого муженька глаз не надо сводить.

— Да разве углядишь? Я на его совесть полагалась... Неужели надо было его к юбке моей привязывать? — Наталья горько улыбнулась, чуть слышно добавила: — Он не Мишатка, чтобы его сдержать. Наполовину седой стал, а старое не забывает...

Ильинична вымыла и вытерла ложки, ополоснула чашку, прибрала посуду в сумку и только тогда спросила:

— Это вся и беда?

— Какая вы, маманя... И этой беды хватит, чтобы белый свет стал немил!

— И чего ж ты надумала?

— Чего ж окромя надумаешь? Заберу детей и уйду к своим. Больше жить с ним не буду. Нехай берет ее в дом, живет с ней. Помучилась я и так достаточно.

— Смолоду и я так думала,— со вздохом сказала Ильинична.— Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что́ я горюшка от него приняла, и сказать нельзя. Только уйтить от родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинь умом — сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не велю!

— Нет, маманя, жить я с ним не буду, и слов не теряйте.

— Как это мне слов не терять? — возмутилась Ильинична.— Да ты мне что — не родная, что ли? Жалко мне вас, проклятых, или нет? И ты мне, матери, старухе, такие слова говоришь? Сказано тебе: выкинь из головы, стало быть — и все тут. Ишь выдумала: «Уйду из дому!» А куда прийдешь? А кому ты из своих нужна? Отца нету, курень сожгли, мать сама под чужим плетнем Христа ради будет жить, и ты туда воткнешься и внуков моих за собой потянешь? Нет, милая, не будет твоего дела! Приедет Гришка, тогда поглядим, что с ним делать, а зараз ты мне и не толкуй об этом, не велю и слухать не буду!

Все, что так долго копилось у Натальи на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке рыданий. Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую, неласковую землю и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слез.

Ильинична — эта мудрая и мужественная старуха — и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с остатками молока, поставила его в холодок, потом налила в чашку воды, подошла и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь; знала и то, что лучше — слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Дав Наталье выплакаться, Ильинична положила свою загрубелую от работы руку на голову снохи,— гладя черные глянцевитые волосы, сурово сказала:

— Ну, хватит! Всех слез не вычерпаешь, оставь и для другого раза. На-ка вот, попей воды.

Наталья утихла. Лишь изредка поднимались ее плечи да по телу пробегала мелкая дрожь. Неожиданно она вскочила, оттолкнула Ильиничну, протягивавшую ей чашку с водой, и, повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, скороговоркой, захлебываясь, прокричала:

— Господи! Всю душеньку мою он вымотал! Нету больше силы так жить! Господи, накажи его, проклятого! Срази его там насмерть! Чтобы больше не жил он, не мучил меня!..

Черная клубящаяся туча ползла с востока. Глухо грохотал гром. Пронизывая круглые облачные вершины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая молния. Ветер клонил на запад ропщущие травы, нес со шляха горькую пыль, почти до самой земли пригибал отягощенные семечками шляпки подсолнухов.

Ветер трепал раскосмаченные волосы Натальи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног широкий подол серой будничной юбки.

Несколько секунд Ильинична с суеверным ужасом смотрела на сноху. На фоне вставшей вполнеба черной грозовой тучи она казалась ей незнакомой и страшной.

Стремительно находил дождь. Предгрозовая тишина стояла недолго. Тревожно заверещал косо снижавшийся копчик, в последний раз свистнул возле норы суслик, густой ветер ударил в лицо Ильиничны мелкой песчаной пылью, с воем полетел по степи. Старуха с трудом поднялась на ноги. Лицо ее было смертельно бледно, когда она сквозь гул подступившей бури глухо крикнула:

— Опамятуйся! Бог с тобой! Кому ты смерти просишь?!

— Господи, покарай его! Господи, накажи! — выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико громоздились тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний.

Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье, схватила ее за плечо.

— Становись на колени! Слышишь, Наташка?!

Наталья глянула на свекровь какими-то незрячими глазами, безвольно опустилась на колени.

— Проси у бога прощения! — властно приказала Ильинична.— Проси, чтобы не принял твою молитву. Кому ты

смерти просила? Родному отцу своих детей. Ох, великий грех... Крестись! Кланяйся в землю. Говори: «Господи, прости мне, окаянной, мое прегрешение».

Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок.

* * *

Омытая ливнем степь дивно зеленела. От дальнего пруда до самого Дона перекинулась горбатая яркая радуга. Глухо погромыхивал на западе гром. В яру с орлиным клекотом мчалась мутная нагорная вода. Вниз, к Дону, по косогору, по бахчам стремились вспенившиеся ручьи. Они несли порезанные дождем листья, вымытые из почвы корневища трав, сломленные ржаные колосья. По бахчам, заваливая арбузные и дынные плети, расползались жирные песчаные наносы; вдоль по летникам, глубоко промывая колеи, стекала взыгравшая вода. У отножины дальнего буерака догорал подожженный молнией стог сена. Высоко поднимался лиловый столб дыма, почти касаясь верхушкой распростертой по небу радуги.

Ильинична и Наталья спускались к хутору, осторожно ступая босыми ногами по грязной, скользкой дороге, высоко подобрав юбки. Ильинична говорила:

— Норов у вас, у молодых, велик, истинный бог! Чуть чего — вы и беситесь. Пожила бы так, как я смолоду жила, что бы ты тогда делала? Тебя Гришка за всю жизню пальцем не тронул, и то ты недовольная, вон какую чуду сотворила: и бросать-то его собралась, и омороком тебя шибало, и чего ты только не делала, бога и то в ваши поганые дела путала... Ну, скажи, болезная, и это — хорошо? А меня идол мой хромоногий смолоду до смерти убивал, да ни за что, ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. Сам паскудничал, а на мне зло срывал. Прийдет, бывало, на заре, закричу горькими слезьми, попрекну его, ну он и даст кулакам волю... По месяцу вся синяя, как железо, ходила, а ить выжила же и детей воскормила и из дому ни разу не счиналась уходить. Я не охваливаю Гришку, но с таким ишо можно жить. Кабы не эта змея — был бы он из хуторных казаков первым. Приворожила она его, не иначе.

Наталья долго шла, молча что-то обдумывая, потом сказала:

— Маманя, я об этом больше не хочу гутарить. Григорий приедет, там видно будет, куда мне деваться... Может, сама уйду, а может, и он выгонит, а зараз я из вашего дома никуда не тронусь.

— Вот так бы и давно сказала! — обрадовалась Ильинична.— Бог даст, все уладится. Он ни за что тебя не выгонит, и не думай об этом! Так он любит и тебя и детишков, да чтобы помыслил такое? Нет-нет! Не променяет он тебя на Аксинью, не могет он такое сделать! Ну, а промеж своих мало ли чего не бывает? Лишь бы живой он возвернулся...

— Смерти я ему не хочу... Сгоряча я там все говорила... Вы меня не попрекайте за это... Из сердца его не вынешь, но и так жить тяжелехонько!..

— Милушка моя, родимая! Да разве ж я не знаю? Только с размаху ничего не надо делать. Верное слово, бросим об этом гутарить! И ты старику, ради Христа, зараз ничего не говори. Не его это дело.

— Я вам хочу про одно сказать... Буду я с Григорием жить или нет, пока неизвестно, но родить от него больше не хочу. Ишо с этими не видно, куда прийдется деваться... А я беременная зараз, маманя...

— И давно?

— Третий месяц.

— Куда ж от этого денешься? Хочешь не хочешь, а родить придется.

— Не буду,— решительно сказала Наталья.— Нынче же пойду к бабке Капитоновне. Она меня от этого ослобонит... Кое-кому из баб она делала.

— Это — плод травить? И поворачивается у тебя язык, у бессовестной? — Возмущенная Ильинична остановилась среди дороги, всплеснула руками. Она еще что-то хотела сказать, но сзади послышалось тарахтенье колес, звучное чмоканье конских копыт по грязи и — чей-то понукающий голос.

Ильинична и Наталья сошли с дороги, на ходу опуская подоткнутые юбки. Ехавший с поля старик Бесхлебнов Филипп Аггеевич поравнялся с ними, придержал резвую кобылку.

— Садитесь, бабы, подвезу, чего зря грязь месить.

— Вот спасибо, Агевич, а то мы уж уморились осклизаться,— довольно проговорила Ильинична и первая села на просторные дроги.

* * *

После обеда Ильинична хотела поговорить с Натальей, доказать ей, что нет нужды избавляться от беременности; моя посуду, она мысленно подыскивала, по ее мнению, наиболее убедительные доводы, думала даже о том, чтобы о решении Натальи поставить в известность старика и при его помощи отговорить от неразумного поступка взбесившуюся с горя сноху, но, пока она управлялась с делами, Наталья тихонько собралась и ушла.

— Где Наталья? — спросила Ильинична у Дуняшки.

— Собрала какой-то узелок и ушла.

— Куда? Чего она говорила? Какой узелок?

— Да почем я знаю, маманя? Положила в платок чистую юбку, ишо что-то и пошла, ничего не сказала.

— Головушка горькая! — Ильинична, к удивлению Дуняшки, беспомощно заплакала, села на лавку.

— Вы чего, маманя? Господь с вами, чего вы плачете?

— Отвяжись, настырная! Не твое дело! Чего она говорила-то? И чего же ты мне не сказала, как она собиралась?

Дуняшка с досадою ответила:

— Чистая беда с вами! Да откуда же я знала, что мне надо было вам об этом говорить? Не навовсе же она ушла? Должно быть, к матери в гости направилась, и чего вы плачете — в ум не возьму!

С величайшей тревогой Ильинична ждала возвращения Натальи. Старику решила не говорить, боясь попреков и нареканий.

На закате солнца со степи пришел табун. Спустились куцые летние сумерки. По хутору зажглись редкие огни, а Натальи все не было. В мелеховском курене сели вечерять. Побледневшая от волнения Ильинична подала на стол лапшу, сдобренную поджаренным на постном масле луком. Старик взял ложку, смел в нее крошки черствого хлеба, ссыпал их в забородатевший рот и, рассеянно оглядев сидевших за столом, спросил:

— Наталья где? Чего к столу не кличете?

— Ее нету,— вполголоса отозвалась Ильинична.

— Где ж она?

— Должно, к матери пошла и загостевалась.

— Долго она гостюет. Пора бы порядок знать...— недовольно бормотнул Пантелей Прокофьевич.

Он ел, как всегда, старательно, истово; изредка клал на стол вверх донышком ложку, косым любующимся взглядом

окидывал сидевшего рядом с ним Мишатку, грубовато говорил: «Повернись, чадунюшка мой, трошки, дай-ка я тебе губы вытру. Мать у вас — поблуда, а за вами и догляду нет...» И большой заскорузлой и черной ладонью вытирал нежные розовые губенки внука.

Молча довечеряли, встали из-за стола. Пантелей Прокофьевич приказал:

— Тушите огонь. Гасу мало, и нечего зря переводить.

— Двери запирать? — спросила Ильинична.

— Запирай.

— А Наталья?

— Явится — постучит. Может, она до утра будет шляться? Тоже моду взяла... Ты бы ей побольше молчала, старая ведьма! Ишь надумала по ночам в гости ходить... Вот я ей утром выкажу. С Дашки придмер взяла...

Ильинична легла, не раздеваясь. С полчаса пролежала, молча ворочаясь, вздыхая, и только что хотела встать и идти к Капитоновне, как под окном послышались чьи-то неуверенные, шаркающие шаги. Старуха вскочила с несвойственной ее летам живостью, торопливо выбежала в сенцы, открыла дверь.

Бледная как смерть Наталья, хватаясь за перильце, тяжело всходила по крыльцу. Полный месяц ярко освещал ее осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза, страдальчески изогнутые брови. Она шла покачиваясь, как тяжело раненный зверь, и там, где ступала ее нога,— оставалось темное кровяное пятно.

Ильинична молча обняла ее, ввела в сенцы. Наталья прислонилась спиной к двери, хрипло прошептала:

— Наши спят? Маманя, затрите за мной кровь... Видите — наследила я...

— Что же ты с собой наделала?! — давясь рыданиями, вполголоса воскликнула Ильинична.

Наталья попробовала улыбнуться, но вместо улыбки жалкая гримаса исказила ее лицо.

— Не шумите, маманя... А то наших побудите... Вот я и ослобонилась. Теперь у меня душа спокойная... Только уж дюже кровь... Как из резаной, из меня хлыщет... Дайте мне руку, маманя... Голова у меня кружится.

Ильинична заперла на засов дверь, словно в незнакомом доме долго шарила дрожащей рукою и никак не могла найти впотемках дверную ручку. Ступая на цыпочках, она провела Наталью в большую горницу; разбудила и выслала Дуняшку, позвала Дарью, зажгла лампу.

Дверь в кухню была открыта, и оттуда слышался размеренный могучий храп Пантелея Прокофьевича; во сне сладко чмокала губами и что-то лепетала маленькая Полюшка. Крепок детский, ничем не тревожимый сон!

Пока Ильинична взбивала подушку, готовя постель,— Наталья присела на лавку, обессиленно положила голову на край стола. Дуняшка хотела было войти в горницу, но Ильинична сурово сказала:

— Уйди, бессовестная, и не показывайся сюда! Не дело тебе тут натираться.

Нахмуренная Дарья взяла мокрую тряпку, ушла в сени. Наталья с трудом подняла голову, сказала:

— Сымите с кровати чистую одежу... Постелите мне дерюжку... Все одно измажу...

— Молчи! — приказала Ильинична.— Раздевайся, ложись. Плохо тебе? Может, воды принесть?

— Ослабла я... Принесите мне чистую рубаху и воды.

Наталья с усилием встала, неверными шагами подошла к кровати. Тут только Ильинична заметила, что юбка Натальи, напитанная кровью, тяжело обвисает, липнет к ногам. Она с ужасом смотрела, как Наталья, будто побывав под дождем, нагнулась, выжала подол, начала раздеваться.

— Да ты же кровью изошла! — всхлипнула Ильинична.

Наталья раздевалась, закрыв глаза, дыша порывисто и часто. Ильинична глянула на нее и решительно направилась в кухню. С трудом она растолкала Пантелея Прокофьевича, сказала:

— Наталья захворала... Дюже плохая, как бы не померла... Зараз же запрягай и езжай в станицу за фершалом.

— Выдумаешь чертовщину! С чего ей поделалось? Захворала? Поменьше бы по ночам таскалась...

Старуха коротко объяснила, в чем дело. Взбешенный Пантелей Прокофьевич вскочил,— на ходу застегивая шаровары, пошел в горницу.

— Ах, паскудница! Ах, сукина дочь! Чего удумала, а?! Неволя ее заставила!.. Вот я ей зараз пропесочу!..

— Одурел, проклятый?! Куда ты лезешь?.. Не ходи туда, ей не до тебя!.. Детей побудишь! Ступай на баз да скорее запрягай!..— Ильинична хотела удержать старика, но тот, не слушая, подошел к двери в горницу, пинком распахнул ее.

— Наработала, чертова дочь! — заорал он, став на пороге.

— Нельзя! Батя, не входи! Ради Христа, не входи! — пронзительно вскрикнула Наталья, прижимая к груди снятую рубаху.

Чертыхаясь, Пантелей Прокофьевич начал разыскивать зипун, фуражку, упряжь. Он так долго мешкал, что Дуняшка не вытерпела — ворвалась в кухню и со слезами напустилась на отца:

— Езжай скорее! Чего ты роешься, как жук в навозе?! Наташка помирает, а он битый час собирается! Тоже! Отец, называется! А не хочешь ехать — так и скажи! Сама запрягу и поеду!

— Тю, сдурела! Что ты, с привязу сорвалась? Тебя ишо не слыхали, короста липучая! Тоже, на отца шумит, пакость! — Пантелей Прокофьевич замахнулся на девку зипуном и, вполголоса бормоча проклятия, вышел на баз.

После его отъезда в доме все почувствовали себя свободнее. Дарья замывала полы, ожесточенно передвигая стулья и лавки, Дуняшка, которой после отъезда старика Ильинична разрешила войти в горницу, сидела у изголовья Натальи, поправляла подушку, подавала воду; Ильинична изредка наведывалась к спавшим в боковушке детям и, возвратясь в горницу, подолгу смотрела на Наталью, подперев щеку ладонью, горестно качая головой.

Наталья лежала молча, перекатывая по подушке голову с растрепанными, мокрыми от пота прядями волос. Она истекала кровью. Через каждые полчаса Ильинична бережно приподнимала ее, вытаскивала мокрую, как хлющ, подстилку, стлала новую.

С каждым часом Наталья все больше и больше слабела. За полночь она открыла глаза, спросила:

— Скоро зачнет светать?

— Что не видно,— успокоила ее старуха, а про себя подумала: «Значит, не выживет! Боится, что обеспамятеет и не увидит детей...»

Словно в подтверждение ее догадки, Наталья тихо попросила:

— Маманя, разбудите Мишатку с Полюшкой...

— Что ты, милушка! К чему их середь ночи будить? Они напужаются, глядючи на тебя, крик подымут... К чему их будить-то?

— Хочу поглядеть на них... Мне плохо.

— Господь с тобой, чего ты гутаришь? Вот зараз отец привезет фершала, и он тебе пособит. Ты бы уснула, болезная, а?

— Какой мне сон! — с легкой досадой в голосе ответила Наталья. И после этого надолго умолкла, дышать стала ровнее.

Ильинична потихоньку вышла на крыльцо, дала волю слезам. С опухшим красным лицом она вернулась в горницу, когда на востоке чуть забелел рассвет. На скрип двери Наталья открыла глаза, еще раз спросила:

— Скоро рассвенет?

— Рассветает.

— Укройте мне ноги шубой...

Дуняшка набросила ей на ноги овчинную шубу, поправила с боков теплое одеяло. Наталья поблагодарила взглядом, потом подозвала Ильиничну, сказала:

— Сядьте возле меня, маманя, а ты, Дуняшка, и ты, Дарья, выйдете на-час, я хочу с одной маманей погутарить... Ушли они? — спросила Наталья, не открывая глаз.

— Ушли.

— Батя не приехал ишо?

— Скоро приедет. Тебе хужеет, что ли?

— Нет, все одно... Вот что я хотела сказать... Я, маманя, помру вскорости... Чует мое сердце. Сколько из меня крови вышло — страсть! Вы скажите Дашке, чтобы она, как затопит печь, поставила воды побольше... Вы сами обмойте меня, не хочу, чтобы чужие...

— Наталья! Окстись, лапушка моя! Чего ты об смерти заговорила! Бог милостив, очунéешься.

Слабым движением руки Наталья попросила свекровь замолчать, сказала:

— Вы меня не перебивайте... Мне уж и гутарить тяжело, а я хочу сказать... Опять у меня голова кружится... Я вам про воду сказала? А я, значит, сильная... Капитоновна мне давно это сделала, с обеда, как только пришла... Она, бедная, сама напужалась... Ой, много крови из меня вышло... Лишь бы до утра дожить... Воды побольше нагрейте... Хочу чистой быть, как помру... Маманя, вы меня оденьте в зеленую юбку, в энту, какая с прошивкой на оборке... Гриша любил, как я ее надевала... И в поплиновую кофточку... она в сундуке сверху, в правом углу, под шалькой лежит... А ребят пущай уведут, как я кончусь, к нашим... Вы бы послали за матерью, нехай прийдет зараз... Мне уж надо прощаться... Примите из-под меня. Мокрое все...

Ильинична, поддерживая Наталью под спину, вытащила подстилку, кое-как подсунула новую. Наталья успела шепнуть:

— На бок меня... поверните! — И тотчас потеряла сознание.

В окна глянул голубой рассвет. Дуняшка вымыла цибарку, пошла на баз доить коров. Ильинична распахнула окно — и в горницу, напитанную тяжким духом свежей крови, запахом сгоревшего керосина, хлынул бодрящий, свежий и резкий холодок летнего утра. На подоконник с вишневых листьев ветер отряхнул слезинки росы; послышались ранние голоса птиц, мычание коров, густые отрывистые хлопки пастушьего арапника.

Наталья пришла в себя, открыла глаза, кончиком языка облизала сухие, обескровленные, желтые губы, попросила пить. Она уже не спрашивала ни о детях, ни о матери. Все отходило от нее — и, как видно, навсегда...

Ильинична закрыла окно, подошла к кровати. Как страшно переменилась Наталья за одну ночь! Сутки назад была она, как молодая яблоня в цвету,— красивая, здоровая, сильная, а сейчас щеки ее выглядели белее мела с Обдонской горы, нос заострился, губы утратили недавнюю яркую свежесть, стали тоньше и, казалось, с трудом прикрывали раздвинутые подковки зубов. Одни глаза Натальи сохранили прежний блеск, но выражение их было уже иное. Что-то новое, незнакомое и пугающее, проскальзывало во взгляде Натальи, когда она изредка, повинуясь какой-то необъяснимой потребности, приподнимала синеватые веки и обводила глазами горницу, на секунду останавливая их на Ильиничне...

На восходе солнца приехал Пантелей Прокофьевич. Заспанный фельдшер, усталый от бессонных ночей и бесконечной возни с тифозными и ранеными, потягиваясь, вылез из тарантаса, взял с сиденья сверток, пошел в дом. Он снял на крыльце брезентовый дождевик,— перегнувшись через перила, долго мылил волосатые руки, исподлобья посматривал на Дуняшку, лившую ему в пригоршню воду из кувшина, и даже раза два подмигнул ей. Потом вошел в горницу и минут десять пробыл около Натальи, предварительно выслав всех из комнаты.

Пантелей Прокофьевич и Ильинична сидели в кухне.

— Ну, что? — шепотом справился старик, как только они вышли из горницы.

— Плохая...

— Это она самовольно?

— Сама надумала...— уклонилась Ильинична от прямого ответа.

— Горячей воды быстро! — приказал фельдшер, высунув в дверь взлохмаченную голову.

Пока кипятили воду, фельдшер вышел в кухню. На немой вопрос старика безнадежно махнул рукою.

— К обеду отойдет. Страшная потеря крови. Ничего нельзя сделать! Григория Пантелеевича не известили?

Пантелей Прокофьевич, не отвечая, торопливо захромал в сенцы. Дарья видела, как старик, зайдя под навесом сарая за косилку и припав головой к прикладку прошлогодних кизяков, плакал навзрыд...

Фельдшер пробыл еще с полчаса, посидел на крыльце, подремал под лучами восходящего солнца, потом, когда вскипел самовар, снова пошел в горницу, впрыснул Наталье камфоры, вышел и попросил молока. С трудом подавляя зевоту, выпил два стакана, сказал:

— Вы меня отвезите сейчас. У меня в станице больные и раненые, да и быть мне тут не к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душою послужил Григорию Пантелеевичу, но говорю честно: помочь не могу. Наше дело маленькое — мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделали, что ей и жить не с чем... Матка изорвана, прямо-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишешь!

Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье:

— Ты отвезешь. Не забудь кобылу напоить, как спустишься к Дону.

Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика:

— Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, и говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними! Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего! Кабы я ее, сноху вашу, на ноги поднял — тогда другое дело.

Утром, часов около шести, Наталья почувствовала себя значительно лучше. Она попросила умыться, причесала волосы перед зеркалом, которое держала Дуняшка, и, оглядывая родных как-то по-новому сияющими глазами, с трудом улыбнулась:

— Ну, теперь я пошла на поправку! А я уж испужалась... Думала — все мне, концы... Да что это ребята так долго спят? Поди глянь, Дуняшка, не проснулись они?

Пришла Лукинична с Грипашкой. Старуха заплакала, глянув на дочь, но Наталья взволнованно и часто заговорила:

— Чего вы, маманя, плачете? Не такая уж я плохая... Вы меня не хоронить же пришли? Ну, на самом деле, чего вы плачете?

Грипашка незаметно толкнула мать, и та, догадавшись, проворно вытерла глаза, успокаивающе сказала:

— Что ты, дочушка, это я так, сдуру слезу сронила. Сердце защемило, как глянула на тебя... Уж дюже ты переменилась...

Легкий румянец заиграл на щеках Натальи, когда она услышала Мишаткин голос и смех Полюшки.

— Кличьте их сюда! Кличьте скорее!..— просила она.— Нехай они потом оденутся!..

Полюшка вошла первая, на пороге остановилась, кулачком протирая заспанные глаза.

— Захворала твоя маманька...— с улыбкой проговорила Наталья.— Подойди ко мне, жаль моя!

Полюшка с удивлением рассматривала чинно сидевших на лавках взрослых,— подойдя к матери, огорченно спросила:

— Чего ты меня не разбудила? И чего они все собрались?

— Они пришли меня проведать... А тебя я к чему же будила бы?

— Я б тебе воды принесла, посидела бы возле тебя...

— Ну, ступай, умойся, причешись, помолись богу, а потом прийдешь, посидишь со мной.

— А завтракать ты встанешь?

— Не знаю. Должно быть, нет.

— Ну тогда я тебе сюда принесу, ладно, маманюшка?

— Истый батя, только сердцем не в него, помягче...— со слабой улыбкой сказала Наталья, откинув голову и зябко натягивая на ноги одеяло.

Через час Наталье стало хуже. Она поманила пальцем к себе детей, обняла их, перекрестила, поцеловала и попросила мать, чтобы та увела их к себе. Лукинична поручила отвести ребятишек Грипашке, сама осталась около дочери.

Наталья закрыла глаза, сказала, как бы в забытьи:

— Так я его и не увижу...— Потом, словно что-то вспомнив, резко приподнялась на кровати.— Верните Мишатку!

Заплаканная Грипашка втолкнула мальчика в горницу, сама осталась в кухне, чуть слышно причитая.

Угрюмоватый, с неласковым мелеховским взглядом Мишатка несмело подошел к кровати. Резкая перемена, происшедшая с лицом матери, делала мать почти назнакомой, чужой. Наталья притянула сынишку к себе, почувствовала, как быстро, будто у пойманного воробья, колотится маленькое Мишаткино сердце.

— Нагнись ко мне, сынок! Ближе! — попросила Наталья.

Она что-то зашептала Мишатке на ухо, потом отстранила его, пытливо посмотрела в глаза, сжала задрожавшие губы и, с усилием улыбнувшись жалкой, вымученной улыбкой, спросила:

— Не забудешь? Скажешь?

— Не забуду...— Мишатка схватил указательный палец матери, стиснул его в горячем кулачке, с минуту подержал и выпустил. От кровати пошел он, почему-то ступая на цыпочках, балансируя руками...

Наталья до дверей проводила его взглядом и молча повернулась к стене.

В полдень она умерла.

XVII

Многое передумал и вспомнил Григорий за двое суток пути от фронта до родного хутора... Чтобы не оставаться в степи одному со своим горем, с неотступными мыслями о Наталье, он взял с собою Прохора Зыкова. Как только выехали с места стоянки сотни, Григорий завел разговор о войне, вспомнил, как служил в 12-м полку на австрийском фронте, как ходил в Румынию, как бились с немцами. Говорил он без умолку, вспоминал всякие потешные истории, происходившие с их однополчанами, смеялся...

Простоватый Прохор вначале недоуменно косился на Григория, дивясь его необычайной разговорчивости, а потом все же догадался, что Григорий воспоминаниями о давнишних днях хочет отвлечь себя от тяжелых думок,— и стал поддерживать разговор и, быть может, даже с излишним старанием. Со всеми подробностями рассказывая о том, как пришлось ему когда-то лежать в черниговском госпитале, Прохор случайно взглянул на Григория, увидел, как по смуглым щекам его обильно текут слезы... Из скром-

ности Прохор приотстал на несколько саженей, с полчаса ехал позади, а потом снова поравнялся, попробовал было заговорить о чем-то постороннем, пустяковом по значимости, но Григорий в разговор не вступил. Так они до полудня и рысили, молча, рядом, стремя к стремени.

Григорий спешил отчаянно. Несмотря на жару, он пускал своего коня то крупной рысью, то намётом и лишь изредка переводил его на шаг. Только в полдень, когда отвесно падающие лучи солнца начали палить нестерпимо, Григорий остановился в балке, расседлал коня, пустил его на попас, а сам ушел в холодок, лег ничком — и так лежал до тех пор, пока не спала жара. Раз они покормили лошадей овсом, но положенного на выкормку времени Григорий не соблюдал. Даже их — привычные к большим пробегам — лошади к концу первых суток резко исхудали, шли уже не с той неутомимой резвостью, как вначале. «Этак нехитро и погубить коней. Кто так ездит? Ему хорошо, черту, он своего загонит и в любой момент себе другого под седло достанет, а я откуда возьму? Доскачется, дьявол, что придется до самого Татарского из такой дали пеши пороть либо на обывательских тянуться!» — раздраженно думал Прохор.

На утро следующего дня возле одного из хуторов Федосеевской станицы он не стерпел, сказал, обращаясь к Григорию:

— Скажи как ты хозяином сроду не был... Ну, кто так, без роздыху, и день и ночь скачет? Ты глянь, как кони перепали. Давай хоть на вечерней зорьке накормим их как полагается.

— Езжай, не отставай,— рассеянно ответил Григорий.

— Я за тобой не угонюсь, мой уже пристает. Может, отдохнем?

Григорий промолчал. С полчаса они рысили, не обменявшись ни словом, потом Прохор решительно заявил:

— Давай же дадим им хоть трошки сапнуть! Я дальше так не поеду! Слышишь?

— Толкай, толкай!

— До каких же пор толкать? Пока копыта откинет?

— Не разговаривай!

— Помилосердствуй, Григорий Пантелевич! Я не хочу своего коня обдирать, а дело идет к этому...

— Ну, становись, черт с тобой! Приглядывай, где трава получше.

* * *

Телеграмма, блуждавшая в поисках Григория по станицам Хоперского округа, пришла слишком поздно... Григорий приехал домой на третий день после того, как похоронили Наталью. У калитки он спешился, на ходу обнял выбежавшую из дома всхлипывающую Дуняшку, нахмурясь попросил:

— Вы́води коня хорошенько... Да не реви! — И повернулся к Прохору: — Езжай домой. Понадобишься — скажу тогда.

Ильинична, держа за руки Мишатку и Полюшку, вышла на крыльцо встречать сына.

Григорий схватил в охапку детишек, дрогнувшим голосом сказал:

— Только не кричать! Только без слез! Милые мои! Стало быть, осиротели? Ну-ну... Ну-ну... Подвела нас мамка...

А сам, с величайшим усилием удерживая рыдания, вошел в дом, поздоровался с отцом.

— Не уберегли...— сказал Пантелей Прокофьевич и тотчас же захромал в сенцы.

Ильинична увела Григория в горницу, долго рассказывала про Наталью. Старуха не хотела было говорить всего, но Григорий спросил:

— Почему она надумалась не родить, ты знаешь?

— Знаю.

— Ну?

— Она перед этим ходила к твоей, к этой... Аксинья ей и рассказала про все...

— Ага... так? — Григорий густо побагровел, опустил глаза.

Из горницы он вышел постаревший и бледный; беззвучно шевеля синеватыми, дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени, потом достал из подсумка серый от пыли кусок сахара, расколол его на ладони ножом, виновато улыбнулся:

— Вот и весь гостинец вам... Вот какой у вас отец... Ну, бежите на баз, зовите деда.

— На могилку пойдешь? — спросила Ильинична.

— Как-нибудь потом... Мертвые не обижаются... Как Мишатка, Полюшка? Ничего?

— В первый день дюже кричали, особливо Полюшка... Зараз — как уговорились, и не вспоминают об ней при нас,

а нынче ночью слыхала — Мишатка кричал потихоньку... залез под подушку головой, чтобы его не слыхать было... Я подошла, спрашиваю: «Ты чего, родненький? Может, со мной ляжешь?» А он и говорит: «Ничего, бабуня, это я, должно быть, во сне...» Погутарь с ними, пожалей их... Вчерась утром слухаю, гутарют в сенцах промеж собой. Полюшка и говорит: «Она вернется к нам. Она — молодая, а молодые нявовсе не умирают». Глупые ишо, а сердчишки-то болят, как у больших... Ты голодный небось? Сем-ка я соберу тебе перекусить чего-нибудь, чего ж молчишь?

Григорий вошел в горницу. Будто впервые попал сюда, он внимательно оглядел стены, остановил взгляд на прибранной, со взбитыми подушками кровати. На ней умерла Наталья, оттуда в последний раз звучал ее голос... Григорий представил, как Наталья прощалась с ребятишками, как она их целовала и, быть может, крестила, и снова, как тогда, когда читал телеграмму о ее смерти, ощутил острую, колющую боль в сердце, глухой звон в ушах.

Каждая мелочь в доме напоминала о Наталье. Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. Григорий зачем-то обошел все комнаты и торопливо вышел, почти выбежал на крыльцо. Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал: «Видно, укатали сивку крутые горки...»

Дуняшка вываживала по двору коня. Около амбара конь, сопротивляясь поводу, остановился, понюхал землю,— вытянув шею и подняв верхнюю губу, ощерил желтые плиты зубов, потом фыркнул и неловко стал подгибать передние ноги. Дуняшка потянула за повод, но конь, не слушаясь, стал ложиться.

— Не давай ложиться! — крикнул из конюшни Пантелей Прокофьевич.— Не видишь — он оседланный! Почему не расседлала, чертова дуреха?!

Неторопливо, все еще прислушиваясь к тому, что делалось у него в груди, Григорий подошел к коню, снял седло,— пересилив себя, улыбнулся Дуняшке:

— Пошумливает отец?

— Как и всегда,— ответно улыбнулась Дуняшка.

— Поводи ишо трошки, сестра.

— Он уж высох, ну да ладно, повожу.

— Поваляться дай ему, не препятствуй.

— Ну-ну, братушка... Горюешь?

— А ты думала — как? — задыхаясь, ответил Григорий.

Движимая чувством сострадания, Дуняшка поцеловала его в плечо и, отчего-то смутившись до слез, быстро отвернулась, повела коня к скотиньему базу.

Григорий пошел к отцу. Тот старательно выгребал навоз из конюшни.

— Твоему служивскому помещение готовлю.

— Чего же не сказал? Я бы сам вычистил.

— Выдумал тоже! Что я, аль немощный? Я, брат, как кремневое ружье. Мне износу не будет! Ишо прыгаю помаленьку. Завтра вот думаю жита́ ехать косить. Ты надолго прибег?

— На месяц.

— Вот это хорошо! Поедем-ка на́ поля? В работе оно тебе легше будет...

— Я уж и сам подумал об этом.

Старик бросил вилы, рукавом вытер пот с лица, с сокровенными нотками в голосе сказал:

— Пойдем в курень, пообедаешь. От него, от этого горя, никуда не скроешься... Не набегаешься и не схоронишься. Должно быть, так...

Ильинична собрала на стол, подала чистый рушник. И опять Григорий подумал: «Бывало, Наталья угощала...» Чтобы не выдать волнения, он проворно стал есть. С чувством признательности он взглянул на отца, когда тот принес из кладовой заткнутый пучком сена кувшин с самогоном.

— Помянем покойницу, царство ей небесное,— твердо проговорил Пантелей Прокофьевич.

Они выпили по стакану. Старик немедля налил еще, вздохнул:

— За один год двоих у нас в семье не стало... Прилюбила смерть наш курень.

— Давай об этом не гутарить, батя! — попросил Григорий.

Он выпил второй стакан залпом, долго жевал кусок вяленой рыбы, все ждал, когда хмель ударит в голову, заглушит неотвязные мысли.

— Жита́ нонешний год хороши! А наш посев от других прямо отменитый! — хвастливо сказал Пантелей Прокофьевич. И в этой хвастливости, в тоне, каким было сказано, уловил Григорий что-то наигранное, нарочитое.

— А пшеница?

— Пшеница? Трошки прихваченная, а так — ничего, пудов на тридцать пять, на сорок. Гарновка — ох да и хороша ж вышла у людей, а нам, как на грех, не пришлось ее посеять. Но я дюже не жалкую! В такую разруху куда его, хлеб, девать? К Парамонову не повезешь, а в закромах не удержишь. Как пододвинется фронт — товарищи все выметут, как вылижут. Но ты не думай, у нас и без нынешнего урожая года на два хлеба хватит. У нас, слава богу, и в закромах его по ноздри, да ишо кое-где есть...— Старик лукаво подмигнул, сказал: — Спроси у Дашки, сколько мы его прихоронили про черный день! Яму в твой рост да в полтора маховых ширины — доверху набухали! Нас эта проклятая жизня трошки прибеднила, а то ить мы тоже хозяевами были...— Старик пьяно засмеялся своей шутке, но спустя немного с достоинством расправил бороду и уже деловито и серьезно сказал: — Может, ты об теще чего думаешь, так я тебе скажу так: ее я не забыл и нужде ихней помог. Не успела она как-то и словом заикнуться, а я на другой день воз хлеба, не мерямши, насыпал и отвез. Покойница Наталья была дюже довольная, аж слезьми ее прошибло, как узнала про это... Давай, сынок, по третьей дернем? Только у меня и радости осталось, что ты!

— Что ж, давай,— согласился Григорий, подставляя стакан.

В это время к столу несмело, бочком подошел Мишатка. Он вскарабкался к отцу на колени и, неловко обнимая его за шею левой рукой, крепко поцеловал в губы.

— Ты чего это, сынок? — растроганно спросил Григорий, заглядывая в затуманенные слезами детские глаза, сдерживаясь, чтобы не дохнуть в лицо сынишки самогонной вонью.

Мишатка негромко ответил:

— Маманька, когда лежала в горнице... когда она ишо живая была, подозвала меня и велела сказать тебе так: «Придет отец — поцелуй его за меня и скажи ему, чтобы он жалел вас». Она ишо что-то говорила, да я позабыл...

Григорий поставил стакан, отвернулся к окну. В комнате долго стояла тягостная тишина.

— Выпьем? — негромко спросил Пантелей Прокофьевич.

— Не хочу,— Григорий ссадил с колен сынишку, встал, поспешно направился в сенцы.

— Погоди, сынок, а — мясо? У нас — курица вареная,

блинцы! — Ильинична метнулась к печке, но Григорий уже хлопнул дверью.

Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотиний баз, конюшню; глядя на коня, подумал: «Надо бы искупать его», потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. «Гроб Наталье отец делал»,— решил Григорий. И торопливо зашагал к крыльцу.

Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял бочонок с водой; вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.

XVIII

Григорий страдал не только потому, что по-своему он любил Наталью и свыкся с ней за шесть лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя виновным в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла детей и ушла жить к матери; если бы она умерла там, ожесточенная в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испытывал бы тяжесть утраты, и уж, наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно. Но со слов Ильиничны он знал, что Наталья простила ему все, что она любила его и вспоминала о нем до последней минуты. Это увеличивало его страдания, отягчало совесть немолкнущим укором, заставляло по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем...

Было время, когда Григорий ничего не питал к жене, кроме холодного безразличия и даже неприязни, но за последние годы он стал иначе относиться к ней, и основной причиной перемены, происшедшей в его отношении к Наталье, были дети.

Вначале и к ним Григорий не испытывал того глубокого отцовского чувства, которое возникло в нем за последнее время. На короткий срок приезжая с фронта домой, он пестовал и ласкал их как бы по обязанности и чтобы сделать приятное матери, сам же не только не ощущал в этом какой-то потребности, но не мог без недоверчивого удивления смотреть на Наталью, на бурные проявления ее материнских чувств. Он не понимал, как можно было так самозабвенно любить эти крохотные крикливые существа, и не

раз по ночам с досадой и насмешкой говорил жене, когда она еще кормила детей грудью: «Чего ты вскакиваешь, как бешеная? Не успеет крикнуть, а ты уж на ногах. Ну, нехай надуется, покричит, небось золотая слеза не выскочит!» Дети относились к нему с не меньшим равнодушием, но по мере того как они росли — росла и их привязанность к отцу. Детская любовь взбудила и у Григория ответное чувство, и это чувство, как огонек, перебросилось на Наталью.

После разрыва с Аксиньей Григорий никогда не думал всерьез о том, чтобы разойтись с женой; никогда, даже вновь сойдясь с Аксиньей, он не думал, чтобы она когда-нибудь заменила мать его детям. Он не прочь был жить с ними с обеими, любя каждую из них по-разному, но, потеряв жену, вдруг почувствовал и к Аксинье какую-то отчужденность, потом глухую злобу за то, что она выдала их отношения и — тем самым — толкнула Наталью на смерть.

Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе,— в мыслях он неизбежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобогрейки, и все же вспоминал Наталью; память настойчиво воскрешала давно минувшее, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, разговоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, манеру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса...

На третий день начали косить ячмень. Григорий как-то среди дня, когда Пантелей Прокофьевич остановил лошадей, слез с заднего стульца косилки, положил на полок короткие вилы, сказал:

— Хочу, батя, поехать домой на-час.

— Зачем?

— Что-то соскучился по ребятишкам...

— Что ж, поезжай,— охотно согласился старик.— А мы тем временем будем копнить.

Григорий тотчас же выпряг из косилки своего коня, сел на него и шагом поехал по желтой щетинистой стерне к шляху. «Скажи ему, чтобы жалел вас!» — звучал в ушах его Натальин голос. Григорий закрывал глаза, бросал поводья и, погруженный в воспоминания, предоставлял коню идти бездорожно.

В густо-синем небе почти недвижно стояли раски-

данные ветром редкие облака. По стерне враскачку ходили грачи. Они семьями сидели на копнах; старые из клюва в клюв кормили молодых, только недавно оперившихся и еще неуверенно поднимавшихся на крыло. Над скошенными десятинами стон стоял от грачиного крика.

Конь Григория норовил идти по обочине дороги, изредка на ходу срывал ветку донника, жевал ее, гремя удилами. Раза два он останавливался, ржал, завидев вдали лошадей, и тогда Григорий, очнувшись, понукал его, невидящим взором оглядывал степь, пыльную дорогу, желтую россыпь копен, зеленовато-бурые делянки вызревающего проса.

Как только Григорий приехал домой — явился Христоня, мрачный с виду и одетый, несмотря на жару, в суконный английский френч и широкие бриджи. Он пришел, опираясь на огромную свежеоструганную ясеневую палку, поздоровался.

— Проведать пришел. Прослыхал про ваше горе. Похоронили, стал быть, Наталью Мироновну?

— Ты каким путем с фронта? — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони.

— После ранения на поправку пустили. Скобленули меня поперек пуза доразу две пули. И до се там, возле кишок, сидят, застряли, стал быть, проклятые. Через это я и при костыле нахожусь. Видишь?

— Где же это тебя попортили?

— Под Балашово́м.

— Взяли его? Как же тебя зацепило?

— В атаку шли. Балашов, стал быть, забрали и Поворино. Я забирал.

— Ну, расскажи, с кем ты, в какой части, кто с тобой из хуторных! Присаживайся, вот табак.

Григорий обрадовался новому человеку, возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний. Христоня проявил некоторую сообразительность, догадавшись, что в его сочувствии Григорий не нуждается, и стал охотно, но медлительно рассказывать о взятии Балашова, о своем ранении. Дымя огромной цигаркой, он густо басил:

— Шли в пешем строю по подсолнухам. Они били, стал быть, из пулеметов и из орудий, ну и из винтовок, само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей, как ни пригинался, а все меня видно, ну

они, пули-то, меня и нашли. Да ить это хорошо, что я ростом вышел, а будь пониже — аккурат в голову бы угодили! Были они, стал быть, на излете, но вдарили так, что ажник в животе у меня все забурчало, и каждая горячая, черт, как, скажи, из печки вылетела... Лапнул рукой по этому месту, чую — во мне они сидят, катаются под кожей, как жировики, на четверть одна от другой. Ну, я их помял пальцами и упал, стал быть. Думаю: шутки дурные, к едреной матери с такими шутками! Лучше уж лежать, а то другая прилетит, какая порезвей, и наскрозь пронижет. Ну, и лежу, стал быть. Нет-нет, да и потрогаю их, пули-то. Они всё там, одна вблизи другой. Ну, я и испужался, думаю: что — как они, подлюки, в живот провалются, тогда что? Будут там промеж кишков кататься, как их доктора разыщут? Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое, пробредут пульки-то до главной кишки — и ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение получится. Лежу, шляпку подсолнуха открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взяли этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой, стал быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал: «Давай пули вырежем?» А я сам себе на уме... Спросил: «Могут они, ваше благородие, в нутро провалиться?» — «Нет, говорит, не могут». Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать! Знаю я эти шутки! Вырежут, не успеет рубец затянуться — и опять иди в часть. «Нет, говорю, ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой повесть, жене показать, а они мне не препятствуют, не велика тяжесть». Обругал он меня, а на побывку пустил, на неделю.

Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитростное повествование, спросил:

— Ты куда попал, в какой полк?

— В Четвертый сводный.

— Кто из хуторных с тобой?

— Наших там много: Аникушка-Скопец, Бесхлебнов, Коловейдин Аким, Мирошников Семка, Горбачев Тихон.

— Ну, как казачки́? Не жалуются?

— Обижаются на офицерьев, стал быть. Таких сволочей понасажали, житья нету. И почти все — русские, казаков нету.

Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассмат-

ривал и гладил на коленях добротное ворсистое сукно английских штанов.

— А ботинок, стал быть, на мою ногу не нашлось,— раздумчиво говорил он.— В английской державе, под ихними людьми, таких ядреных ног нету... Мы же пашаницу сеем и едим, а там, небось, как и в России, на одном жите сидят. Откель же им такие ноги иметь? Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали, а всё одно — плохо...

— Что плохо? — поинтересовался Григорий.

Христоня улыбнулся, сказал:

— Снаружи хорошо, в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стал быть, ничего из этой войны не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут...

Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Поживу с неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь». До вечера он был дома. Вспомнил детство и смастерил Мишатке ветряную мельницу из камышинок, ссучил из конского волоса силки для ловли воробьев, дочери искусно сделал крохотную коляску с вращающимися колесами и причудливо изукрашенным дышлом, пробовал даже свернуть из лоскутков куклу, но тут у него ничего не вышло; кукла была сделана при помощи Дуняшки.

Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале отнеслись к его затеям с недоверием, но потом уже ни на минуту не отходили от него, и под вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Мишатка, сдерживая слезы, заявил:

— Ты сроду такой! Приедешь на-час и опять нас бросаешь... Забери с собой и осилки, и мельницу, и трещотку, все забери! Мне не нужно!

Григорий взял в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал:

— Ежели так — давай решим, ты — казак, вот и поедем со мной на́ поля: будем ячмень косить, копнить, на косилке будешь с дедом сидеть, коней будешь погонять. Сколько там кузнецов в траве! Сколько разных птах в буераке! А Полюшка останется с бабкой домоседовать. Она на нас в обиде не будет. Ее, девичье, дело — полы подметать, воду бабке носить из Дону в маленькой ведрушонке, да и мало ли у них всяких бабьих делов? Согласный?

— А то нет! — с восторгом воскликнул Мишатка. У него даже глаза заблестели от предвкушаемого удовольствия.

Ильинична было воспротивилась:

— Куда ты его повезешь? Выдумываешь, чума его знает что! А спать где он будет? И кто за ним там будет наглядывать? Упаси бог, либо к лошадям подойдет — вдарят, либо змея укусит. Не ездий с отцом, милушка, оставайся дома! — обратилась она к внуку.

Но у того вдруг зловеще вспыхнули сузившиеся глаза (точь-в-точь как у деда Пантелея, когда он приходил в ярость), сжались кулачки, и высоким, плачущим голосом он крикнул:

— Бабка, молчи!.. Все одно поеду! Батянюшка, родненький, не слухай ее!..

Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать:

— Спать он будет со мной. Отсюдова поедем шагом, не уроню же я его? Готовь ему, мамаша, одежу и не боись — сохраню в целости, а завтра к ночи привезу.

Так началась дружба между Григорием и Мишаткой.

За две недели, проведенные в Татарском, Григорий только три раза, и то мельком, видел Аксинью. Она, с присущим ей умом и тактом, избегала встреч, понимая, что лучше ей не попадаться Григорию на глаза. Женским чутьем она распознала его настроение, сообразила, что всякое неосторожное и несвоевременное проявление ее чувств к нему может вооружить его против нее, кинуть какое-то пятно на их взаимоотношения. Она ждала, когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал с поля с возом хлеба, припозднился, в сумерках около крайнего к степи проулка встретил Аксинью. Она издали поклонилась, чуть приметно улыбнулась. Улыбка ее была выжидающей и тревожной. Григорий ответил на поклон, но разминуться молча не смог.

— Как живешь? — спросил он, незаметно натягивая вожжи, умеряя легкий шаг лошадей.

— Ничего, спасибо, Григорий Пантелеевич.

— Что это тебя не видно?

— Ná полях была... Бьюсь одна с хозяйством.

Вместе с Григорием на возу сидел Мишатка. Может быть, поэтому Григорий не остановил лошадей, не стал больше занимать Аксинью разговором. Он отъехал несколько саженей, обернулся, услышав оклик. Аксинья стояла около плетня.

— Долго пробудешь в хуторе? — спросила она, взволнованно ощипывая лепестки сорванной ромашки.

— Днями уеду.

По тому, как Аксинья на секунду замялась,— было видно, что она хотела еще что-то спросить. Но почему-то не спросила, махнула рукой и торопливо пошла на выгон, ни разу не оглянувшись.

XIX

Небо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный, дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна блестели.

Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им трое конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая. Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканый зипун, издали узнал Григория, громко сказал спутникам: «А ить это Мелехов, братушки!» — и, поравнявшись, придержал рослого гнедого коня.

— Здорово живешь, Григорий Пантелевич! — приветствовал он Григория.

— Здравствуй! — ответил Григорий, тщетно пытаясь вспомнить, где он встречался с этим рыжебородым, мрачным на вид казаком.

Его, как видно, недавно произвели в подхорунжии, и он, чтобы не сойти за простого казака,— нашил новенькие погоны прямо на зипун.

— Не угадаешь? — спросил он, подъезжая вплотную, протягивая широкую, покрытую огненно-красными волосами руку, крепко дыша запахом водочного перегара. Тупое самодовольство сияло на лице новоиспеченного подхорунжего, крохотные голубые глазки его искрились, под рыжими усами губы расползались в улыбку.

Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория. Не скрывая насмешки, он ответил:

— Не угадаю. Видать, я встречался с тобой, когда ты был ишо рядовым... Тебя недавно произвели в подхорунжии?

— В самый раз попал! С неделю как произвели. А встречались мы с тобой у Кудинова в штабе, кажись — под благовещение. Ты меня тогда из одной беды выручил, вспомни-ка! Эй, Трифон! Езжайте помаленьку, я дого-

ню! — крикнул бородач приостановившимся неподалеку казакам.

Григорий с трудом припомнил, при каких обстоятельствах виделся с рыжим подхорунжим, вспомнил и кличку его: «Семак», и отзыв о нем Кудинова: «Стреляет, проклятый, без промаху! Зайцев на бегу из винтовки бьет, и в бою лихой, и разведчик хороший, а умом — малое дите». Семак, в восстание командуя сотней, совершил какой-то проступок, за который Кудинов хотел с ним расправиться, но Григорий вступился, и Семак был помилован и оставлен на должности командира сотни.

— С фронта? — спросил Григорий.

— Так точно, в отпуск еду из-под Новохоперска. Чудок, верст полтораста, кругу дал, заезжал в Слащевскую, там у меня — сродствие. Я добро помню, Григорий Пантелевич! Не откажи в милости, хочу угостить тебя, а? Везу в сумах две бутылки чистого спирту, давай их зараз разопьем?

Григорий отказался наотрез, но бутылку спирта, предложенную в подарок, взял.

— Что там было! Казачки́ и офицеры огрузились добром! — хвастливо рассказывал Семак.— Я и в Балашове побывал. Взяли мы его и кинулись перво-наперво к железной дороге, там полно стояло составов, все путя были забитые. В одном вагоне — сахар, в другом — обмундирование, в третьем — разное имущество. Иные из казаков по сорок комплектов одежи взяли! А потом, как пошли жидов тресть,— смех! Из моей полусотни один ловкач по жидам восемнадцать штук карманных часов насобирал, из них десять золотых; навешал, сукин кот, на грудях, ну прямо самый что ни на есть богатейший купец! А перстней и колец у него оказалось — не счесть! На каждом пальце по два да по три...

Григорий указал на раздутые переметные сумки Семака, спросил:

— А у тебя что это?

— Так... Разная разность.

— Тоже награбил?

— Ну, ты уж скажешь — награбил... Не награбил, а добыл по закону. Наш командир полка так сказал: «Возьмете город — на двое суток он в вашем распоряжении!» Что же я — хуже других? Брал казенное, что под руку попадалось... Другие хуже делали.

— Хороши вояки! — Григорий с отвращением оглядел добычливого подхорунжего, сказал: — С такими подобны-

ми, как ты, на большой дороге, под мостами сидеть, а не воевать! Грабиловку из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое рукомесло приобрели! А ты думаешь, за это когда-нибудь не спустят шкуры и с вас и с вашего полковника?

— За что же это?

— За это самое!

— Кто же это могет спустить?

— Кто чином повыше.

Семак насмешливо улыбнулся, сказал:

— Да они сами такие-то! Мы хучь в сумах везем да на повозках, а они цельными обозами отправляют.

— А ты видал?

— Скажешь тоже — видал! Сам сопровождал такой обоз до Ярыженской. Одной серебряной посуды, чашков, ложков был полный воз! Кое-какие из офицерьев налётывали: «Чего везете? А ну, показывай!» Как скажу, что это личное имущество генерала такого-то, так и отъедут ни с чем.

— Чей же это генерал? — щурясь и нервно перебирая поводья, спросил Григорий.

Семак хитро улыбнулся, ответил:

— Позабыл его фамилию... Чей же он, дай бог памяти? Нет, замстило, не вспомню! Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелевич. Истинная правда, все так делают! Я ишо промежду других, как ягнок супротив волка; я легочко брал, а другие телешили людей прямо середь улицы, жидовок сильничали прямо напропалую! Я этими делами не занимался, у меня своя законная баба есть, да какая баба-то: прямо жеребец, а не баба! Нет-нет, это ты зря на меня сердце поимел. Погоди, куда же ты?

Григорий кивком головы холодно попрощался с Семаком, сказал Прохору:

— Трогай за мной! — и пустил коня рысью.

По пути все чаще попадались одиночки и группами ехавшие в отпуск казаки. Нередко встречались пароконные подводы. Груз на них был прикрыт брезентами или ряднами, заботливо увязан. Позади подвод, привстав на стременах, рысили казаки, одетые в новенькие летние гимнастерки, в красноармейские, защитного цвета, штаны. Запыленные, загорелые лица казаков были оживленны, веселы, но, встречаясь с Григорием, служивые старались поскорее разминуться, проезжали молча, как по команде поднося руки к козырькам фуражек, и заговаривали снова между собой, лишь отъехав на почтительное расстояние.

— Купцы едут! — насмешливо говорил Прохор, издали увидав конных, сопровождавших подводу с награбленным имуществом.

Впрочем, не все ехали на побывку обремененные добычей. На одном из хуторов, остановившись возле колодца, чтобы напоить коней, Григорий услышал доносившуюся из соседнего двора песню. Пели, судя по ребячески чистым, хорошим голосам, молодые казаки.

— Служивого, должно, провожают,— сказал Прохор, зачерпывая ведром воды.

После выпитой накануне бутылки спирта он не прочь был похмелиться, поэтому, поспешно напоив коней, посмеиваясь, предложил:

— А что, Пантелевич, не пойтить ли нам туда? Может, на проводах и нам перепадет по стремянной? Курень, хотя и камышом крытый, но, видно, богатый.

Григорий согласился пойти взглянуть, как провожают «кугаря». Привязав коней к плетню, они с Прохором вошли во двор. Под навесом сарая у круглых яслей стояли четыре оседланные лошади. Из амбара вышел подросток с железной мерой, доверху насыпанной овсом. Он мельком взглянул на Григория, пошел к заржавшим лошадям. За углом куреня разливалась песня. Дрожавший высокий тенорок выводил:

Как по той-то было по дороженьке
Никто пеш не хаживал...

Густой прокуренный бас, повторив последние слова, сомкнулся с тенором, потом вступили новые слаженные голоса, и песня потекла величаво, раздольно и грустно. Григорию не захотелось своим появлением прерывать песенников; он тронул Прохора за рукав, шепнул:

— Погоди, не показывайся, нехай доиграют.

— Это — не проводы. Еланские так играют. Это они та́к запесначивают. А здорово, черти, тянут! — одобрительно отозвался Прохор и огорченно сплюнул: расчет на то, чтобы выпить, судя по всему, не оправдался.

Ласковый тенорок до конца рассказал в песне про участь оплошавшего на войне казака:

Ни пешего, ни конного следа допрежь не было,
Проходил по дороженьке казачий полк.
За полком-то бежит душа добрый конь.
Он черкесское седельце на боку несет.
А тесмяная уздечка на правом ухе висит,
Шелковы поводьица ноги путают.

За ним гонит млад донской казак,
Он кричит-то своему коню верному:
«Ты постой, погоди, душа верный конь,
Не покинь ты меня одинокого,
Без тебя не уйтить от чеченцев злых...»

Очарованный пением, Григорий стоял, привалившись спиной к беленому фундаменту куреня, не слыша ни конского ржанья, ни скрипа проезжавшей по проулку арбы...

За углом кто-то из песенников, кончив песню, кашлянул, сказал:

— Не так играли, как оторвали! Ну, да ладно, как умеем, так могем. А вы бы, бабушки, служивым на дорогу ишо чего-нибудь дали. Поели мы хорошо, спаси Христос, да вот на дорогу у нас с собой никаких харчишек нету...

Григорий очнулся от раздумья, вышел из-за угла. На нижней ступеньке крыльца сидели четверо молодых казаков; окружив их плотной толпой, стояли набежавшие из соседних дворов бабы, старухи, детишки. Слушательницы, всхлипывая и сморкаясь, вытирали слезы кончиками платков, одна из старух — высокая и черноглазая, со следами строгой иконописной красоты на увядшем лице — протяжно говорила, когда Григорий подходил к крыльцу:

— Милые вы мои! До чего же вы хорошо да жалостно поете! И небось у каждого из вас мать есть, и небось как вспомнит про сына, что он на войне гибнет, так слезами и обольется...— Блеснув на поздоровавшегося Григория желтыми белками, она вдруг злобно сказала: — И таких цветков ты, ваше благородие, на смерть водишь? На войне губишь?

— Нас самих, бабушка, губят,— хмуро ответил Григорий.

Казаки, смущенные приходом незнакомого офицера, проворно поднялись, отодвигая ногами стоявшие на ступеньках тарелки с остатками пищи, оправляя гимнастерки, винтовочные погоны, портупеи. Они пели, даже винтовок не скинув с плеч. Самому старшему из них на вид было не больше двадцати пяти лет.

— Откуда? — спросил Григорий, оглядывая молодые, свежие лица служивых.

— Из части...— нерешительно ответил один из них, курносый со смешливыми глазами.

— Я спрашиваю — откуда родом, какой станицы? Не здешние?

— Еланские, едем в отпуск, ваше благородие.

По голосу Григорий узнал запевалу, улыбаясь, спросил.

— Ты заводил?

— Я.

— Ну, хорош у тебя голосок! А по какому же случаю вы распелись? С радости, что ли? По вас не видно, чтобы были подпитые.

Высокий русый парень с лихо зачесанным, седым от пыли чубом, с густым румянцем на смуглых щеках, косясь на старух, смущенно улыбаясь, нехотя ответил:

— Какая там радость... Нужда за нас поет! Так, за здорово живешь, в этих краях не дюже кормют, дадут кусок хлеба — и все. Вот мы и приловчились песни играть. Как заиграем, понабегут бабы слухать; мы какую-нибудь жалостную заведем, ну, они растрогаются и несут — какая кусок сала, какая корчажку молока или ишо чего из едового...

— Мы вроде попов, господин сотник, поем и пожертвования собираем! — сказал запевала, подмигивая товарищам, прижмуряя в улыбке смешливые глаза.

Один из казаков вытащил из грудного кармана засаленную бумажку, протянул ее Григорию.

— Вот наше отпускное свидетельство.

— Зачем оно мне?

— Может, сумлеваетесь, а мы не дезертиры...

— Это ты будешь показывать, когда с карательным отрядом повстречаетесь,— с досадой сказал Григорий, но перед тем как уйти, посоветовал все же: — Езжайте ночами, а днем можно перестоять где-нибудь. Бумажка ваша ненадежная, как бы вы с ней не попались... Без печати она?

— У нас в сотне печати нету.

— Ну, так ежли не хотите калмыкам под шомпола ложиться — послухайтесь моего совета!

Верстах в трех от хутора, не доезжая саженей полтораста до небольшого леса, подступившего к самой дороге, Григорий снова увидел двух конных, ехавших ему навстречу. Они на минуту остановились, вглядываясь, а потом круто свернули в лес.

— Эти без бумажки едут,— рассудил Прохор.— Видал, как они крутнули в лес? И черти их несут днем!

Еще несколько человек, завидев Григория и Прохора, сворачивали с дороги, спешили скрыться. Один пожилой пехотинец-казак, тайком пробиравшийся домой, юркнул в подсолнухи, затаился, как заяц на меже. Проезжая мимо него, Прохор поднялся на стременах, крикнул:

— Эй, земляк, плохо хоронишься! Голову схоронил, а ж... видно! — И с деланной свирепостью вдруг гаркнул: - А ну, вылазь! Показывай документы!

Когда казак вскочил и, пригибаясь, побежал по подсолнухам, Прохор захохотал во все горло, тронул было коня, чтобы скакать вдогонку, но Григорий остановил его:

— Не дури! Ну его к черту, он и так будет бечь, пока запалится. Как раз ишо помрет со страху...

— Что ты! Его и с борзыми не догонишь! Он зараз верст на десять намётом пойдет. Видал, как он маханул по подсолнухам! Откуда при таких случаях и резвость у человека берется, даже удивительно мне.

Неодобрительно отзываясь вообще о дезертирах, Прохор говорил:

— Едут-то как, прямо ва́лками. Как, скажи, их из мешка вытряхнули! Гляди, Пантелевич, как бы вскорости нам с тобой двоим не пришлось фронт держать...

Чем ближе подъезжал Григорий к фронту, тем шире открывалась перед его глазами отвратительная картина разложения Донской армии,— разложения, начавшегося как раз в тот момент, когда, пополненная повстанцами, армия достигла на Северном фронте наибольших успехов. Части ее уже в это время были не только не способны перейти в решительное наступление и сломить сопротивление противника, но и сами не смогли бы выдержать серьезного натиска.

В станицах и селах, где располагались ближние резервы, офицеры беспросыпно пьянствовали; обозы всех разрядов ломились от награбленного и еще не переправленного в тыл имущества; в частях оставалось не больше шестидесяти процентов состава; в отпуска казаки уходили самовольно, и составленные из калмыков рыскавшие по степям карательные отряды не в силах были сдержать волну массового дезертирства. В занятых селах Саратовской губернии казаки держали себя завоевателями на чужой территории: грабили население, насиловали женщин, уничтожали хлебные запасы, резали скот. В армию шли пополнения из зеленой молодежи и стариков пятидесятилетнего возраста. В маршевых сотнях открыто говорили о нежелании воевать, а в частях, которые перебрасывались на воронежское направление, казаки оказывали прямое неповиновение офицерам. По слухам, участились случаи убийства офицеров на передовых позициях.

Неподалеку от Балашова уже в сумерках Григорий

остановился в одной небольшой деревушке на ночевку. 4-я отдельная запасная сотня из казаков старших призывных возрастов и саперная рота Таганрогского полка заняли в деревушке все жилые помещения. Григорию пришлось долго искать места для ночлега. Можно было бы переночевать в поле, как они обычно делали, но к ночи находил дождь, да и Прохор трясся в очередном припадке малярии; требовалось провести ночь где-нибудь под кровлей. На выезде из деревни, около большого обсаженного тополями дома стоял испорченный снарядом бронеавтомобиль. Проезжая мимо, Григорий прочитал незакрашенную надпись на его зеленой стенке: «Смерть белой сволочи!», и — ниже: «Свирепый». Во дворе у коновязи фыркали лошади, слышались людские голоса; за домом в саду горел костер, над зелеными вершинами деревьев стлался дым: освещенные огнем, около костра двигались фигуры казаков. Ветер нес от костра запах горящей соломы и паленой свиной щетины.

Григорий спешился, пошел в дом.

— Кто тут хозяин? — спросил он, войдя в низкую, полную людьми комнату.

Я. А вам чего? — Невысокий мужик, прислонившийся к печи, не меняя положения, оглянулся на Григория.

— Разрешите у вас заночевать? Нас двое.

— Нас тут и так, как семечек в арбузе,— недовольно буркнул лежавший на лавке пожилой казак.

- Я бы ничего, да больно густо у нас народу,— как бы оправдываясь, заговорил хозяин.

- Как-нибудь поместимся. Не под дождем же нам ночевать? — настаивал Григорий.— У меня ординарец больной.

Лежавший на лавке казак крякнул, спустил ноги и, всмотревшись в Григория, уже другим тоном сказал:

— Нас, ваше благородие, вместе с хозяевами четырнадцать душ в двух комнатушках, а третью занимает английский офицер с двоими своими денщиками, да окромя ишо один наш офицер с ними.

Может, у них как устроитесь? — доброжелательно сказал второй казак с густою проседью в бороде, с погонами старшего урядника.

— Нет, я уж лучше тут. Мне места немного надо, на полу лягу, я вас не потесню.— Григорий снял шинель, ладонью пригладил волосы, сел к столу.

Прохор вышел к лошадям.

В соседней комнате, вероятно, слышали разговор. Минут пять спустя вошел маленький щеголевато одетый поручик.

— Вы ищете ночлега? — обратился он к Григорию и, мельком глянув на его погоны, с любезной улыбкой предложил: — Переходите к нам, в нашу половину, сотник. Я и лейтенант английской армии господин Кэмпбелл просим вас, там вам будет удобнее. Моя фамилия — Щеглов. Ваша? — он пожал руку Григория, спросил: — Вы с фронта? Ах, из отпуска! Пойдемте, пойдемте! Мы рады будем оказать вам гостеприимство. Вы, вероятно, голодны, а у нас есть чем угостить.

У поручика на френче из превосходного светло-зеленого сукна болтался офицерский Георгий, пробор на небольшой голове был безукоризнен, сапоги тщательно начищены, от матово-смуглого выбритого лица, от всей его статной фигуры веяло чистотой и устойчивым запахом какого-то цветочного одеколона. В сенях он предупредительно пропустил вперед Григория, сказал:

— Дверь налево. Осторожнее, здесь ящик, не стукнитесь.

Навстречу Григорию поднялся молодой рослый и плотный лейтенант, с пушистыми черными усиками, прикрывавшими наискось рассеченную верхнюю губу, и близко поставленными серыми глазами. Поручик представил ему Григория, что-то сказал по-английски. Лейтенант потряс руку гостя и, глядя то на него, то на поручика, сказал несколько фраз, жестом пригласил сесть.

Посреди комнаты стояли в ряд четыре походные кровати, в углу громоздились какие-то ящики, дорожные мешки, кожаные чемоданы. На сундуке лежали: ручной пулемет незнакомый Григорию системы, чехол от бинокля, патронные цинки, карабин с темной ложей и новеньким, непотертым тускло-сизым стволом.

Лейтенант что-то говорил приятным глухим баском, дружелюбно поглядывая на Григория. Григорий не понимал чужой, странно звучавшей для его уха речи,— но, догадываясь, что говорят о нем, испытывал состояние некоторой неловкости. Поручик рылся в одном из чемоданов, улыбаясь слушал, потом сказал:

— Мистер Кэмпбелл говорит, что очень уважает казаков, что, по его мнению, они отличные кавалеристы и воины. Вы, вероятно, хотите есть? Вы пьете? Он говорит, что опасность сближает... Э, черт, всякую ерунду говорит! —

Поручик извлек из чемодана несколько консервных банок, две бутылки коньяку и снова нагнулся над чемоданом, продолжая переводить: — По его словам, его очень любезно принимали казачьи офицеры в Усть-Медведицкой. Они выпили там огромную бочку донского вина, все были пьяны в лоск и превесело провели время с какими-то гимназистками. Ну, уж это как водится! Он считает для себя приятной обязанностью отплатить за оказанное ему гостеприимство не меньшим гостеприимством. И вы должны будете это перенести. Мне вас жаль... Вы пьете?

— Спасибо. Пью,— сказал Григорий, украдкой рассматривая свои грязные от поводьев и дорожной пыли руки.

Поручик поставил на стол банки,— ловко вскрывая их ножом, со вздохом сказал:

— Знаете, сотник, он меня замучил, этот английский боров! Пьет с утра и до поздней ночи. Хлещет ну бесподобно! Я сам, знаете ли, не прочь выпить, но в таких гомерических размерах не могу. А этот,— поручик, улыбаясь, глянул на лейтенанта, неожиданно для Григория матерно выругался,— льет и натощак и всячески!

Лейтенант улыбался, кивал головой, ломаным русским языком говорил:

— Та, та!.. Хор'ошо... Нато вып'ит фаш здор'ов!

Григорий засмеялся, встряхнул волосами. Эти парни ему положительно нравились, а бессмысленно улыбавшийся и уморительно говоривший по-русски лейтенант был прямо великолепен.

Вытирая стаканы, поручик говорил:

— Две недели я с ним валандаюсь, это каково? Он работает в качестве инструктора по вождению танков, приданных к нашему Второму корпусу, а меня пристегнули к нему переводчиком. Я свободно говорю по-английски, это меня и погубило... У нас тоже пьют, но не так. А это — черт знает что! Увидите, на что он способен! Ему одному в сутки надо не меньше четырех-пяти бутылок коньяку. С промежутками выпивает все, а пьяным не бывает, и даже после такой порции способен работать. Он меня уморил. Желудок у меня что-то начинает побаливать, настроение все эти дни ужасное, и весь я до того проспиртовался, что теперь даже около горящей лампы боюсь сидеть... Черт знает что! — Говоря, он доверху наполнил коньяком два стакана, себе налил чуть-чуть.

Лейтенант, указывая глазами на стакан, смеясь, что-то

начал оживленно говорить. Поручик, умоляюще положив руку на сердце, отвечал ему, сдержанно улыбаясь, и лишь изредка и на миг в черных добрых глазах его вспыхивали злые огоньки. Григорий взял стакан, чокнулся с радушными хозяевами, выпил залпом.

— О! — одобрительно сказал англичанин и, отхлебнув из своего стакана, презрительно посмотрел на поручика.

Большие смуглые рабочие руки лейтенанта лежали на столе, на тыльной стороне ладоней в порах темнело машинное масло, пальцы шелушились от частого соприкосновения с бензином и пестрели застарелыми ссадинами, а лицо было холеное, упитанное, красное. Контраст между руками и лицом был так велик, что Григорию казалось иногда, будто лейтенант сидит в маске.

— Вы меня избавляете,— сказал поручик, наливая вровень с краями два стакана.

— А он один, что же, не пьет?

— В том-то и дело! С утра пьет один, а вечером не может. Ну что ж, давайте выпьем.

— Крепкая штука...— Григорий отпил немного из стакана, но под удивленным взглядом лейтенанта вылил в рот остальное.

— Он говорит, что вы молодчина. Ему нравится, как вы пьете.

— Я поменялся бы с вами должностями,— улыбаясь, сказал Григорий.

— Уверен, что после двух недель вы бы сбежали!

— От такого добра?

— Уж я-то, во всяком случае, от этого добра сбегу.

— На фронте хуже.

— Здесь тоже фронт. Там от пули или осколка можно окочуриться, и то не наверняка, а здесь белая горячка мне обеспечена. Попробуйте вот эти консервированные фрукты. Ветчины не хотите?

— Спасибо, я ем.

— Англичане — мастера на эти штуки. Они свою армию не так кормят, как мы.

— А мы разве кормим? У нас армия — на подножном корму.

— К сожалению, это верно. Однако при таком методе обслуживания бойцов далеко не уедешь, особенно если разрешить этим бойцам безнаказанно грабить население...

Григорий внимательно посмотрел на поручика, спросил:

А вы далеко собираетесь ехать?

Нам же по пути, о чем вы спрашиваете? — Поручик не заметил, как лейтенант завладел бутылкой и налил ему полный стакан.

- Теперь уж прийдется вам выпить до донышка,— улыбнулся Григорий.

- Начинается! — глянув на стакан, простонал поручик. Щеки его зацвели сплошным тонким румянцем.

Все трое молча чокнулись, выпили.

— Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному...— снова заговорил Григорий, морщась и тщетно стараясь поймать вилкой скользивший по тарелке абрикос.— Один ближе слезет, другой едет дальше, вроде как на поезде...

— Вы разве не до конечной станции собираетесь ехать?

Григорий чувствовал, что пьянеет, но хмель еще не осилил его; смеясь, он ответил:

— До конца у меня капиталу на билет не хватит. А вы?

— Ну, у меня другое положение: если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца!

— Тогда счастливого путя вам! Давайте выпьем!

— Придется. Лиха беда начало...

Лейтенант чокался с Григорием и поручиком, пил молча, почти не закусывал. Лицо его стало кирпично-красным, глаза посветлели, в движениях появилась рассчитанная медлительность. Еще не допили второй бутылки, а он уж тяжело поднялся, уверенно прошел к чемоданам, достал и принес три бутылки коньяку. Ставя их на стол, улыбнулся краешками губ, что-то пробасил.

— Мистер Кэмпбелл говорит, что надо продлить удовольствие. Черт бы его побрал, этого мистера! Вы как?

— Что ж, можно продлить,— согласился Григорий.

— Да, но каков размах! В этом английском теле — душа русского купца. Я, кажется, уже готов...

— По вас не видно,— слукавил Григорий.

— Кой черт! Я слаб сейчас, как девица... Но еще могу соответствовать, да-да, могу соответствовать и даже вполне!

Поручик после выпитого стакана заметно осовел: черные глаза его замаслились и начали слегка косить, лицевые мускулы ослабли, губы почти перестали повиноваться, и под матовыми скулами ритмически задергались живчики. Выпитый коньяк подействовал на него оглушающе. У поручика было такое выражение, как у быка, которого перед зарезом ахнули по лбу десятифунтовым молотом.

— Вы ишо в полной форме. Впились, и он вам нипо-

чем,— подтвердил Григорий. Он тоже заметно охмелел, но чувствовал, что может выпить еще много.

— Серьезно? — Поручик повеселел.— Нет, нет, я несколько раскис вначале, а сейчас — пожалуйста, сколько угодно! Именно: сколько угодно! Вы мне нравитесь, сотник. В вас чувствуется, я бы сказал, сила и искренность. Это мне нравится. Давайте выпьем за родину этого дурака и пьяницы. Он, правда, скотоподобен, но родина его хороша. «Правь, Британия, морями!» Пьем? Только не по всей! За вашу родину, мистер Кэмпбелл! — Поручик выпил, отчаянно зажмурившись — закусил ветчиной.— Какая это страна, сотник! Вы не можете себе представить, а я жил там... Ну, выпьем!

— Какая бы ни была мать, а она родней чужой.

— Не будем спорить, выпьем!

— Выпьем.

— Из нашей родины надо гниль вытравлять железом и огнем, а мы бессильны. Оказалось так, что у нас вообще нет родины. Ну и черт с ней! Кэмпбелл не верит, что мы справимся с красными.

— Не верит?

— Да, не верит. Он плохого мнения о нашей армии и с похвалой отзывается о красных.

— Он участвовал в боях?

— Еще бы! Его едва не сцапали красные. Проклятый коньяк!

— Крепок! Он такой же, как спирт?

— Немного слабее. Кэмпбелла выручила из беды кавалерия, а то бы его взяли. Это — под хутором Жуковом. Красные тогда отбили у нас один танк... Вид у вас грустный. В чем дело?

— У меня жена недавно померла.

— Это ужасно! Остались дети?

— Да.

— За здоровье ваших детей! У меня их нет, а может быть, и есть, но если и есть, то они где-нибудь, наверное, бегают продавцами газет... У Кэмпбелла в Англии — невеста. Он ей аккуратно, в неделю два раза, пишет. И пишет, наверно, всякую ерунду. Я его почти ненавижу. Что?

— Я ничего не говорю. А почему он красных уважает?

— Кто сказал — «уважает»?

— Вы сказали.

— Не может быть! Он не уважает их, не может уважать, вы ошибаетесь! А впрочем, я спрошу у него.

Кэмпбелл внимательно выслушал бледного и пьяного поручика, что-то долго говорил. Не дождавшись, Григорий спросил:

— Чего он лопочет?

— Он видел, как они в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки. Этого достаточно? Он говорит, что народ нельзя победить. Дурак! Вы ему не верьте.

— Как не верить?

— Вообще.

— Ну, как?

— Он пьян и болтает ерунду. Что значит — нельзя победить народ? Часть его можно уничтожить, остальных привести в исполнение... Как я сказал? Нет, не в исполнение, а в повиновение. Это мы кончаем какую? — Поручик уронил голову на руки, опрокинул локтем банку с консервами и минут десять сидел, навалившись на стол грудью, часто дыша.

За окнами стояла темная ночь. В ставни барабанил частый дождь. Где-то далеко погромыхивало, и Григорий не мог понять — гром это или орудийный гул. Кэмпбелл, окутанный синим облаком сигарного дыма, цедил коньяк. Григорий растолкал поручика,— нетвердо стоя на ногах, сказал:

— Слушай, спроси у него: почему это красные нас должны побить?

— К черту! — буркнул поручик.

— Нет, ты спроси.

— К черту! Пошел к черту!

— Спрашивай, тебе говорят!

Поручик с минуту ошалело смотрел на Григория, потом, заикаясь, что-то сказал внимательно выслушавшему Кэмпбеллу и снова уронил голову на сложенные ковшом ладони. Кэмпбелл с пренебрежительной улыбкой посмотрел на поручика, тронул Григория за рукав, молча начал объяснять: подвинул на середину стола абрикосовую косточку, рядом с ней, как бы сопоставляя, ребром поставил свою большую ладонь и, щелкнув языком, прикрыл ладонью косточку.

— Тоже выдумал! Это я и без тебя понимаю...— раздумчиво пробормотал Григорий. Качнувшись, он обнял гостеприимного лейтенанта, широким движением показал на стол, поклонился.— Спасибо за угощение! Прощай. И знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. Это я тебе — от чистого

сердца. Понятно? В наши дела незачем вам мешаться Понял? Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!

Лейтенант встал, поклонился, оживленно заговорил, время от времени беспомощно поглядывая на уснувшего поручика, дружелюбно похлопывая Григория по спине

Григорий с трудом нашел дверную щеколду, покачиваясь, вышел на крыльцо. Мелкий косой дождь хлестнул его по лицу. Вспышка молнии озарила широкий двор, мокрое прясло, глянцево блестящую листву деревьев в саду. Сходя с крыльца, Григорий поскользнулся, упал и, когда стал подниматься, услышал голоса:

— Офицерики-то всё пьют? спрашивал кто-то. чиркая в сенях спичкой.

Глухой, простуженный голос со сдержанной угрозой отвечал:

— Они допьются... Они до своего допьются!

XX

Донская армия, выйдя за границы Хоперского округа, вновь, как и в 1918 году, утратила наступательную силу своего движения. Казаки-повстанцы верхнего Дона и отчасти хоперцы по-прежнему не хотели воевать за пределами Донской области; усилилось и сопротивление красных частей, получивших свежие пополнения, действовавших теперь на территории, население которой относилось к ним сочувственно. Казаки снова были не прочь перейти к оборонительной войне, и никакими ухищрениями командование Донской армии не могло понудить их сражаться с таким же упорством, с каким они недавно сражались в пределах своей области,— несмотря на то что соотношение сил на этом участке было в их пользу: против потрепанной в боях 9-й Красной армии, исчислявшейся в 11 000 штыков, 5000 сабель, при 52 орудиях,— были выдвинуты казачьи корпуса общей численностью в 14 400 штыков, 10 600 сабель, при 53 орудиях.

Наиболее активные операции происходили на фланговых направлениях и именно там, где действовали части Добровольческо-Кубанской южной армии. Одновременно с успешным продвижением в глубь Украины часть Добровольческой армии под командованием генерала Врангеля оказывала сильное давление на 10-ю Красную армию. тесня ее и с ожесточенными боями продвигаясь в саратов-

ском направлении. 28 июля кубанская конница вплотную подошла к Камышину, захватив в плен бо́льшую часть войск, оборонявших его. Контратака, предпринятая частями 10-й армии, была отбита. Смело маневрировавшая Кубанско-Терская сводная конная дивизия грозила обходом левого фланга, вследствие чего командование 10-й армии отвело части на фронт Борзенково — Латышево — Красный Яр — Каменка — Банное. К этому времени 10-я армия насчитывала в своих рядах 18 000 штыков, 8000 сабель и 132 орудия; противостоявшая ей Добровольческо-Кубанская армия исчислялась в 7600 штыков, 10 750 сабель, при 68 орудиях. Кроме этого, белые имели отряды танков, а также располагали значительным числом самолетов, несших разведывательную службу и принимавших участие в боевых операциях. Но не помогли Врангелю ни французские самолеты, ни английские танки и батареи; дальше Камышина продвинуться ему не удалось. На этом участке завязались затяжные, упорные бои, обусловившие лишь незначительные изменения в линии фронта.

В конце июля началась подготовка красных армий к переходу в широкое наступление по всему центральному участку Южного фронта. С этой целью 9-я и 10-я армии объединялись в ударную группу под командованием Шорина. В резерв ударной группы должны были поступить перебрасываемые с Восточного фронта 28-я дивизия с бригадой бывшего Казанского укрепленного района и 25-я дивизия с бригадой Саратовского укрепленного района. Помимо этого командование Южным фронтом усиливало ударную группу войсками, находившимися во фронтовом резерве, и 56-й стрелковой дивизией. Нанесение вспомогательного удара намечалось на воронежском направлении силами 8-й армии с приданными ей 31-й стрелковой дивизией, снятой с Восточного фронта, и 7-й стрелковой дивизией.

Общий переход в наступление намечался между 1 и 10 августа. Удар 8-й и 9-й армий, по плану главного красного командования, должен был сопровождаться охватывающими действиями фланговых армий, причем особенно ответственная и сложная задача выпадала на долю 10-й армии, которой надлежало, действуя по левому берегу Дона, отрезать главные силы противника от Северного Кавказа. На западе частью сил 14-й армии предполагалось произвести энергичное демонстративное движение к линии Чаплино — Лозовая.

В то время когда на участках 9-й и 10-й армий производились необходимые перегруппировки, белое командование в целях срыва подготовлявшегося противником наступления заканчивало формирование мамонтовского корпуса, рассчитывая прорвать фронт и бросить корпус в глубокий рейд по тылам красных армий. Успех армии Врангеля на царицынском направлении позволил растянуть фронт этой армии влево и, сократив тем самым фронт Донской армии, взять из состава ее несколько конных дивизий. 7 августа в станице Урюпинской было сосредоточено 6000 сабель, 2800 штыков и три четырехорудийные батареи. А 10-го вновь сформированный корпус под командованием генерала Мамонтова прорвался на стыке 8-й и 9-й Красных армий и от Новохоперска направился на Тамбов.

По первоначальному замыслу белого командования предполагалось направить в рейд по красным тылам, кроме корпуса Мамонтова, еще и конный корпус генерала Коновалова, но ввиду завязавшихся боев на участке, занимаемом частями коноваловского корпуса, его не удалось вытянуть с фронта. Этим обстоятельством и объясняется ограниченность задачи, возложенной на Мамонтова, которому вменялось в обязанность не зарываться и не мечтать о походе на Москву, а, разгромив тылы и коммуникации противника, вновь идти на соединение, тогда как вначале ему и Коновалову было приказано всей конной массой нанести сокрушительный удар во фланг и тыл центральным красным армиям, а затем уже форсированным маршем двигаться в глубь России, пополняя силы за счет антисоветски настроенных слоев населения, продолжать движение до Москвы.

Восьмой армии удалось восстановить положение своего левого фланга введением в дело армейского резерва. Правый фланг 9-й армии оказался расстроенным сильнее. Принятыми мерами командующему главной группой Шорину удалось сомкнуть внутренние фланги обеих армий, но не удалось задержать конницу Мамонтова. По приказу Шорина навстречу Мамонтову из района Кирсанова была двинута резервная 56-я дивизия. Батальон ее, посаженный на подводы и высланный на станцию Сампур, был разбит во встречном бою одним из боковых отрядов мамонтовского корпуса. Такая же участь постигла и кавалерийскую бригаду 36-й стрелковой дивизии, двинутую для прикрытия участка железной дороги Тамбов — Балашов. Нарвавшись

на всю массу конницы Мамонтова, бригада после короткого боя была рассеяна.

18 августа Мамонтов с налета занял Тамбов. Но это обстоятельство не помешало основным силам ударной группы Шорина начать наступление, хотя для борьбы с Мамонтовым и пришлось выделить из состава группы почти две пехотные дивизии. Одновременно началось наступление и на украинском участке Южного фронта.

Фронт, на севере и северо-востоке почти по прямой тянувшийся от Старого Оскола до Балашова и уступом сходивший к Царицыну, стал выравниваться. Казачьи полки под давлением превосходящих сил противника отступали на юг, переходя в частые контратаки, задерживаясь на каждом рубеже. Вступив на донскую землю, они снова обрели утраченную боеспособность; дезертирство резко сократилось; из станиц среднего Дона потекли пополнения. Чем дальше части ударной группы Шорина вторгались в землю Войска Донского, тем сильнее и ожесточеннее становилось оказываемое им сопротивление. По собственному почину казаки повстанческих станиц Верхне-Донского округа объявляли на сходах поголовную мобилизацию, служили молебны и немедля отправлялись на фронт.

С непрестанными боями продвигаясь к Хопру и Дону, преодолевая ожесточенное сопротивление белых и находясь на территории, большинство населения которой относилось к красным частям явно враждебно,— группа Шорина постепенно растрачивала силу наступательного порыва. А тем временем в районе станицы Качалинской и станции Котлубань белое командование уже образовало сильную маневренную группу из трех кубанских корпусов и 6-й пехотной дивизии для удара по 10-й Красной армии, продвижение которой развивалось с наибольшим успехом.

XXI

Мелеховская семья за один год убавилась наполовину. Прав был Пантелей Прокофьевич, сказав однажды, что смерть возлюбила их курень. Не успели похоронить Наталью, как уж снова запахло ладаном и васильками в просторной мелеховской горнице. Через полторы недели после отъезда Григория на фронт утопилась в Дону Дарья.

В субботу, приехав с поля, пошла она с Дуняшкой купаться. Около огородов они разделись, долго сидели на мягкой, примятой ногами траве. Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, несколько раз украдкой плакала... Перед тем как войти в воду, Дуняшка собрала в узел волосы, повязалась косынкой и, искоса глянув на Дарью, сожалеюще сказала:

— До чего ты, Дашка, худая стала, ажник все жилки наруже!

— Скоро поправлюсь!

— Перестала голова болеть?

— Перестала. Ну, давай купаться, а то уж не рано.— Она первая с разбегу бросилась в воду, окунулась с головой и, вынырнув, отфыркиваясь, поплыла на середину Быстрое течение подхватило ее, начало сносить.

Любуясь на Дарью, отмахивающую широкими мужскими саженками, Дуняшка забрела в воду по пояс, умылась, смочила грудь и нагретые солнцем сильные, женственно-округлые руки. На соседнем огороде две снохи Обнизовых поливали капусту. Они слышали, как Дуняшка, смеясь, звала Дарью:

— Плыви назад, Дашка! А то сом тебя утянет!

Дарья повернула назад, проплыла сажени три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» — и камнем пошла ко дну.

Через четверть часа бледная Дуняшка в одной исподней юбке прибежала домой.

— Дарья утопла, маманя!..— задыхаясь, еле выговорила она.

Только на другой день утром поймали Дарью крючками нарезной снасти. Старый и самый опытный в Татарском рыбак Архип Песковатсков на заре поставил шесть концов нарезных по течению ниже того места, где утонула Дарья, проверять поехал вместе с Пантелеем Прокофьевичем. На берегу собралась толпа ребятишек и баб, среди них была и Дуняшка. Когда Архип, подцепив ручкой весла четвертый шнур, отъехал саженей десять от берега, Дуняшка отчетливо слышала, как он вполголоса сказал: «Кажись, есть...» — и стал осторожнее перебирать снасть, с видимым усилием подтягивая отвесно уходивший в глубину шнур. Потом что-то забелело у правого берега, оба старика нагнулись над водой, баркас зачерпнул краем воды, и до притихшей толпы донесся глухой стук вваленного в баркас

тела. В толпе дружно вздохнули. Кто-то из баб тихо всхлипнул. Стоявший неподалеку Христоня грубо прикрикнул на ребят: «А ну, марш отседова!» Сквозь слезы Дуняшка видела, как Архип, стоя на корме, ловко и бесшумно опуская весло, греб к берегу. С шорохом и хрустом дробя прибрежную меловую осыпь, баркас коснулся земли. Дарья лежала, безжизненно подогнув ноги, привалившись щекой к мокрому днищу. На белом теле ее, лишь слегка посиневшем, принявшем какой-то голубовато-темный оттенок, виднелись глубокие проколы — следы крючков. На сухощавой смуглой икре, чуть пониже колена, около матерчатой подвязки, которую Дарья перед купаньем, как видно, позабыла снять, розовела и слегка кровоточила свежая царапина. Жало нарезного крючка скользнуло по ноге, пробороздило кривую, рваную линию. Судорожно комкая завеску, Дуняшка первая подошла к Дарье, накрыла ее разорванным по шву мешком. Пантелей Прокофьевич с деловитой поспешностью засучив шаровары, начал подтягивать баркас. Вскоре подъехала подвода. Дарью перевезли в мелеховский курень.

Пересилив страх и чувство гадливости, Дуняшка помогала матери обмывать холодное, хранившее студеность глубинной донской струи тело покойницы. Было что-то незнакомое и строгое в слегка припухшем лице Дарьи, в тусклом блеске обесцвеченных водою глаз. В волосах ее серебром искрился речной песок, на щеках зеленели влажные нити прилипшей тины-шелковицы, а в раскинутых, безвольно свисавших с лавки руках была такая страшная успокоенность, что Дуняшка, взглянув, поспешно отходила от нее, дивясь и ужасаясь тому, как не похожа мертвая Дарья на ту, что еще так недавно шутила и смеялась и так любила жизнь. И после долго еще, вспомнив каменную холодность Дарьиных грудей и живота, упругость окостеневших членов, Дуняшка вся содрогалась и старалась поскорее забыть все это. Она боялась, что мертвая Дарья будет ей сниться по ночам, неделю спала на одной кровати с Ильиничной и, перед тем как лечь, молилась богу, мысленно просила: «Господи! Сделай так, чтобы она мне не снилась! Укрой господи!»

Если б не рассказы баб Обнизовых, слышавших, как Дарья крикнула: «Прощайте, бабоньки!» — похоронили бы утопленницу тихо и без шума, но, узнав про этот предсмертный возглас, явно указывавший на то, что Дарья намеренно лишила себя жизни, поп Виссарион решительно

заявил, что самоубийцу отпевать не будет. Пантелей Прокофьевич возмутился:

— Как это ты не будешь отпевать? Она что, нехрещеная, что ли?

— Самоубийц не могу хоронить, по закону не полагается.

— А как же ее зарывать, как собаку, по-твоему?

— А по-моему, как хочешь и где хочешь, только не на кладбище, где погребены честные христиане.

— Нет, уж ты смилуйся, пожалуйста! — перешел к уговорам Пантелей Прокофьевич.— У нас в семействе такой срамы век не было.

— Не могу. Уважаю тебя, Пантелей Прокофьевич, как примерного прихожанина, но не могу. Донесут благочинному — и беды мне не миновать,— заупрямился поп.

Это был позор. Пантелей Прокофьевич всячески пытался уговорить взноровившегося попа, обещал уплатить дороже и надежными николаевскими деньгами, предлагал в подарок овцу-переярку, но, видя под конец, что уговоры не действуют, пригрозил:

— За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не сбоку припека, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был в офицерском чине, сама она егорьевскою медалью была пожалована, а ты мне такую хреновину прешь?! Нет, батя, не выйдет твое дело, будешь хоронить за мое почтение! Нехай она пока лежит в горнице, а я зараз же сообчу об этом станишному атаману. Он с тобой погутарит!

Пантелей Прокофьевич вышел из поповского дома не попрощавшись и даже дверью вгорячах хлопнул. Однако угроза возымела действие: через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион с причтом сейчас придет.

Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работая лопатой, он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь; на вершинке его наступающая осень уже окрасила листья в желтый, горький цвет увядания. Через разломанную ограду, между могил телята пробили тропинки; около ограды проходила дорога к ветряку; посаженные заботливыми родственниками покойников деревца — клены, тополи, акация, а также дикорастущий терн — зеленели приветливо и свежо; около них буйно

кучерявилась повитель, желтела поздняя суренка, колосился овсюг и зернистый пырей. Кресты стояли, снизу доверху оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое...

Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую землю, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где нашли себе последний приют их отцы и деды...

После того как похоронили Дарью, еще тише стало в мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молотьбе, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вестей от Григория, но о нем, после отъезда его на фронт, ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала: «И поклона детишкам не пришлет, окаянный! Померла жена, и все мы стали не нужны ему...» Потом в Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой — об этом, не таясь, говорили все фронтовики: «Как станет Дон — погонят красные нас до самого моря!»

Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молотьбе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдонью слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильиничну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того ни с сего взбесившийся старик схватил топор и изрубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич ссучил дратву, начал сшивать распоровшуюся хомутину; то ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд,— этого было достаточно: страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча, словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушиному подпрыгивая, стал топтать его ногами. Иль-

инична, рано улегшаяся спать,— заслышав шум, испуганно вскочила, но, рассмотрев, в чем дело, не вытерпела, попрекнула старика:

— Очумел ты, проклятый, на старости лет?! Чем тебе хомут оказался виноватый?

Пантелей Прокофьевич обезумевшими глазами глянул на жену, заорал:

— Молчи-и-и-и, такая-сякая!!! — и, ухватив обломок хомута, запустил им в старуху.

Давясь от смеха, Дуняшка пулей вылетела в сенцы А старик, побушевав немного, угомонился, попросил прощения у жены за сказанные в сердцах крутые слова и долго кряхтел и почесывал затылок, поглядывая на обломки злополучного хомута, прикидывая в уме — на что же их можно употребить? Такие припадки ярости повторялись у него не раз, но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала другую тактику вмешательства: как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательства, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода — старуха смиренно, но достаточно громко говорила: «Бей Прокофич! Ломай! Мы ишо с тобой наживем!» И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кисет и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расходившиеся нервы, в душе проклиная свою вспыльчивость и подсчитывая понесенные убытки. Жертвой необузданного стариковского гнева пал забравшийся в палисадник трехмесячный поросенок. Ему Пантелей Прокофьевич колом переломил хребет, а через пять минут, дергая при помощи гвоздя щетину с прирезанного поросенка, виновато, заискивающе посматривал на хмурую Ильиничну, говорил:

— Он и поросенок-то был так, одно горе... Один черт он бы издох. На них аккурат в это время чума нападает; то хучь съедим, а то бы так, зря пропал. Верно, старуха? Ну чего ты как градовая туча стоишь? Да будь он трижды проклят, этот поросенок! Уж был бы поросенок, как поросенок, а то так, оморок поросячий! Его не то что колом — соплей можно было перешибить! А прокудной какой Гнездов сорок картошки перерыл!

— Ее и всей-то картошки в палисаднике было не больше тридцати гнезд,— тихо поправила его Ильинична

— Ну, а было бы сорок — он и сорок бы перепаскудил

он такой! И слава богу, что избавились от него, от враженяки! — не задумываясь, отвечал Пантелей Прокофьевич.

Детишки скучали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания, и они, предоставленные самим себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильиничны — где он был, Мишатка ответил, что играл с ребятишками возле Дона, но Полюшка тут же изобличила его:

— Брешет он, бабунюшка! Он у тетки Аксиньи был!

— А ты почем знаешь? — спросила, неприятно удивленная новостью, Ильинична.

— Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень.

— Там, что ли, был? Ну, говори же, чадушка, чего ты скраснелся?

Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил:

— Я, бабунюшка, наобманывал... Я правда не у Дона был, а у тетки Аксиньи был.

— Чего ты туда ходил?

— Она меня покликала, я и пошел.

— А на что же ты обманывал, будто с ребятами играл?

Мишатка на секунду потупился, но потом поднял правдивые глазенки, шепнул:

— Боялся, что ты ругаться будешь...

— За что же я тебя ругала бы? Не-ет... А чего она тебя зазвала? Чего ты у ней там делал?

— Ничего. Она увидала меня, шепнула: «Пойди ко мне!», я подошел, она повела меня в курень, посадила на стулу...

— Ну,— нетерпеливо выспрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее ее волнение.

—...холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего.— Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман.

— Чего ж она тебе говорила? Может, спрашивала чего?

— Говорила, чтобы я ходил ее проведывал, а то ей одной скушно, сулилась гостинец дать... Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней. А то, говорит, бабка твоя будет ругать.

— Вон как...— задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорила Ильинична.— Ну и что же она, спрашивала у тебя что?

— Спрашивала.

— Об чем же она спрашивала? Да ты рассказывай, милушка, не боись!

— Спрашивала: скучаю я по папаньке? Я сказал, что скучаю. Ишо спрашивала, когда он приедет и что про него слыхать, а я сказал, что не знаю: что он на войне воюет А посля она посадила меня к себе на колени и рассказала сказку.— Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся.— Хорошую сказку! Про какого-то Ванюшку, как его гуси-лебеди на крылах несли, и про бабу-ягу.

Ильинична, поджав губы, выслушала Мишаткину исповедь, строго сказала:

— Больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо, а то дед узнает и высекет тебя! Не дай бог узнает дед — он с тебя кожу сдерет! Не ходи, чадунюшка!

Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на Мишаткину рубашонку: разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутром новенькая пуговица. Зная, что занятая на молотьбе Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила:

— Опять к соседям ходил?

— Опять...— растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: — Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся...

Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположения ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со света Наталью, а зараз норовит, проклятая, к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну и змея! В снохи при живом муже метит... Только не выйдет ее дело! Да разве ее Гришка после такого греха возьмет?» — думала старуха.

От ее проницательного и ревнивого материнского взора не скрылось то обстоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому, что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей и Аксинья никогда не войдет в их семью.

Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона, подозвала ее:

— А ну, подойди ко мне на-час, погутарить надо...

Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась.

— Вот что, милая,— начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки.— Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь — без матери за ним догляду нету? Что без тебя не обойдутся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза!

— А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка? — вспыхнув, спросила Аксинья.

— Как это — что плохого? Да ты имеешь право касаться Натальиного дитя, ежели ты ее самою свела в могилу?

— Что вы, бабушка! Окститесь. Кто ее сводил? Сама над собой учинила.

— А не через тебя?

— Ну, уж это я не знаю.

— Зато я знаю! — взволнованно выкрикнула Ильинична.

— Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть.

— Вижу тебя наскрозь! Вижу, чем ты и дышишь! Не сноха, а в снохи лезешь! Детей попервам хочешь примануть, а после к Гришке подобраться?

— К вам в снохи я идтить не собираюсь. Ополоумели вы, бабушка! У меня муж живой.

— То-то ты от него, от живого-то, и норовишь к другому привязаться!

Аксинья заметно побледнела, сказала:

— Не знаю, с чего вы на меня напустились и срамотите меня... Ни на кого я никогда не навязывалась и навязываться не собираюсь, а что вашего внучонка примолвила,— чего ж тут плохого? Детей у меня, вы сами знаете, нету, на чужих радуюсь, и то легче, вот и зазвала его... Подумаешь, задаривала я его! Грудку сахару дала дитю, так это и задариванье! Да к чему мне его задаривать-то? Так болтаете вы бог знает чего!..

— При живой матери что-то ты его не зазывала! А как померла Наталья — так и ты доброхоткой объявилась!

— Он у меня и при Наталье в гостях бывал,— чуть приметно улыбнувшись, сказала Аксинья.

— Не бреши, бесстыжая!

— Вы спросите у него, а потом уж брехню задавайте.

— Ну как бы то ни было, а больше не смей мальчонку заманывать к себе. И не думай, что этим ты милее станешь Григорию. Женой его тебе не бывать, так и знай!

С исказившимся от гнева лицом Аксинья хрипло сказала:

— Молчи! У тебя он не спросится! И ты в чужие дела не лезь!

Ильинична хотела еще что-то сказать, но Аксинья молча повернулась, подошла к ведрам, рывком подняла на плечи коромысло и, расплескивая воду, быстро пошла по стежке.

С той поры при встречах она не здоровалась ни с кем из Мелеховых, с сатанинской гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо, но, завидев где-нибудь Мишатку, пугливо оглядывалась, и, если никого не было поблизости,— подбегала к нему, наклонившись прижимала его к груди и, целуя загорелый лобик и угрюмоватые черные, мелеховские, глазенки, смеясь и плача, бессвязно шептала: «Родной мой Григорьевич! Хороший мой! Вот как я по тебе соскучилась! Дура твоя тетка Аксинья... Ах, какая дура-то!» И после долго не сходила с ее губ трепетная улыбка, а увлажненные глаза сияли счастьем, как у молоденькой девушки.

В конце августа был мобилизован Пантелей Прокофьевич. Одновременно с ним из Татарского ушли на фронт все казаки, способные носить оружие. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки да древние старики. Мобилизация была поголовной, и освобождения на врачебных комиссиях, за исключением явных калек, не получал никто

Пантелей Прокофьевич, получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро попрощался со старухой, с внуками и Дуняшкой, кряхтя опустился на колени, положил два земных поклона,— крестясь на иконы, сказал:

— Прощайте, милые мои! Похоже, что не доведется нам свидеться, должно, пришел последний час. Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день и ночь, до дождей постарайтесь кончить. Нужно будет — наймите человека, чтобы пособил вам. Ежли не вернусь к осени — управляйтесь без меня; зяби вспашите сколько осилите, жита посейте хуть

с десятину. Смотри, старуха, веди дело с толком, рук не роняй! Вернемся мы с Григорием, нет ли, а вам хлеб дюжее всего будет нужен. Война войной, но без хлеба жить тоже скушно. Ну, храни вас господь!

Ильинична проводила старика до площади, глянула в последний раз, как он рядом с Христоней прихрамывает, поспешая за подводой, а потом вытерла завеской припухшие глаза и, не оглядываясь, направилась домой. На гумне ждал ее недомолоченный посад пшеницы, в печи стояло молоко, дети с утра были не кормлены, хлопот у старухи было великое множество, и она спешила домой, не останавливаясь, молча кланяясь изредка встречавшимся бабам, не вступая в разговоры, и только утвердительно кивала головой, когда кто-нибудь из знакомых соболезнующе спрашивал: «Служивого провожала, что ли?»

Несколько дней спустя Ильинична, подоив на заре коров, выгнала их на проулок и только что хотела идти во двор, как до слуха ее дошел какой-то глуховатый, осадистый гул. Оглядевшись, она не нашла на небе ни единой тучи. Немного погодя гул повторился.

— Слышишь, бабка, музыку? — спросил собиравший табун старый пастух.

— Какую музыку-то?

— А вот что на одних басах играет.

— Слыхать слышу, да не пойму, что это такое.

— Скоро поймешь. Вот как зачнут с энтой стороны по хутору кидать — сразу поймешь! Это из орудиев бьют. Старикам нашим потроха вынают...

Ильинична перекрестилась, молча пошла в калитку.

С этого дня орудийный гул звучал не переставая четверо суток. Особенно слышно было зорями. Но когда дул северо-восточный ветер, гром отдаленных боев слышался и среди дня. На гумнах на минуту приостанавливалась работа, бабы крестились, тяжело вздыхали, вспоминая родных, шепча молитвы, а потом снова начинали глухо погромыхивать на токах каменные катки, понукали лошадей и быков мальчишки-погонычи, гремели веялки, трудовой день вступал в свои неотъемлемые права. Конец августа был погожий и сухой на диво. По хутору ветер носил мякинную пыль, сладко пахло обмолоченной ржаной соломой, солнце грело немилосердно, но во всем уже чувствовалось приближение недалекой осени. На выгоне тускло белела отцветшая сизая полынь, верхушки тополей за Доном пожелтели, в садах резче стал запах антоновки,

по-осеннему прояснились далекие горизонты, и на опустевших полях уже показались первые станицы пролетных журавлей.

По Гетманскому шляху изо дня в день тянулись с запада на восток обозы, подвозившие к переправам через Дон боевые припасы, в обдонских хуторах появились беженцы. Они рассказывали, что казаки отступают с боями; некоторые уверяли, будто отступление это совершается преднамеренно, для того чтобы заманить красных, а потом окружить их и уничтожить. Кое-кто из татарцев потихоньку начал собираться к отъезду. Подкармливали быков и лошадей, ночами зарывали в ямы хлеб, сундуки с наиболее ценным имуществом. Замолкший было орудийный гул 5 сентября возобновился с новой силой и теперь звучал уже отчетливо и грозно. Бои шли верстах в сорока от Дона, по направлению на северо-восток от Татарского. Через день загремело и вверх по течению на западе. Фронт неотвратимо подвигался к Дону.

Ильинична, знавшая о том, что большинство хуторян собираются отступать, предложила Дуняшке уехать. Она испытывала чувство растерянности и недоумения и не знала, как ей быть с хозяйством, с домом: надо ли все это бросать и уезжать вместе с людьми или оставаться дома. Перед отъездом на фронт Пантелей Прокофьевич говорил о молотьбе, о зяби, о скоте, но ни словом не обмолвился о том, как им быть, если фронт приблизится к Татарскому. На всякий случай Ильинична решила так: отправить с кем-нибудь из хуторных Дуняшку с детьми и наиболее ценным имуществом, а самой оставаться, даже в том случае, если красные займут хутор.

В ночь на 17 сентября неожиданно явился домой Пантелей Прокофьевич. Он пришел пешком из-под Казанской станицы, измученный, злой. Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за всю свою жизнь не видела; полуведерный чугун постных щей словно за себя кинул, а потом навалился на пшенную кашу. Ильинична от изумления руками всплеснула:

— Господи, да как уж ты ешь, Прокофич! Как, скажи, ты три дня не ел!

— А ты думала — ел, старая дура? Трое суток в аккурат маковой росинки во рту не было!

— Да что же, вас там не кормят, что ли?

— Черти бы их так кормили! — мурлыча по-кошачьему, с набитым ртом, отвечал Пантелей Прокофьевич.—

Что спромыслишь — то и полопаешь, а я воровать ишо не обучился. Это молодым добро, у них совести-то и на семак [1] не осталося... Они за эту проклятую войну так руки на воровстве набили, что я ужахался-ужахался, да и перестал. Всё, что увидют,— берут, тянут, волокут... Не война, а страсть господня!

— Ты бы не доразу наедался. Как бы тебе чего не поделалось. Глянь, как ты раздулся-то, чисто паук!

— Помалкивай. Молока принеси, да побольше корчажку!

Ильинична даже заплакала, глядя на своего насмерть изголодавшегося старика.

— Что ж, ты навовсе пришел? — спросила она, после того как Пантелей Прокофьевич отвалился от каши.

— Там видно будет...— уклончиво ответил он.

— Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?

— Никого не спускали. Куда спускать, ежли красные уже к Дону подпирают? Я сам ушел.

— А не прийдется тебе отвечать за это? — опасливо спросила Ильинична.

— Поймают — может, и отвечать прийдется.

— Да ты, что же, хорониться будешь?

— А ты думала, что на игрища буду бегать али по гостям ходить? Тьфу, бестолочь идолова! — Пантеле́й Прокофьевич с сердцем сплюнул, но старуха не унималась:

— Ох, грех-то какой! Ишо беды наживем, как раз ишо дерзать тебя зачнут...

— Ну, уж лучше тут нехай ловют да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться,— устало сказал Пантелей Прокофьевич.— Я им не молоденький по сорок верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаки бегать, да по земле полозить, да хорониться от пулев. Черт от них ухоронится! Моего односума с Кривой речки цокнула пуля под левую лопатку — и ногами ни ра́зу не копнул. Тоже приятности мало в таком деле!

Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мякиннике, а когда Ильинична спросила, где же его зипун,— хмуро и неохотно ответил:

— Прожил. Вернее сказать — бросил. Нажали на нас за станицей Шумилинской так, что всё побросали, бегли, как полоумные. Там уж не до зипуна было... Кой у кого полушубки были, и те покидали... И на черта он тебе сдал-

[1] Семак — две копейки.

ся, зипун, что ты об нем поминаешь? Уж ежли б зипун был добрый, а то так, нищая справа...

На самом деле зипун был добротный, новый, но все, чего лишался старик,— по его словам, было никуда не годное. Такая уж у него повелась привычка утешать себя. Ильинична знала об этом, а потому и спорить о качестве зипуна не стала.

Ночью на семейном совете решили: Ильиничне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, оберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне, на Чир, в хутор Латышев.

Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский въехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелея Прокофьевича; через час после вступления в хутор карательного отряда четверо калмыков прискакали к мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев конных, с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкался на чердак; гостей встречать вышла Ильинична.

— Где твоя старика? — спросил пожилой статный калмык с погонами старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильиничны в калитку.

— На фронте. Где же ему быть,— грубо ответила Ильинична.

— Веди дом, обыск делаю буду.

— Чего искать-то?

— Старика твоя искать. Ай, стыдно! Старая какая — брехня живешь! — укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы.

— Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит — нету!

— Кончай балачка, веди дом! Нет — сами ходим,— строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги.

Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один — низенький и смуглый до черноты, с рябым лицом и приплюснутым носом — подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинична видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез наверх. Пять минут спустя он ловко соскочил оттуда, за ним, крях-

тя, осторожно слез весь измазанный в глине, с паутиной на бороде, Пантелей Прокофьевич. Посмотрев на плотно сжавшую губы старуху, он сказал:

— Нашли, проклятые! Значит, кто-нибудь доказал...

Пантелея Прокофьевича под конвоем отправили в станицу Каргинскую, где находился военно-полевой суд, а Ильинична всплакнула немного и, прислушиваясь к возобновившемуся орудийному грому и отчетливо слышимой пулеметной трескотне за Доном, пошла в амбар, чтобы припрятать хоть немного хлеба.

XXII

Четырнадцать изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый есаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем вполголоса перебрасывался несколькими фразами с членами суда — безруким хорунжим и разъевшимся на легких хлебах усатым и пухломордым вахмистром — и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждалось к телесному наказанию розгами, которое производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежилом доме. Слишком много развелось дезертиров в воинственной Донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году...

Пантелея Прокофьевича вызвали шестым по счету Взволнованный и бледный, стоял он перед судейским столом, держа руки по швам.

— Фамилия? — спросил есаул, не глядя на спрашиваемого.

— Мелехов, ваше благородие.

— Имя, отчество?

— Пантелей Прокофьев, ваше благородие.

Есаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика.

— Вы откуда родом?

— С хутора Татарского Вёшенской станицы, ваше благородие.

— Вы не отец Мелехова Григория, сотника?

— Так точно, отец, ваше благородие.— Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почуяв, что розги как будто отдаляются от его старого тела.

— Послушайте, как же вам не стыдно? — спросил есаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелея Прокофьевича.

Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал:

— Ваше благородие, господин есаул! Заставьте за вас век бога молить — не приказывайте меня сечь! У меня двое сынов женатых... старшего убили красные... Внуки есть, и меня, такого ветхого старика, пороть надо?

— Мы и стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут? — прервал его безрукий хорунжий. Углы рта у него нервически подергивались.

— На что уж мне крест... Отправьте вы меня в часть, буду служить верой и правдой... Сам не знаю, как я убег: должно, нечистый попутал...— Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но есаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к хорунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Хорунжий утвердительно кивнул головой, и есаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу.

— Хорошо. Вы все сказали? Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части? Неделю назад? Вы, что же, хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам? По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию, но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавляю от этого позора. Вы были рядовым?

— Так точно, ваше благородие.

— В чине?

— Младшим урядником был, ваше благородие.

— Снять лычки! — Перейдя на «ты», есаул повысил голос, грубо приказал: — Сейчас же отправляйся в часть! Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел?.. Ступай!

Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и... через бугор бездорожно направился домой. «Ну уж зараз я не так прихоронюсь! Черта с два найдут, нехай хучь три сотни калмыков присылают!» — думал он, хромая по заросшей брицей стерне.

В степи он решил, что лучше идти по дороге, чтобы не привлекать внимания проезжавших. «Как раз ишо подума-

ют, что я — дезертир. Нарвешься на каких-нибудь службистов — и без суда плетей ввалют», — вслух рассуждал он, сворачивая с пашни на заросший подорожником, брошенный летник и уже почему-то не считая себя дезертиром.

Чем ближе подвигался он к Дону, тем чаще встречались ему подводы беженцев. Повторялось то, что было весной во время отступления повстанцев на левую сторону Дона: во всех направлениях по степи тянулись нагруженные домашним скарбом арбы и брички, шли табуны ревущего скота, словно кавалерия на марше — пылили гурты овец... Скрип колес, конское ржанье, людские окрики, топот множества копыт, блеяние овец, детский плач — все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом.

— Куда, дед, правишься? Иди назад: следом за нами — красные! — крикнул с проезжавшей подводы незнакомый казак с забинтованной головой.

— Будя брехать! Где они, красные-то? — Пантелей Прокофьевич растерянно остановился.

— За Доном. Подходют к Вёшкам. А ты к ним идешь?

Успокоившись, Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к Татарскому. Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его безлюдьем. На улицах не было ни души. Безмолвно стояли брошенные, с закрытыми ставнями курени. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка; только возле самого Дона оживленно сновали люди. Приблизившись, Пантелей Прокофьевич без труда распознал вооруженных казаков, вытаскивавших и переносивших в хутор баркасы. Татарский был брошен жителями, это стало ясно Пантелею Прокофьевичу. Осторожно войдя в свой проулок, он зашагал к дому. Ильинична и детишки сидели в кухне.

— Вот он и дедуня! — обрадованно воскликнул Мишатка, бросившись деду на шею.

Ильинична заплакала от радости, сквозь слезы проговорила:

— И не чаяла тебя увидать! Ну, Прокофич, как хочешь, а оставаться тут я больше не согласная! Нехай все горит ясным огнем, только окарауливать порожний курень я не буду. Почти все с хутора выехали, а я с детишками сижу, как дура! Зараз же запрягай кобылу, и поедем куда глаза глядят! Отпустили тебя?

— Отпустили.

— Навовсе?

— Навовсе, пока не поймают...

— Ну, и тут тебе не хорониться! Нынче утром как застреляли с энтой стороны красные — ажник страшно! Я уж с ребятами в погребу сидела, пока стрельба шла. А зараз отогнали их. Приходили казаки, молока спрашивали и советовали уехать отсюда.

— Казаки-то не наши хуторные? — поинтересовался Пантелей Прокофьевич, внимательно рассматривая в наличнике окна свежую пулевую пробоину.

— Нет, чужие, никак, откель-то с Хопра.

— Тогда надо уезжать,— со вздохом сказал Пантелей Прокофьевич.

К ночи он вырыл в кизячнике яму, свалил туда семь мешков пшеницы, старательно зарыл и завалил кизяками, а как только смерклось — запряг в арбочку кобылу, положил две шубы, мешок муки, пшена, связанную овцу, привязал к задней грядушке обеих коров и, усадив Ильиничну и детишек, проговорил:

— Ну, теперь — с богом! — Выехал со двора, передал вожжи старухе, закрыл ворота и до самого бугра сморкался и вытирал рукавом чекменя слезы, шагая рядом с арбочкой.

XXIII

17 сентября части ударной группы Шорина, сделав тридцативерстный переход, вплотную подошли к Дону. С утра 18-го красные батареи загремели от устья Медведицы до станицы Казанской. После короткой артиллерийской подготовки пехота заняла обдонские хутора и станицы Букановскую, Еланскую, Вешенскую. В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем полутораста верст было очищено от белых. Казачьи сотни отступили, в порядке переправившись через Дон на заранее заготовленные позиции. Все имевшиеся средства переправы находились у них в руках, но вешенский мост едва не был захвачен красными. Казаки заблаговременно сложили около него солому и облили деревянный настил керосином, чтобы поджечь при отступлении, и уже собрались было поджигать, как в это время прискакал связной с сообщением, что одна из сотен 37-го полка идет с хутора Перевозного в Вешенскую к переправе. Отставшая сотня карьером прискакала к мосту в тот момент, когда красная пехота уже вступала в станицу. Под пулеметным огнем казаки все же

успели проскочить по мосту и поджечь его за собой, потеряв более десяти человек убитыми и ранеными и такое же число лошадей.

До конца сентября полки 22-й и 23-й дивизий 9-й Красной армии удерживали занятые ими хутора и станицы левой стороны Дона. Противников разделяла река, максимальная ширина которой в то время не превышала восьмидесяти саженей, а местами доходила до тридцати. Активных попыток к переправе красные не предпринимали; кое-где на бродах они пробовали перейти Дон, но были отбиты. На всем протяжении фронта на этом участке в течение двух недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Казаки занимали господствующие над местностью прибрежные высоты, обстреливая скопления противника на подступах к Дону, не позволяя ему днем продвигаться к берегу; но так как казачьи сотни на этом участке состояли из наименее боеспособных формирований (старики и молодежь в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет), то и сами они не пытались перейти Дон, чтобы оттеснить красных и двинуться в наступление по левобережью.

Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запылают курени занятых красными хуторов, но, к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка; мало того — перебравшиеся ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны были выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы; они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена, но по достоверным сведениям — красные никого из мирных жителей не трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении.

В ночь на 19-е казаки-хоперцы, бывшие в заставе против Вешенской, решили разведать о столь странном поведении противника; один голосистый казак сложил трубою руки, крикнул:

— Эй, краснопузые! Чего же вы дома наши не жгете? Спичек у вас нету? Так плывите к нам, мы вам дадим!

Ему из темноты зычно ответили:

— Вас не прихватили на месте, а то бы сожгли вместе с домами!

— Обнищали? Поджечь нечем? — задорно кричал хоперец.

Спокойно и весело ему отвечали:

— Плыви сюда, белая курва, мы тебе жару в мотню насыпем. Век будешь чесаться!

На заставах долго переругивались и всячески язвили друг друга, а потом постреляли немного и притихли.

В первых числах октября основные силы Донской армии, в количестве двух корпусов сосредоточенные на участке Казанская — Павловск, перешли в наступление. 3-й Донской корпус, насчитывавший в своем составе 8000 штыков и более 6000 сабель, неподалеку от Павловска форсировал Дон, отбросил 56-ю красную дивизию и начал успешное продвижение на восток. Вскоре переправился через Дон и 2-й коноваловский корпус. Преобладание конницы в его составе дало ему возможность глубоко внедриться в расположение противника и нанести ряд сокрушительных ударов. Введенная в дело 21-я стрелковая красная дивизия, находившаяся до этого во фронтовом резерве, несколько задержала продвижение 3-го Донского корпуса, но под давлением соединившихся казачьих корпусов должна была начать отход. 14 октября 2-й казачий корпус в ожесточенном бою разгромил и почти полностью уничтожил 14-ю красную стрелковую дивизию. За неделю красные были выбиты с левого берега Дона вплоть до станицы Вешенской. Заняв широкий плацдарм, казачьи корпуса оттеснили части 9-й Красной армии на фронт Лузево — Ширинкин — Воробьевка, принудив 23-ю дивизию 9-й армии поспешно перестроить фронт в западном направлении от Вешенской на хутор Кругловский.

Почти одновременно со 2-м корпусом генерала Коновалова форсировал Дон на своем участке и 1-й Донской корпус, находившийся в районе станицы Клетской.

Угроза окружения встала перед 22-й и 23-й левофланговыми красными дивизиями. Учитывая это, командование Юго-Восточным фронтом приказало 9-й армии отойти на фронт: устье реки Икорец — Бутурлиновка — Успенская — Тишанская — Кумылженская. Но удержаться на этой линии армии не удалось. Набранные по всеобщей мобилизации многочисленные и разрозненные казачьи сотни переправились с правого берега Дона и, объединившись с регулярными войсковыми частями 2-го казачьего корпуса, продолжали стремительно гнать ее на север. С 24 по 29 октября белыми были заняты станции Филоново,

Поворино и город Новохоперск. Однако, как ни велики были успехи Донской армии в октябре, но в настроении казаков уже отсутствовала та уверенность, которая окрыляла их весной, во время победоносного движения к северным границам области. Большинство фронтовиков понимало, что успех этот — временный и что продержаться дольше зимы им не удастся.

Вскоре обстановка на Южном фронте резко изменилась. Поражение Добровольческой армии в генеральном сражении на орловско-кромском направлении и блестящие действия буденновской конницы на воронежском участке решили исход борьбы: в ноябре Добровольческая армия покатилась на юг, обнажая левый фланг Донской армии, увлекая и ее в своем отступлении.

XXIV

Две с половиной недели Пантелей Прокофьевич благополучно прожил с семьей в хуторе Латышевом и, как только услышал, что красные отступили от Дона, собрался ехать домой. Верстах в пяти от хутора он с решительным видом слез с арбочки, сказал:

— Нету моего терпения тянуться шагом! А через этих проклятых коров рысью не поскачешь. И на черта мы их гоняли с собой? Дуняшка! Останови быков! Привязывай коров к своей арбе, а я рыском тронусь домой. Там теперь уж, может, от подворья одна зола осталась...

Обуянный величайшим нетерпением, он пересадил детишек со своей арбочки на просторную арбу Дуняшки, переложил туда же лишний груз и, налегках, рысью загремел по кочковатой дороге. Кобыла вспотела на первой же версте; еще никогда хозяин не обращался с ней столь безжалостно: он не выпускал кнута из рук, беспрестанно погоняя ее.

— Загонишь кобылу! Чего ты скачешь, как оглашенный? — говорила Ильинична, вцепившись в ребра арбочки, страдальчески морщась от тряски.

— Она ко мне на могилу плакать все одно не прийдет... Но-о-о, проклятущая! За-по-тела!.. Там, может, от куреня одни пеньки остались...— сквозь стиснутые зубы цедил Пантелей Прокофьевич.

Опасения его не оправдались: курень стоял целехонький, но почти все окна в нем были выбиты, дверь сорвана

с петель, стены исковыряны пулями. Все во дворе являло вид заброшенности и запустения. Угол конюшни начисто снесло снарядом, второй снаряд вырыл неглубокую воронку возле колодца, развалив сруб и переломив пополам колодезный журавль. Война, от которой бегал Пантелей Прокофьевич, сама пришла к нему во двор, оставив после себя безобразные следы разрушения. Но еще больший ущерб хозяйству причинили хоперцы, стоявшие в хуторе постоем, на скотиньем базу они повалили плетни, вырыли глубокие, в рост человека, траншеи; чтобы не утруждать себя излишней работой — разобрали стены у амбара и из бревен поделали накаты в траншеях; раскидали каменную огорожу, мастеря бойницу для пулемета; уничтожили полприкладка сена, бесхозяйственно потравив его лошадьми; пожгли плетни и загадили всю летнюю стряпку...

Пантелей Прокофьевич за голову взялся, осмотрев дом и надворные постройки. На этот раз ему изменила всегдашняя его привычка обесценивать утраченное. Черт возьми, не мог же он сказать, что все нажитое им ничего не стоило и было годно только на слом? Амбар — не зипун, и постройка его обошлась недешево.

— Как не было амбара! — со вздохом проговорила Ильинична.

— Он и амбар-то был...— с живостью отозвался Пантелей Прокофьевич, но не кончил, махнул рукой, пошел на гумно.

Рябые, изуродованные осколками и пулями стены дома выглядели неприветливо и заброшенно. В комнатах свистел ветер, на столах, на скамьях толстым слоем лежала пыль... Много времени требовалось, чтобы привести все в порядок.

Пантелей Прокофьевич на другой же день съездил верхом в станицу и не без труда выпросил у знакомого фельдшера бумагу, удостоверявшую, что ввиду болезни ноги казак Мелехов Пантелей не способен к хождению пешком и нуждается в лечении. Свидетельство это помогло Пантелею Прокофьевичу избавиться от отправки на фронт. Он предъявил его атаману и, когда ходил в хуторское правление, для вящей убедительности опирался на палку, хромал поочередно на обе ноги.

Никогда еще жизнь в Татарском не шла так суетливо и бестолково, как после возвращения из отступления. Люди ходили из двора во двор, опознавая растащенное хоперцами имущество, рыскали по степи и по буеракам в поисках

отбившихся от табуна коров. Гурт в триста штук овец с верхнего конца хутора исчез в первый же день, как только Татарский подвергся артиллерийскому обстрелу. По словам пастуха, один из снарядов разорвался впереди пасшегося гурта, и овцы, замигав курдюками, в ужасе устремились в степь и исчезли. Их нашли за сорок верст от хутора, на земле Еланской станицы, через неделю после того как жители возвратились в покинутый хутор, а когда пригнали и стали разбирать, то оказалось, что в гурте половина чужих овец, с незнакомой метой в ушах, своих же, хуторских, недосчитались более пятидесяти штук. На огороде у Мелеховых оказалась швейная машина, принадлежавшая Богатыревым, а жесть со своего амбара Пантелей Прокофьевич разыскал на гумне у Аникушки. То же самое творилось и в соседних хуторах. И долго еще захаживали в Татарский жители ближних и дальних хуторов Обдонья; и долго еще при встречах звучали вопросы: «Не видали вы корову, рыжую, на лбу лысина, левый рог сбитый?», «Случаем, не приблудился к вам бычок-летошник, бурой масти?»

Наверное, не один бычок был сварен в казачьих сотенных котлах и в походных кухнях, но подстегиваемые надеждой хозяева подолгу мерили степь, пока не убеждались, что не все пропавшее находится.

Пантелей Прокофьевич, получив освобождение от службы, деятельно приводил в порядок постройки и огорожу. На гумне стояли недомолоченные прикладки хлеба, по ним шныряли прожорливые мыши, но старик не брался за молотьбу. Да и разве можно было за нее браться, ежели двор стоял разгороженный, амбара не было и в помине и все хозяйство являло мерзостный вид разрухи? К тому же и осень выдалась погожая, и с обмолотом не было надобности спешить.

Дуняшка и Ильинична обмазали и побелили курень, всемерно помогали Пантелею Прокофьевичу в устройстве временной огорожи и в прочих хозяйственных делах. Кое-как добыли стекло, вставили окна, очистили стряпку, колодец. Старик сам спускался в него и, как видно, там приостыл, с неделю кашлял, чихал, ходил с мокрой от пота рубахой. Но стоило ему выпить за присесть две бутылки самогона, а потом полежать на горячей печи, как болезнь с него словно рукой сняло.

От Григория по-прежнему не было вестей, и только в конце октября случайно Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со

своим полком находится где-то в Воронежской губернии. Сообщил ему об этом раненый однополчанин Григория, проезжавший через хутор. Старик повеселел, на радостях выпил последнюю бутылку целебного, настоянного на красном перце самогона и после целый день ходил разговорчивый, гордый, как молодой петух, останавливал каждого проходившего, говорил:

— Слыхал? Григорий-то наш Воронеж забирал! Слухом пользуемся, будто новое повышение получил он и зараз уже сызнова командует дивизией, а может, и корпусом. Таких вояк, как он, поискать! Небось сам знаешь...— Старик сочинял, испытывая неодолимую потребность поделиться своей радостью, прихвастнуть.

— Сын у тебя геройский,— говорили ему хуторяне.

Пантелей Прокофьевич счастливо подмигивал:

— И в кого бы он уродился не геройский? Смолоду и я был, скажу без хвальбы, тоже не хуже его! Нога мне препятствует, а то бы я и зараз не удал! Дивизией — не дивизией, а уж сотней знал бы, как распорядиться! Кабы нас, таких стариков, побольше на фронт, так уж давно бы Móскву забрали, а то топчутся на одном месте, никак не могут с мужиками управиться...

Последний, с кем пришлось поговорить Пантелею Прокофьевичу в этот день, был старик Бесхлебнов. Он шел мимо мелеховского двора, и Пантелей Прокофьевич не преминул его остановить:

— Эй, погоди трошки, Филипп Агевич! Здорово живешь! Зайди на-час, потолкуем.

Бесхлебнов подошел, поздоровался.

— Слыхал, какие коленца мой Гришка выкидывает? — спросил Пантелей Прокофьевич.

— А что такое?

— Да ить опять дивизию ему дали! Вон какой махиной командует!

— Дивизию?

— Ну да, дивизию!

— Вон как!

— То-то и есть! Абы кому не дадут, ты как думаешь?

— Само собой.

Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собеседника, продолжал сладостный его сердцу разговор:

— Сын уродился истинно всем на диковину. Полный бант крестов, это как по-твоему? А сколько разов был раненый и сконтуженный? Другой бы давно издох, а ему

нипочем, с него это — как с гуся вода. Нет, ишо не перевелись на тихом Дону настоящие казаки!

— Не перевелись-то — не перевелись, да что-то толку от них мало,— раздумчиво проговорил не отличавшийся особой словоохотливостью дед Бесхлебнов.

— Э, как так толку мало? Гляди, как они красных погнали, уж за Воронежом, под Мóскву подходют!

— Что-то долго они подходют!..

— Скоро нельзя, Филипп Агевич. Ты в толк возьми, что на войне поспешно ничего не делается. Скоро робют — слепых родют. Тут надо все потихонечку, по картам, по этим, разным, ихним, по планам... Мужика, его в России — темная туча, а нас, казаков, сколько? Горсть!

— Все это так, но, должно, не долго наши продержутся. К зиме опять надо гостей ждать, в народе так гутарют.

— Ежли зараз Мóскву у них не заберут, они явются сюда, это ты верно говоришь.

— А думаешь — заберут?

— Должны бы забрать, а там — как бог даст. Неужли наши не справются? Все двенадцать казачьих войск поднялись, и не справются?

— Чума их знает. Ты-то что же, отвоевался?

— Какой из меня вояка! Кабы не моя ножная хворость — я бы им показал, как надо с неприятелем сражаться! Мы, старики,— народ крепкий.

— Гутарют, что эти крепкие старики на энтом боку Дона так умахивали от красных, что ни на одном полушубка не осталось, всё с себя до живого тела на бегу посымали и покидали. Смеются, будто вся степь была от полушубков желтая, чисто лазоревыми цветками покрытая!

Пантелей Прокофьевич покосился на Бесхлебнова, сухо сказал:

— По-моему, брехня это! Ну, может, кто для облегчения и бросил одежу, да ить люди в сто разов больше набрешут! Великое дело — зипун, то бишь полушубок! Жизня дороже его али нет, спрашиваю? Да и не всякий старик может в одеже резво бегать. На этой проклятой войне нужно иметь такие ноги, как у борзого кобеля, а я, к примеру, где их достану? И об чем ты, Филипп Агевич, горюешь? На черта, прости бог, они тебе нужны, эти полушубки? Дело не в полушубках или, скажем, в зипунах, а в том, чтобы преуспешно неприятеля разить, так я говорю? Ну, пока прощай, а то я с тобой загутарился, а там дело

стоит. Что ж, телушку-то свою нашел? Все ищешь? И слуху нету? Ну, стало быть, слопали ее хоперцы, чтоб им подавиться! А насчет войны не сумлевайся: придолеют наши мужиков! — И Пантелей Прокофьевич важно захромал к крыльцу.

Но одолеть «мужиков», как видно, было не так-то легко... Не без урона обошлось и последнее наступление казаков. Час спустя хорошее настроение Пантелея Прокофьевича было омрачено неприятной новостью. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитанья по мертвому. Крик приближался. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать.

— Побеги узнай, кто там помер,— сказал он, воткнув топор в дровосеку.

Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с Филоновского фронта привезли трех убитых казаков — Аникушку, Христоню и еще одного семнадцатилетнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился.

— Царство небесное им! Какой казачина-то был...— горестно проговорил он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт.

Работать он больше не мог. Аникушкина жена ревела как резаная и так причитала, что у Пантелея Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего крика, он ушел в дом, плотно притворил за собою дверь. В горнице Дуняшка, захлебываясь, рассказывала Ильиничне:

— ...глянула я, ро́дная мамунюшка, а у Аникушки головы почти нету, какая-то каша заместо головы. Ой, и страшно же! И воняет от него за версту... И зачем они их везли — не знаю! А Христоня лежит на спине во всю повозку, ноги сзади из-под шинеля висят... Христоня — чистый и белый-белый, прямо кипенный! Только под правым глазом — дырка, махонькая, с гривенник, да за ухом — видно — запеклась кровь

Пантелей Прокофьевич ожесточенно сплюнул, вышел во двор, взял топор и весло и захромал к Дону.

— Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить. Слышишь, родимушка? — на ходу обратился он к игравшему возле стряпки Мишатке.

За Доном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. С шелестом падали с тополей сухие листья. Кусты ши-

повника стояли, будто объятые пламенем, и красные ягоды в редкой листве их пылали, как огненные язычки. Горький, всепобеждающий запах сопревшей дубовой коры заполнял лес. Ежевичник — густой и хваткий — опутывал землю; под сплетением ползучих ветвей его искусно прятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти ежевики. На мертвой траве в тени до полудня лежала роса, блестела посеребренная ею паутина. Только деловитое постукиванье дятла да щебетанье дроздов-рябинников нарушало тишину.

Молчаливая, строгая красота леса умиротворяюще подействовала на Пантелея Прокофьевича. Он тихо ступал меж кустов, разгребая ногами влажный покров опавшей листвы, думал: «Вот она какая, жизня: недавно были живые, а нынче уж обмывают их. Какого казака-то свалили! А ить будто недавно приходил проведывать нас, стоял у Дона, когда ловили Дарью. Эх, Христан, Христан! Нашлась и на тебя вражья пуля... И Аникушка... какой веселый был, любил выпить, посмеяться, а зараз уж всё,— покойничек...» — Пантелей Прокофьевич вспомнил Дуняшкины слова и, с неожиданной яркостью восстановив в памяти улыбающееся, безусое, скопцеватое лицо Аникушки,— никак не мог представить себе теперешнего Аникушку — бездыханного, с размозженной головой. «Зря я гневил бога — хвалился Григорием,— укорил себя Пантелей Прокофьевич, припомнив разговор с Бесхлебновым.— Может, и Григорий теперь лежит где-нибудь, проклеванный пулями? Не дай бог и не приведи! При ком же нам, старикам, тогда жить?»

Вырвавшийся из-под куста коричневый вальдшнеп заставил Пантелея Прокофьевича вздрогнуть от неожиданности. Бесцельно проследил он за косым, стремительным полетом птицы, пошел дальше. Около небольшой музги облюбовал несколько кустов хвороста, принялся рубить. Работая, старался ни о чем не думать. За один год смерть сразила столько родных и знакомых, что при одной мысли о них на душе его становилось тяжко и весь мир тускнел и словно одевался какой-то черной пеленой.

— Вот этот куст надо повалить. Хороший хворост! Самое на плетни годится,— вслух разговаривал он сам с собою, чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей.

Наработавшись, Пантелей Прокофьевич снял куртку, присел на ворох нарубленного хвороста и, жадно вдыхая терпкий запах увядшей листвы, долго глядел на далекий горизонт, повитый голубой дымкой, на дальние перелески,

вызолоченные осенью, блещущие последней красотой. Неподалеку стоял куст черноклена. Несказанно нарядный. он весь сиял под холодным осенним солнцем, и раскидистые ветви его, отягощенные пурпурной листвой, были распахнуты, как крылья взлетающей с земли сказочной птицы. Пантелей Прокофьевич долго любовался им, а потом случайно глянул на музгу и увидел в прозрачной стоячей воде темные спины крупных сазанов, плававших так близко от поверхности, что были видны их плавники и шевелящиеся багряные хвосты. Их было штук восемь. Они иногда скрывались под зелеными щитами кувшинок и снова выплывали на чистое, хватали тонущие, мокрые листочки вербы. Музга к осени почти пересохла, и переловить сазанов не составляло особого труда. После недолгих поисков Пантелей Прокофьевич нашел брошенную возле соседнего озера кошелку без дна, вернулся к музге, снял штаны,— поеживаясь и кряхтя от холода, приступил к ловле. Взмутив воду по колено утопая в иле, он брел вдоль музги, опускал кошелку, придавливал края ее ко дну, а затем совал внутрь кошелки руку, в ожидании, что вот-вот всплеснет и забурлит могучая рыба. Старания его увенчались успехом: ему удалось накрыть трех сазанов фунтов по десяти каждый. Продолжать ловлю и дальше он не смог, от холода судорога начала сводить его искалеченную ногу. Удовольствовавшись добычей, он вылез из музги, обтер чаканом ноги, оделся, снова начал рубить хворост, чтобы согреться. Это была как-никак удача. Неожиданно поймать почти пуд рыбы не всякому придется! Ловля развлекла его, отогнала мрачные мысли. Он надежно спрятал кошелку, с намерением прийти доловить оставшуюся рыбу,— опасливо оглянулся: не видел ли кто, как он выбрасывал на берег золотистых и толстых, словно поросята, сазанов,— и лишь после этого поднял вязанку хвороста и нанизанных на хворостину рыб, не спеша направился к Дону.

С довольной улыбкой он рассказывал Ильиничне про свое ловецкое счастье, полюбовался еще раз на отливающих красной медью сазанов, но Ильинична неохотно разделяла его восторг. Она ходила смотреть на убитых и пришла оттуда заплаканная и грустная.

— Пойдешь глянуть на Аникея? — спросила она.

— Не пойду. Что я, мертвых не видал, что ли? Нагляделся я на них, хватит!

— Ты сходил бы. Все вроде неудобно, скажут — и попрощаться не пришел!

— Отвяжись, ради Христа! Я с ним детей не крестил, и нечего мне с ним прощаться! — свирепо огрызнулся Пантелей Прокофьевич.

Он не пошел и на похороны, с утра уехал за Дон и пробыл там весь день. Погребальный звон заставил его в лесу снять шапку, перекреститься, а потом он даже подосадовал на попа: мыслимое ли дело звонить так долго? Ну, ударили бы в колокола по разу — и всё, а то заблаговестили на целый час. И что проку от этого звона? Только разбередят людям сердца да заставят лишний раз вспомнить о смерти. А о ней осенью и без этого все напоминает: и падающий лист, и с криком пролетающие в голубом небе станицы гусей, и мертвенно полегшая трава...

Как ни оберегал себя Пантелей Прокофьевич от всяких тяжелых переживаний, но вскоре пришлось ему испытать новое потрясение. Однажды за обедом Дуняшка взглянула в окно, сказала:

— Ну, ишо какого-то убитого с фронта везут! Сзади повозки служивский подседланный конь идет, привязанный на чумбуре, и едут нерезво... Один лошадьми правит, а мертвый под шинелем лежит. Этот, какой правит, сидит спиной к нам, не узнаю — наш хуторной или нет...— Дуняшка присмотрелась внимательнее, и щеки ее стали белее полотна.— А ить это... а ить это...— невнятно зашептала она и вдруг пронзительно крикнула: — Гришу везут!.. Его конь! — и, рыдая, выбежала в сенцы.

Ильинична, не вставая из-за стола, прикрыла глаза ладонью. Пантелей Прокофьевич тяжело поднялся со скамьи, пошел к двери, вытянув вперед руки, как слепой.

Прохор Зыков открыл ворота, мельком взглянул на сбежавшую с крыльца Дуняшку, невесело сказал:

— Принимайте гостей... Не ждали?

— Родный ты наш! Братунюшка! — заламывая руки, простонала Дуняшка.

И только тогда Прохор, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать:

— Не пужайтесь, не пужайтесь! Он живой. В тифу он лежит.

Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку.

— Живой!!! — смеясь и плача, закричала ему Дуняшка.— Живой Гриша! Слышишь? Его хворого привезли! Иди же скажи матери! Ну, чего стоишь?

— Не пужайся, Пантелей Прокофьевич! Доставил живого, а про здоровье не спрашивай,— торопливо подтвердил Прохор, под уздцы вводя лошадей во двор.

Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем промчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Прохор остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелея Прокофьевича.

— Чего ж сидишь? Неси полсть, будем сносить.

Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле его что-то булькало и клокотало.

— Ты, видать, от ума отошел с перепугу,— сожалеюще сказал Прохор.— И как это я не догадался послать вперед кого-нибудь предупредить вас? Оказался дурак я, право слово — дурак! Ну, поднимайся, Прокофич, надо же хворого сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем?

— Погоди трошки...— хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич.— Что-то у меня ноги отнялись... Думал — убитый... Слава богу. Не ждал...— Он оторвал пуговицы на воротнике своей старенькой рубахи, распахнул ворот и стал жадно вдыхать воздух широко раскрытым ртом.

— Вставай, вставай, Прокофич! — торопил Прохор.— Окромя нас, несть-то его ить некому?

Пантелей Прокофьевич с заметным усилием поднялся, сошел с крыльца, откинул шинель и нагнулся над лежавшим без сознания Григорием. В горле его снова что-то заклокотало, но он овладел собой, повернулся к Прохору.

— Берись за ноги. Понесем.

Григория внесли в горницу, сняли с него сапоги, раздели и уложили на кровать. Дуняшка тревожно крикнула из кухни:

— Батя! С матерью плохо... Поди сюда!

В кухне на полу лежала Ильинична. Дуняшка, стоя на коленях, брызгала водой в ее посиневшее лицо.

— Беги, кличь бабку Капитоновну, живо! Она умеет кровь отворять. Скажи, что надо матери кровь кинуть, нехай захватит с собой струмент! — приказал Пантелей Прокофьевич.

Не могла же Дуняшка — заневестившаяся девка — бежать по хутору простоволосой; она ухватила платок,— торопливо покрываясь, сказала:

— Детей вон напужали до смерти! Господи, что это такое за напасть... Пригляди за ними, батя, а я смотаюсь в один момент!

Может быть, Дуняшка и в зеркало бы мельком посмотрелась, но оживший Пантелей Прокофьевич глянул на нее такими глазами, что она опрометью выскочила из кухни.

Выбежав за калитку, Дуняшка увидела Аксинью. Ни кровинки не было в белом Аксиньином лице. Она стояла, прислонившись к плетню, безжизненно опустив руки. В затуманенных черных глазах ее не блестели слезы, но столько в них было страдания и немой мольбы, что Дуняшка, остановившись на секунду, невольно и неожиданно для себя сказала:

— Живой, живой! Тиф у него.— И побежала по проулку рысью, придерживая руками подпрыгивающую высокую грудь.

К мелеховскому двору отовсюду спешили любопытные бабы. Они видели, как Аксинья неторопливо пошла от мелеховской калитки, а потом вдруг ускорила шаги, согнулась и закрыла лицо руками.

XXV

Через месяц Григорий выздоровел. Впервые поднялся он с постели в двадцатых числах ноября и — высокий, худой, как скелет,— неуверенно прошелся по комнате, стал у окна.

На земле, на соломенных крышах сараев ослепительно белел молодой снежок. По проулку виднелись следы санных полозьев. Голубоватый иней, опушивший плетни и деревья, сверкал и отливал радугой под лучами закатного солнца.

Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимы он как будто еще никогда не видел. Все казалось ему необычным, исполненным новизны и значения. У него после болезни словно обострилось зрение, и он стал обнаруживать новые предметы в окружающей его обстановке и находить перемены в тех, что были знакомы ему издавна.

Неожиданно в характере Григория проявились ранее не свойственные ему любопытство и интерес ко всему происходившему в хуторе и в хозяйстве. Все в жизни обретало

для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые. Ильинична была несказанно удивлена однажды, застав его разглядывавшим со всех сторон прялку. Как только она вошла в комнату, Григорий отошел от прялки, слегка смутившись.

Дуняшка не могла без смеха смотреть на его мослаковатую длинную фигуру. Он ходил по комнате в одном нижнем белье, придерживая рукой сползающие кальсоны, сгорбясь и несмело переставляя высохшие голенастые ноги, а когда садился, то непременно хватался за что-нибудь рукой, боясь упасть. Черные, отросшие за время болезни волосы его лезли, курчеватый, с густой проседью чуб свалялся.

При помощи Дуняшки он сам обрил себе голову, и когда повернулся лицом к сестре, та уронила на пол бритву, схватилась за живот и, повалившись на кровать, задохнулась от хохота.

Григорий терпеливо ждал, пока она отсмеется, но потом не выдержал, сказал слабым, дрожащим тенорком:

— Гляди, так недолго и до греха. Опосля стыдно будет, ты ить невеста.— В голосе его прозвучала легкая обида.

— Ой, братушка! Ой, родненький! Я лучше уйду... силов моих нету! Ой, на чего ты похо-о-ож! Ну, чистое огородное чучело! — между приступами смеха еле выговорила Дуняшка.

— Поглядел бы я на тебя, какая ты бы стала опосля тифа. Подыми бритву, ну?!

Ильинична вступилась за Григория, с досадой сказала:

— И чего иржешь, на самом деле? То-то дура ты, Дунька!

— Да погляди, маманя, на чего он похож! — вытирая слезы, говорила Дуняшка.— Голова вся в шишках, круглая как арбуз, и такая же темная... Ой, не могу!

— Дай зеркало! — попросил Григорий.

Он посмотрелся в крохотный осколок зеркала и сам долго беззвучно смеялся.

— И на что ты, сынок, брился, уж лучше бы так ходил,— с неудовольствием сказала Ильинична.

— По-твоему, лучше лысым быть?

— Ну, и так страмотно до невозможности.

— Да ну вас совсем! — с досадой проговорил Григорий, взбивая помазком мыльную пену.

Лишенный возможности выходить из дому, он подолгу возился с детишками. Разговаривая с ними обо всем, избегал упоминать о Наталье. Но однажды Полюшка, ласкаясь к нему, спросила:

— Батяня, а маманька к нам не вернется?

— Нет, милушка, оттуда не возвертаются...

— Откуда? С кладбища?

— Мертвые, словом, не возвертаются...

— А она навовсе мертвая?

— Ну, а как же иначе? Конечно, мертвая.

— А я думала, что она когда-нибудь соскучится по нас и прийдет...— чуть слышно прошептала Полюшка.

— Ты об ней не думай, моя ро́дная, не надо,— глухо сказал Григорий.

— Как же об ней не думать? А они и проведывать не приходют? Хучь на чудок. Нет?

— Нет. Ну, пойди поиграй с Мишаткой.— Григорий отвернулся. Видно, болезнь ослабила его волю: на глазах его показались слезы, и, чтобы скрыть их от детей, он долго стоял у окна, прижавшись к нему лицом.

Не любил он разговаривать с детьми о войне, а Мишатку война интересовала больше всего на свете. Он часто приставал к отцу с вопросами, как воюют, и какие красные, и чем их убивают, и для чего. Григорий хмурился, с досадой говорил:

— Ну вот, опять заладила сорока про Якова! И на что она тебе сдалась, эта война? Давай лучше погутарим об том, как будем летом рыбу удочками ловить. Тебе удочку справить? Вот как только зачну выходить на баз, так зараз же ссучу тебе из конского волоса леску.

Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе? Но от Мишатки не так-то легко было отделаться: как будто и со вниманием выслушивал он планы отца, посвященные рыбной ловле, а потом снова спрашивал:

— А ты, папанька, убивал людей на войне?

— Отвяжись, репей!

— А страшно их убивать? А кровь из них идет, как убивают? А много крови? Больше, чем из курицы либо из барана?

— Я тебе сказал, что брось ты об этом!

Мишатка на минуту замолкал, потом раздумчиво говорил:

— Я видал, как дед резал недавно овцу. Мне было не страшно... Может, так трошки-трошки страшно, а то ничуть!

— Прогони ты его от себя! — с досадой восклицала Ильинична.— Вот ишо душегуб растет! Истый арестанюга! Только от него и послышишь, что про войну, окромя он и разговору не знает. Да мысленное ли дело тебе, чадушка, об ней проклятой, прости господи, гутарить? Иди сюда, возьми вот блинец да помолчи хучь чудок.

Но война напоминала о себе ежедневно. Приходили проведывать Григория вернувшиеся с фронта казаки, рассказывали о разгроме Шкуро и Мамонтова конницей Буденного, о неудачных боях под Орлом, об отступлении начавшемся на фронтах. В боях под Грибановкой и Кардаилом были убиты еще двое татарцев; привезли раненого Герасима Ахваткина; умер болевший тифом Дмитрий Голощеков. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в Татарском ни одного двора, где бы не было покойника.

Григорий еще не выходил из дома, а уж хуторской атаман принес распоряжение станичного атамана, предписывавшее уведомить сотника Мелехова о незамедлительной явке на врачебную комиссию для переосвидетельствования.

— Отпиши ему, что как только научусь ходить,— сам явлюсь, без ихних напоминаний,— с досадой сказал Григорий.

Фронт все ближе придвигался к Дону. В хуторе начали поговаривать об отступлении. Вскоре на майдане был оглашен приказ окружного атамана, обязывавший ехать в отступление всех взрослых казаков.

Пантелей Прокофьевич пришел с майдана, рассказал Григорию о приказе, спросил:

— Что будем делать?

Григорий пожал плечами:

— Чего же делать? Надо отступать. И без приказа все тронутся

— Я про нас с тобой спрашиваю: вместе поедем или как?

— Вместе нам не прийдется ехать. Дня через два я сбегаю верхом в станицу, узнаю, какие частя будут идтить через Вёшки, пристану к какой-нибудь. А твое дело ехать беженским порядком. Или ты хочешь в воинскую часть поступить?

— Будь она неладна! — испуганно сказал Пантелей Прокофьевич.— Я тогда поеду с дедом Бесхлебновым, он надысь приглашал ехать за компанию. Старик он смирный, и конь у него добрячий, вот мы спрягемся и дунем на пару. Моя кобыла тоже стала из жиру вон. Так, проклятая, разъелась и так взбрыкивает, ажник страшно!

— Ну вот и езжай с ним,— охотно поддержал Григорий.— А пока давай договоримся насчет вашего маршрута, а то, может, и мне доведется тем же путем идтить.

Григорий достал из планшетки карту юга России, подробно рассказал отцу, через какие хутора нужно ехать, и уже начал было записывать на бумагу названия хуторов. но старик, с уважением посматривавший на карту, сказал:

— Постой, не пиши. Ты, конечно, в этих делах больше моего понимаешь, и карта — это дело сурьезное, уж она не сбрешет и покажет прямой путь, но только как я его буду держаться, ежели мне это неподходяще? Ты говоришь, надо спервоначалу ехать через Каргинскую, я понимаю: через нее прямее,— а все одно мне и тут надо крюку дать.

– Это зачем же тебе крюку давать?

— А затем, что в Латышевом у меня двоюродная сестра, у ней я и себе и коням корму добуду, а у чужих прийдется свое тратить И дальше ты говоришь, надо по карте на слободу Астахово ехать, туда прямее,— а я поеду на Малаховский; там у меня — тоже дальняя родня и односум есть; там тоже можно своего сена не травить, чужим попользоваться. Поимей в виду, что прикладка сена с собой не увезешь, а в чужом краю, может статься, не токмо не выпросишь, но и за деньги не купишь.

— А за Доном у тебя родни нету? — ехидно спросил Григорий.

— Есть и там.

— Так ты, может, туда поедешь?

— Ты мне чертовщину не пори! — вспыхнул Пантелей Прокофьевич.— Ты дело говори, а не шутки вышучивай! Нашел время шутить, тоже умник выискался!

— Нечего и тебе родню собирать! Отступать — так отступать, а не по родне ездить, это тебе не масленица!

— Ну, ты мне не указывай, куда мне ехать, сам знаю!

— А знаешь, так и езжай куда хочешь!

— Не по твоим же планам мне ехать? Прямо только сорока летает, ты об этом слыхал? Попрусь я черт-те куда, где, может, зимой и дороги сроду не бывает. Ты-то с умом собрался такую ерунду говорить? А ишо дивизией командовал!

Григорий и старик долго пререкались, но потом, обдумав все, Григорий должен был признать, что в словах отца было много справедливого, и примирительно сказал:

— Не серчай, батя, я тебе не навязываю своего маршрута, езжай, как хочешь. Постараюсь за Донцом тебя разыскать.

— Вот так бы и давно сказал! — обрадовался Пантелей Прокофьевич.— А то лезешь с разными планами да маршлутами, а того не понимаешь, что план — планом, а без корма лошадям ехать некуда.

Еще во время болезни Григория старик исподволь готовился к отъезду: с особой тщательностью выкармливал кобылу, отремонтировал сани, заказал свалять новые валенки и собственноручно подшил их кожей, чтобы не промокали в сырую погоду; заблаговременно насыпал в чувалы отборного овса. Он и отступать готовился как настоящий хозяин: все, что могло понадобиться в поездке, было предусмотрительно приготовлено им. Топор, ручная пила, долото, сапожный инструмент, нитки, запасные подметки, гвозди, молоток, связка ремней, бечева, кусок смолы — все это, вплоть до подков и ухналей, было завернуто в брезент и в одну минуту могло быть уложено в сани. Даже безмен Пантелей Прокофьевич брал с собой и на вопрос Ильиничны, зачем ему понадобится безмен в дороге, укоризненно сказал:

— Ты, бабка, чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь. Неужели ты такую простую штуку сама не сообразишь? Сено-то али мякину в отступе мне прийдется на вес покупать? Не аршином же там сено меряют!

— Так уж там и весов нету? — удивилась Ильинична.

— А ты почем знаешь, какие там веса? — озлился Пантелей Прокофьевич.— Может, там все веса с обманом, чтобы нашего брата обвешивать. То-то и оно! Знаем мы, какие там народы живут! Купишь тридцать фунтов, а заплотишь чистую денежку за пуд. А мне — как такой

убыток терпеть на каждой остановке, так лучше я со своим безменом поеду, небось не заважит! А вы тут и без весов проживете: на черта они вам сдались? Военные частя будут идтить, так они берут сено не вешамши... Им только успевай в фуражирки навязывать. Видал я их, чертей безрогих, знаю отлично!

Вначале Пантелей Прокофьевич думал даже повозку везти на санях, чтобы весною не тратиться на покупку и ехать на своей, но потом, пораздумав, отказался от этой пагубной мысли.

Начал собираться и Григорий. Он прочистил маузер, винтовку, привел в порядок верно служивший ему клинок; через неделю после выздоровления пошел проведать коня и. глядя на его лоснящийся круп, убедился, что старик выкармливал не только свою кобылу. С трудом сел на взыгравшего коня, проездил его как следует и, возвращаясь домой, видел,— а быть может, это лишь показалось ему,— будто кто-то махнул ему беленьким платочком в окне астаховского куреня...

На сходе татарцы решили выезжать всем хутором. Двое суток бабы пекли и жарили казакам на дорогу всякую снедь. Выезд назначен был на двенадцатое декабря. С вечера Пантелей Прокофьевич уложил в сани сено и овес, а утром, чуть забрезжил рассвет, надел тулуп, подпоясался, заткнул за кушак голицы, помолился богу и распрощался с семьей.

Вскоре огромный обоз потянулся из хутора на гору. Вышедшие на прогон бабы долго махали уезжавшим платками, а потом в степи поднялась поземка, и за снежной кипящей мглой не стало видно ни медленно взбиравшихся на гору подвод, ни шагавших рядом с ними казаков.

Перед отъездом в Вёшенскую Григорий увиделся с Аксиньей. Он зашел к ней вечером, когда по хутору уже зажглись огни. Аксинья пряла. Около нее сидела Аникушкина вдова, вязала чулок. что-то рассказывала. Увидев постороннюю, Григорий коротко сказал Аксинье:

— Выйди ко мне на минуту, дело есть.

В сенях он положил ей руку на плечо, спросил:

— Поедешь со мной в отступление?

Аксинья долго молчала. обдумывая ответ, потом тихо сказала:

— А хозяйство как же? Дом?

— Оставишь на кого-нибудь. Надо ехать.

— А когда?

— Завтра заеду за тобой.

Улыбаясь в темноте, Аксинья сказала:

— Помнишь, я тебе давно говорила, что поеду с тобой хучь на край света. Я и зараз такая. Моя любовь к тебе верная. Поеду, ни на что не погляжу! Когда тебя ждать?

— Нá вечер. Много с собой не бери. Одежу и харчей побольше, вот и все. Ну, прощай пока.

— Прощай. Может, зашел бы?.. Она зараз уйдет. Целый век я тебя не видала... Милый мой, Гришенька! А я уж думала, что ты... Нет! Не скажу.

— Нет, не могу. Мне зараз в Вёшки ехать, прощай. Жди завтра.

Григорий уж вышел из сенцев и дошел до калитки, а Аксинья все еще стояла в сенцах, улыбалась и терла ладонями пылающие щеки.

* * *

В Вёшенской началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов. Григорий в управлении окружного атамана справился о положении на фронте. Молоденький хорунжий, исполнявший должность адъютанта, сказал ему:

— Красные около станицы Алексеевской. Нам неизвестно, какие части будут идти через Вёшенскую и будут ли идти. Вы сами видите — никто ничего не знает, все спешат удирать... Я бы вам посоветовал сейчас не разыскивать вашу часть, а ехать в Миллерово, там вы скорее узнаете о ее местопребывании. Во всяком случае, ваш полк будет проходить по линии железной дороги. Будет ли противник задержан у Дона? Ну, не думаю. Вёшенскую сдадут без боя, это наверняка.

Поздно ночью Григорий вернулся домой. Готовя ужин, Ильинична сказала:

— Прохор твой заявился. Час спустя, как ты уехал, приходил и сулился зайти ишо, да вот что-то нету его.

Обрадованный Григорий наскоро повечерял, пошел к Прохору. Тот встретил его, невесело улыбаясь, сказал:

— А я уж думал, что ты прямо из Вёшек зацвел в отступление.

— Откуда тебя черти принесли? — спросил Григорий, смеясь и хлопая верного ординарца по плечу.

— Ясное дело — с фронта.

— Удрал?

— Что ты, господь с тобой! Такой лихой вояка, да чтобы убегал? Приехал по закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо и на страшный суд ехать. Дела-то наши — табак, знаешь?

— Знаю. Ты расскажи, как это тебя из части отпустили?

— Это — песня длинная, после расскажу,— уклончиво ответил Прохор и помрачнел еще больше.

— Полк где?

— А чума его знает, где он зараз.

— Да ты когда же оттуда?

— Недели две назад.

— А где же ты был это время?

— Вот какой ты, ей-богу...— недовольно сказал Прохор и покосился на жену.— Где, да как, да чего... Где был — там уж меня нету. Сказал — расскажу, значит, расскажу. Эй, баба! Дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с командиром глонуть по маленькой. Есть, что ли? Нету? Ну, сбегай добудь, да чтобы на одной ноге обернулась! Отвыкла без мужа от военной дисциплины! Разболталась!

— И чего это ты расходился? — улыбаясь, спросила Прохорова жена.— Ты на меня не дюже шуми, хозяин ты тут небольшой, в году два дня дома бываешь.

— Все на меня шумят, а я на кого же зашумлю, окромя тебя? Погоди, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать, а пока терпи да поскорее надевай свою амуницию и беги!

После того как жена оделась и ушла, Прохор укоризненно поглядел на Григория, заговорил:

— Понятия у тебя, Пантелевич, никакого нету.. Не могу же я тебе при бабе всего рассказывать, а ты нажимаешь, как да что. Ну, как, поправился после тифу?

— Я-то поправился, рассказывай про себя. Что-то ты, вражий сын, скрытничаешь... Выкладывай: чего напутал? Как убег?

— Тут хуже, чем убег... После того как отвез тебя хворого, возвертаюсь в часть. Направляют меня в сотню, в третий взвод. А я же страшный охотник воевать! Два раза сходил в атаку, а потом думаю: «Тут мне и копыта откинуть прийдется! Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты, Проша, как пить дать!» А тут, как на грех, такие бои завязались, так нас жмут, что и воздохнуть не дают! Что ни прорыв — нас туда пихают; где неустойка

выходит,— опять же наш полк туда прут. За неделю в сотне одиннадцать казаков будто корова языком слизнула! Ну я и заскучал, даже вша на мне появилась от тоски.— Прохор закурил, протянул Григорию кисет, не спеша продолжал: — И вот припало мне возле самых Лисок в разъезде быть. Поехало нас трое. Едем по бугру рыском, во все стороны поглядываем, смотрим — из ярка вылазит красный и руки кверху держит Подскакиваем к нему, а он кричит: «Станичники! Я — свой! Не рубите меня, я перехожу на вашу сторону!» И черт меня попутал, с чего-то зло меня взяло, подскочил я к нему и говорю: «А ты, говорю, сукин сын, ежли взялся воевать, так сдаваться не должон! Подлюка ты, говорю, этакая. Не видишь, что ли, что мы и так насилу держимся? А ты сдаешься, укрепление нам делаешь?!» Да с тем ножнами его с седла и потянул вдоль спины. И другие казаки, какие были со мной, тоже ему втолковывают: «Разве это резон так воевать, крутиться, вертеться на все стороны? Взялись бы дружнее — вот бы и войне концы!» А черт его знал, что он, этот перебежчик, офицер? А он им аккурат и оказался! Как я его вгорячах вдарил ножнами, он побелел с лица и тихо так говорит: «Я — офицер, и вы не смейте меня бить! Я сам в старое время в гусарах служил, а к красным попал по набилизации, и вы меня доставьте к вашему командиру, там я ему все расскажу». Мы говорим: «Давай твой документ». А он гордо так отвечает: «Я с вами и говорить не желаю, ведите меня к вашему командиру!»

— Так чего ж ты об этом при жене не схотел гутарить? — удивленно прервал Григорий.

— До этого ишо не дошло, об чем я при ней не мог рассказывать, и ты меня, пожалуйста, не перебивай. Решили мы его доставить в сотню, а зря... Было бы нам его там же убить, и делу конец. Но мы его пригнали, как и полагается, а через день глядим — назначают нам его командиром сотни. Это как? Вот тут и началось! Вызывает он меня, спустя время, спрашивает: «Так-то ты сражаешься за единую неделимую Россию, сукин сын? Ты что мне говорил, когда меня в плен забирал, помнишь?» Я — туда, я — сюда, не дает он мне никакой пощады — и как вспомнит, что я его ножнами потянул, так аж весь затрясется! «Ты знаешь, говорит, что я — ротмистр гусарского полка и дворянин, а ты, хам, смог меня бить?» Вызывает раз, вызывает два, и нету мне от него никакой милости. Велит взводному без очереди меня в заставы и караулы посылать, наряды на

меня сыплются, как горох из ведра, ну, словом, съедает меня, стерва, поедом! И такую же гонку гонит на остальных двоих, какие вместе со мной в разъезде были, когда его в плен забирали. Ребяты терпели-терпели, а потом отзывают как-то меня и говорят: «Давайте его убьем, иначе он не даст нам жизни!» Подумал я и решил рассказать обо всем командиру полка, а убивать не дозволила совесть. При том моменте, когда забирали его в плен, можно было бы кокнуть, а уж после как-то рука у меня не подымалась... Жена курицу режет — и то я глаза зажмуряю, а тут человека надо убить...

— Убили-таки? — снова прервал Григорий.

— Погоди трошки, все узнаешь. Ну, рассказал я командиру полка, достиг до него, а он засмеялся и говорит: «Нечего тебе, Зыков, обижаться, раз ты его сам бил, и дисциплину он правильно устанавливает. Он хороший и знающий офицер». С тем я и ушел от него, а сам думаю: «Повесь ты этого хорошего офицера себе на гайтан заместо креста, а я с ним в одной сотне служить не согласный!» Попросил перевесть меня в другую сотню,— тоже ничего не получилось, не перевели. Тут я и надумал из части смыться. А как смоешься? Отодвинули нас в ближний тыл на недельный отдых, и тут меня сызнова черт попутал... Думаю: не иначе надо мне раздобыться каким-нибудь завалященьким триппеpишком, тогда попаду в околодок, а там и отступление подойдет, дело на это запохаживалось. И, чего сроду со мной не было,— начал я за бабами бегать, приглядываться, какая с виду ненадежней. А разве ее угадаешь? На лбу у нее не написано, что она больная, вот тут и подумай! — Прохор ожесточенно сплюнул, прислушался — не идет ли жена.

Григорий прикрыл ладонью рот, чтобы спрятать улыбку,— блестя сузившимися от смеха глазами, спросил:

— Добыл?

Прохор посмотрел на него слезящимися глазами. Взгляд их был грустен и спокоен, как у старой, доживающей век собаки. После недолгого молчания он сказал:

— А ты думаешь, легко его было добыть? Когда не надо — его ветром надует, а тут, как на пропасть, не найду, да и все, хучь криком кричи!

Полуотвернувшись, Григорий беззвучно смеялся, потом отнял от лица ладонь, прерывающимся голосом спросил:

— Не томи, ради Христа! Нашел или нет?

— Конечно, тебе — смех...— обиженно проговорил

Прохор.— Дурачье дело над чужой бедой смеяться, я так понимаю.

— Да я и не смеюсь... Дальше-то что?

— А дальше начал я за хозяйской дочерью притоптывать. Девка лет сорока, может — чуть помоложе. Из лица вся на угрях, и видимость, ну одним словом — не дай и не приведи! Подсказали соседи, что она недавно к фершалу учащивала. «Уж у этой, думаю, непременно разживусь!» И вот я вокруг нее, чисто молодой кочет, хожу, зоб надуваю и всякие ей слова. И откуда что у меня бралось, сам не пойму! — Прохор виновато улыбнулся и даже как будто слегка повеселел от воспоминаний.— И жениться обещал, и всякую другую пакость говорил... И так-таки достиг ее, улестил, и доходит дело близко до греха, а она тут как вдарится в слезы. Я так, я сяк, спрашиваю: «Может, ты больная, так это, мол, ничего, даже ишо лучше». А сам боюсь: дело ночное, как раз ишо кто-нибудь припрется в мякинник на этот наш шум. «Не кричи, говорю, за ради Христа! И ежели ты больная — не боись, я из моей к тебе любви на все согласный!» А она и говорит: «Милый мой Прошенька! Не больная я ни чуточку. Я — честная девка, боюся — через это и кричу». Не поверишь, Григорий Пантелевич, как она мне это сказала — так по мне холодный пот и посыпался! «Господи Исусе, думаю, вот это я нарвался. Ишо чего недоставало!..» Не своим голосом я у ней спрашиваю: «А чего ж ты, проклятая, к фершалу бегала? К чему ты людей в обман вводила?» — «Бегала я, говорит, к нему — притирку для чистоты лица брала». Схватился я тут за голову и говорю ей: «Вставай и уходи от меня зараз же, будь ты проклята, анчихрист страшный! Не нужна ты мне честная, и не буду я на тебе жениться!» — Прохор сплюнул с еще большим ожесточением, неохотно продолжал: — Так и пропали мои труды задаром. Пришел в хату, забрал свои манатки и перешел на другую квартиру в эту же ночь. Потом уж ребяты подсказали, и я от одной вдовы получил, чего мне требовалось. Только уж тут я действовал напрямки, спросил: «Больна?» — «Немножко, говорит, есть».— «Ну, и мне его не пуд надо». Заплатил ей за выручку двадцатку-керенку, а на другой день покрасовался на свою достижению и зафитилил в околодок, а оттуда прямо домой.

— Ты без коня приехал?

— Как так — без коня? С конем и с полной боевой выкладкой. Коня мне в околодок ребяты прислали. Только

не в этом дело; посоветуй: что мне бабе говорить? Или, может, лучше от греха к тебе пойтить переночевать?

— Нет уж, к черту! Ночуй дома Скажи, что раненый. Бинт есть?

— Есть личный пакет.

— Ну и действуй.

— Не поверит,— уныло сказал Прохор, но все же встал. Порывшись в сумах, ушел в горницу, негромко сказал оттуда: — Прийдет она — займи ее разговором, а я на одной ноге!

Григорий, сворачивая папироску, обдумывал план поездки. «Лошадей спрягем и поедем на паре,— решил он.— Надо на вечер выезжать, чтобы не видали наши, что Аксютку беру с собой. Хотя всё одно узнают...»

— Не досказал я тебе про сотенного.— Прохор, прихрамывая, вышел из горницы, подсел к столу.— Убили наши его на третий день, как я в околодок попал.

— Да ну?

— Ей-богу! В бою стукнули его сзади, на том дело и кончилось. Выходит, зазря я беду принимал, вот что досадно!

— Не нашли виноватого? — рассеянно спросил Григорий, поглощенный мыслями о предстоящей поездке.

— Когда там искать! Началась такая передвижка, что не до него было. Да что это баба моя пропала? Эдак и пить расхочется. Когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Не перегодим денек?

— Это к чему же?

— Я хучь бы вшей обтрес, неинтересно с ними ехать.

— Дорогой будешь обтрясать. Ждать дело не указывает. Красные в двух переходах от Вёшек.

— С утра поедем?

— Нет, на ночь. Нам лишь бы до Каргинской добраться, там и заночуем.

— А не прихватют нас красные?

— Надо быть насготове. Я вот что... Я думаю с собой Аксинью Астахову взять. Супротив ничего не имеешь?

— А мне-то что? Бери хучь двух Аксиньев... Коням будет тяжеловато.

— Тяжесть небольшая.

— Несподручно с бабами ездить... И на холеру она тебе сдалась? То бы мы одни и нужды не знали! — Прохор вздохнул, глядя в сторону, сказал: — Я так и знал, что ты

ее с собой поволокешь. Все женихаешься... Эх, кнут по тебе, Григорий Пантелевич, давно кричит горькими слезьми!

— Ну, это тебя не касается,— холодно сказал Григорий.— Жене об этом не разбреши.

— А раньше-то я разбрехивал? Ты хучь бы совесть поимел! А дом она на кого же бросит?

В сенцах послышались шаги. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился снег.

— Метель? — Прохор достал из шкафа стаканчики и только тогда спросил: — Да ты принесла чего-нибудь?

Румяная жена его достала из-за пазухи две запотевшие бутылки, поставила на стол.

— Ну вот и дорожку погладим! — оживленно сказал Прохор. Понюхав самогон, по запаху определил: — Первач! И крепкий до дьявола!

Григорий выпил два небольших стаканчика и, сославшись на усталость, ушел домой.

XXVI

— Ну, война кончилась! Пихнули нас красные так, что теперича до самого моря будем пятиться, пока не упремся задом в соленую воду,— сказал Прохор, когда выехали на гору.

Внизу, повитый синим дымом, лежал Татарский. За снежной розовеющей кромкой горизонта садилось солнце. Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом. В задке пароконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий. Рядом с ним сидела Аксинья, закутанная в донскую, опушенную поречьем шубу. Из-под белого пухового платка блестели, радостно искрились ее черные глаза. Григорий искоса посматривал на нее, видел нежно зарумяневшую на морозе щеку, густую черную бровь и синевато поблескивающий белок под изогнутыми заиневшими ресницами. Аксинья с живым любопытством осматривала заснеженную, сугробистую степь, натертую до глянца дорогу, далекие тонущие во мгле горизонты. Все было ново и необычно для нее, привыкшей не покидать дома, все привлекало ее внимание. Но изредка, опустив глаза и ощущая на ресницах приятный пощипывающий холодок инея, она улыбалась тому, что так неожиданно и странно сбылась давно пленившая ее мечта — уехать с Григорием куда-нибудь подальше от Татарского,

от родной и проклятой стороны, где так много она перестрадала, где полжизни промучилась с нелюбимым мужем, где все для нее было исполнено неумолчных и тягостных воспоминаний. Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и уже не думала ни о том, какой ценою досталось ей это счастье, ни о будущем, которое было задернуто такой же темной мглой, как и эти степные, манящие в даль горизонты.

Прохор, случайно оглянувшись, заметил трепетную улыбку на румяных и припухших от мороза губах Аксиньи, с досадой спросил:

— Ну, чего оскаляешься-то? Невеста, да и только! Рада, что из дому вырвалась?

— А ты думаешь, не рада? — звонко ответила Аксинья.

— Нашла радость... Глупая ты баба! Ишо не видно, чем эта прогулка кончится, и ты загодя не ухмыляйся, прибери зубы.

— Мне хуже не будет.

— Погляжу я на вас, и до того тошно мне становится...— Прохор яростно замахнулся на лошадей кнутом.

— А ты отвернись и — палец в рот,— смеясь, посоветовала Аксинья.

— Опять же оказалась ты глупая! Так я с пальцем в роте и должон до моря ехать? Выдумала!

— Через чего же это тебе тошнота прикинулась?

— Молчала бы! Муж-то где? Схватилась с чужим дядей и едешь черт-те куда! А ежели зараз Степан в хутор заявился, тогда как?

— Знаешь что, Проша, ты бы в наши дела не путался,— попросила Аксинья,— а то и тебе счастья не будет.

— Я в ваши дела и не путаюсь, на шута вы мне сдались! Сказать-то я могу свою мнению? Или мне с вами заместо кучера ехать и с одними коньми гутарить? Тоже выдумала! Нет, ты хучь серчай, Аксинья, хучь не серчай, а драть бы тебя надо доброй хворостиной, драть, да ишо и кричать не велеть! А насчет счастья меня не пужай, я его с собой везу. Оно у меня особое, такое, что и петь не поет и спать не дает... Но, проклятые! Всё бы вы шагом шли, сатаны лопоухие!

Улыбаясь, Григорий слушал, а потом примиряюще сказал:

— Не ругайтесь поперваму. Дорога нам лежит длинная, ишо успеете. Чего ты к ней привязываешься, Прохор?

— А того я к ней привязываюсь,— ожесточенно сказал

Прохор,— что пущай она мне зараз лучше поперек не говорит. Я зараз так думаю, что нету на белом свете ничего хуже баб! Это — такое крапивное семя... это, братец ты мой, у бога самая плохая выдумка — бабы! Я бы их, чертей вредных, всех до одной перевел, чтобы они и не маячили на свете! Вот я какой на них злой зараз! И чего ты смеешься? Дурачье дело — над чужой бедой смеяться! Подержи вожжи, я слезу на минуту

Прохор долго шел пешком, а потом угнездился в санях и разговора больше не заводил.

Ночевали в Каргинской. Наутро, позавтракав, снова тронулись в путь и к ночи оставили за собой верст шестьдесят дороги.

Огромные обозы беженцев тянулись на юг. Чем больше удалялся Григорий от юрта Вешенской станицы, тем труднее становилось найти место для ночлега. Около Морозовской стали попадаться первые воинские части казаков. Шли конные части, насчитывавшие всего по тридцать — сорок сабель, нескончаемо тянулись обозы. В хуторах все помещения к вечеру оказывались занятыми, и негде было не только переночевать, но и поставить лошадей. На одном из тавричанских участков, бесцельно проездив в поисках дома, где бы можно было переночевать, Григорий вынужден был провести ночь в сарае. К утру намокшая во время метели одежда замерзла, покоробилась и гремела при каждом движении. Почти всю ночь Григорий, Аксинья и Прохор не спали и только перед рассветом согрелись, разложив за двором костер из соломы.

Наутро Аксинья робко предложила:

— Гриша, может, передневали бы тут? Всю ночь промучились на холоду и почти не спали, может — отдохнем трошки?

Григорий согласился. С трудом он нашел свободный угол. Обозы с рассветом тронулись дальше, но походный лазарет, перевозивший сто с лишним человек раненых и тифозных, тоже остался на дневку.

В крохотной комнатушке, на грязном земляном полу спало человек десять казаков. Прохор внес полсть и мешок с харчами, возле самых дверей постелил соломы, взял за ноги и оттащил в сторону какого-то беспробудно спавшего старика, сказал с грубоватой лаской:

— Ложись, Аксинья, а то ты так переморилась, что и на себя стала не похожа.

К ночи на участке снова набилось полным-полно наро-

ду. До зари на проулках горели костры, слышались людские голоса, конское ржанье, скрип полозьев. Чуть забрезжил рассвет — Григорий разбудил Прохора, шепнул:

— Запрягай. Надо трогаться.

— Чего так рано? — зевая, спросил Прохор.

— Послухай.

Прохор приподнял от седельной подушки голову, услышал глухой и далекий раскат орудийного выстрела.

Умылись, поели сала и выехали из ожившего участка. В проулках рядами стояли сани, суетились люди, в предрассветной тьме кто-то хрипло кричал:

— Нет уж, хороните их сами! Пока мы выроем на шесть человек могилу — полдень будет!

— Та хиба ж мы обязаны их ховать? — спокойно спрашивал второй.

— Небось зароете! — кричал хрипатый — А не хочете — пусть лежат, тухнут у вас, мне дела нет!

— Та шо вы, господин дохтор! Нам колы усих ховать, яки из проезжих помырають, так тике це и робыть Мабуть, сами приберете?

— Иди к черту, олух царя небесного! Что мне, из-за тебя лазарет красным сдавать прикажешь?

Объезжая запрудившие улочку подводы, Григорий сказал:

— Мертвые никому не нужны...

— Тут до живых-то дела нету, а то — мертвые,— отозвался Прохор.

На юг двигались все северные станицы Дона. Многочисленные обозы беженцев перевалили через железную дорогу Царицын — Лихая, приближались к Манычу Находясь неделю в дороге, Григорий расспрашивал о татарцах, но в хуторах, через которые доводилось ему проезжать, татарцы не были: по всей вероятности, они уклонились влево и ехали, минуя слободы украинцев, через казачьи хутора на Обливскую. Только на тринадцатые сутки Григорию удалось напасть на след хуторян. Уже за железной дорогой, в одном из хуторов он случайно узнал, что в соседнем доме лежит больной тифом казак Вёшенской станицы. Григорий пошел узнать, откуда этот больной, и, войдя в низенькую хатенку, увидел лежавшего на полу старика Обнизова. От него он узнал, что татарцы уехали позавчера из этого хутора, что среди них много заболевших тифом, что двое уже умерли в дороге и что его, Обнизова, оставили тут по его собственному желанию.

— Коль почунеюсь и красные товарищи смилуются надо мной, не убьют — как-нибудь доберусь до дому, а нет — помру тут. Помирать-то все одно где, везде несладко...— прощаясь с Григорием, сказал старик.

Григорий спросил о здоровье отца, но Обнизов ответил, что ничего не может сказать, так как ехал на одной из задних подвод и от хутора Малаховского Пантелея Прокофьевича не видел.

На следующей ночевке Григорию повезло: в первом же доме, куда он зашел, чтобы попроситься переночевать, встретил знакомых казаков с хутора Верхне-Чирского. Они потеснились, и Григорий устроился возле печки. В комнате вповалку лежало человек пятнадцать беженцев, из них трое больных тифом и один обмороженный. Казаки сварили на ужин пшенной каши с салом, радушно предложили Григорию и его спутникам. Прохор и Григорий ели с аппетитом, Аксинья отказалась.

— Аль не голодная? — спросил Прохор, за последние дни без видимой причины изменивший свое отношение к Аксинье и обращавшийся с ней грубовато, но участливо.

— Что-то тошно мне...— Аксинья накинула платок, вышла во двор.

— Не захворала она? — обращаясь к Григорию, спросил Прохор.

— Кто ее знает.— Григорий отставил тарелку с кашей, тоже вышел во двор.

Аксинья стояла около крыльца, прижав к груди ладонь. Григорий обнял ее, с тревогой спросил:

— Ты чего, Ксюша?

— Тошно, и голова болит.

— Пойдем в хату, приляжешь.

— Иди, я зараз.

Голос у нее был глухой и безжизненный, движения вялые. Григорий пытливо посмотрел на нее, когда она вошла в жарко натопленную комнату, заметил горячий румянец на щеках, подозрительный блеск глаз. Сердце у него тревожно сжалось: Аксинья была явно больна. Он вспомнил, что и вчера она жаловалась на озноб и головокружение, а перед утром так вспотела, что курчеватые на шее прядки волос стали мокрые, словно после мытья, он заметил это, проснувшись на заре, и долго не сводил глаз со спавшей Аксиньи и не хотел вставать, чтобы не потревожить ее сон.

Аксинья мужественно переносила дорожные лишения,

она даже подбадривала Прохора, который не раз говаривал: «И что это за черт, за война, и кто ее такую выдумал? Едешь день-деньской, а приедешь — заночевать негде, и неизвестно, докуда же так будем командироваться?» Но в этот день не выдержала и Аксинья. Ночью, когда улеглись спать, Григорию показалось, что она плачет.

— Ты чего это? — спросил он шепотом.— Чего у тебя болит?

— Захворала я... Как же теперь будем? Бросишь меня?

— Ну вот, дура! Как же я тебя брошу? Не кричи, может — это так у тебя, приостыла с дороги, а ты уж испужалась.

— Гришенька, это — тиф!

— Не болтай зря! Ничего не видно; лоб у тебя холодный, может — и не тиф,— утешал Григорий, но в душе был убежден, что Аксинья заболела сыпняком, и мучительно раздумывал, как же поступить с ней, если болезнь свалит ее с ног.

— Ох, тяжело так ехать! — шептала Аксинья, прижимаясь к Григорию.— Ты глянь, сколько народу набивается на ночевках! Вши нас заедят, Гриша! А мне и обглядеть себя негде, скрозь — мужчины... Я вчера уж вышла в сарай, растелешилась, а их на рубахе... Господи, я сроду такой страсти не видала! Я как вспомню про них — и тошно мне становится, исть ничего не хочу... А вчера ты видал у этого старика, какой на лавке спал, сколько их? Прямо посверх чекменя полозеют.

— Ты об них не думай, заладила черт-те об чем! Ну вши — и вши, их на службе не считают,— с досадой прошептал Григорий.

— У меня все тело зудит.

— У всех зудит, чего ж теперь делать? Терпи. Приедем в Екатеринодар — там обмоемся.

— А чистое хучь не надевай,— со вздохом сказала Аксинья.— Пропадем мы от них, Гриша!

— Спи, а то завтра рано будем трогаться.

Григорий долго не мог уснуть. Не спала и Аксинья. Она несколько раз всхлипнула, накрыв голову полой шубы, потом долго ворочалась, вздыхала и уснула только тогда, когда Григорий, повернувшись к ней лицом, обнял ее. Среди ночи Григорий проснулся от резкого стука. Кто-то ломился в дверь, зычно кричал:

— А ну, открывайте! А то дверь сломаем! Поснули, проклятые!..

Хозяин, пожилой и смирный казак, вышел в сени, спросил:

— Кто такой? Чего вам надо? Ежли ночевать — так у нас негде, и так полным-полно, повернуться негде.

— Открывай, тебе говорят! — кричали с надворья.

В переднюю комнату, широко распахнув двери, ввалилось человек пять вооруженных казаков.

— Кто у тебя ночует? — спросил один из них, чугунно-черный от мороза, с трудом шевеля замерзшими губами.

— Беженцы. А вы кто такие?

Не отвечая, один из них шагнул в горницу, крикнул:

— Эй, вы! Разлеглись! Выметайтесь отсель зараз же! Тут войска становются. Подымайтесь, подымайтесь! Да попроворней, а то мы скоро вас вытряхнем!

— Ты кто такой, что так орешь? — хриплым спросонья голосом спросил Григорий и медленно поднялся.

— А вот я тебе покажу, кто я такой! — казак шагнул к Григорию, и в тусклом свете керосиновой лампчонки в руке его матово блеснуло дуло нагана.

— Вон ты какой шустрый...— вкрадчиво проговорил Григорий,— а ну-ка, покажи свою игрушку! — Быстрым движением он схватил казака за кисть руки, стиснул ее с такой силой, что казак охнул и разжал пальцы. Наган с мягким стуком упал на полсть. Григорий оттолкнул казака, проворно нагнулся, поднял наган, положил его в карман, спокойно сказал: — А теперь давай погутарим. Какой части? Сколько вас таких расторопных тут?

Казак, оправившись от неожиданности, крикнул:

— Ребяты! Сюда!

Григорий подошел к двери и, став на пороге, прислонясь спиной к косяку, сказал:

— Я сотник Девятнадцатого Донского полка. Тише! Не орать! Кто это там гавкает? Вы что это, милые станишники, развоевались? Кого это вы будете вытряхивать? Кто это вам такие полномочия давал? А ну, марш отседова!

— Ты чего шумишь? — громко сказал один из казаков.— Видали мы всяких сотников! Нам, что же, на базу ночевать? Очищайте помещению! Нам такой приказ отданый — всех беженцев выкидывать из домов, понятно вам? А то, ишь ты, расшумелся! Видали мы вас таких!

Григорий подошел в упор к говорившему,— не разжимая зубов, процедил:

— Таких ты ишо не видал. Сделать из одного тебя двух дураков? Так я сделаю! Да ты не пяться! Это не мой наган,

это я у вашего отобрал. На, отдашь ему, да поживей катитесь отседова, пока я бить не начал, а то я с вас скоро шерсти нарву! — Григорий легонько повернул казака, толкнул его к выходу.

— Дать ему взбучки? — раздумчиво спросил дюжий казак с лицом, закутанным верблюжьим башлыком. Он стоял позади Григория, внимательно осматривая его, переступая с ноги на ногу, поскрипывая огромными валенками, подшитыми кожей.

Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал:

— Слухай ты, ваше благородие или как там тебя: погоди, не намахивайся! Мы уйдем от скандалу. Но ты, по нонешним временам, на казаков не дюже напирай. Зараз опять подходит такое сурьезное время, как в семнадцатом году. Нарвешься на каких-нибудь отчаянных — и они из одного тебя не то что двоих — пятерых сделают! Мы видим, что офицер из тебя лихой, и по разговору, сдается мне, вроде из нашего брата ты, так ты уж зараз держи себя поаккуратней, а то греха наживешь...

Тот, у которого Григорий отобрал наган, сказал раздраженно:

— Будет тебе ему акафист читать! Пойдемте в соседнюю хату.— Он первый шагнул к порогу. Проходя мимо Григория, покосился на него, сожалеюще сказал: — Не хочем мы, господин офицер, связываться с тобой, а то бы мы тебя окрестили!

Григорий презрительно скривил губы:

— Это ты бы самое и крестил? Иди, иди, пока я с тебя штаны не снял! Крестильщик нашелся! Жалко, что наган твой отдал, таким ухватистым, как ты, не наганы носить, а овечьи чески!

— Пойдемте, ребяты, ну его к черту! Не тронь — оно вонять не будет! — добродушно посмеиваясь, проговорил один из казаков, не принимавших участия в разговоре.

Ругаясь, грохоча смерзшимися сапогами, казаки толпой вышли в сени. Григорий сурово приказал хозяину:

— Не смей открывать двери! Постучат и уйдут, а нет — разбуди меня.

Верхнечирцы, проснувшиеся от шума, вполголоса переговаривались.

— Вот как рухнулась дисциплина! — сокрушенно вздохнул один из стариков.— С офицером и как, сукины

сыны, разговаривают... А будь это в старое время? Их бы на каторгу упекли!

— Разговаривают — это что! Видал, драться намерялись! «Дать ему взбучки?» — говорит один, этот, нерубленая тополина, какой в башлыке. Вот враженяки, какие отчаянные стали!

— И ты им это так простишь, Григорий Пантелевич? — спросил один из казаков.

Укрываясь шинелью и с беззлобной улыбкой прислушиваясь к разговору, Григорий ответил:

— А чего с них возьмешь? Они зараз ото всех оторвались и никому не подчиняются; идут шайкой, без командного состава, кто им судья и кто начальник? Над ними тот начальник, кто сильнее их. У них небось и офицера-то ни одного в части не осталось. Видал я такие сотня, гольная безотцовщина! Ну, давайте спать.

Аксинья тихо прошептала:

— И на что ты с ними связывался, Гриша? Не наскакивай ты на таких, ради Христа! Они и убить могут, такие-то оглашенные.

— Спи, спи, а то завтра рано подымемся. Ну, как ты себя сознаешь? Не легчает тебе?

— Так же.

— Голова болит?

— Болит. Видно, не подыматься мне уж...

Григорий приложил ладонь ко лбу Аксиньи, вздохнул:

— Полышет-то от тебя как, будто от печки. Ну, ничего, не робей! Баба ты здоровая, поправишься.

Аксинья промолчала. Ее томила жажда. Несколько раз она выходила в кухню, пила противную степлившуюся воду и, преодолевая тошноту и головокружение, снова ложилась на полсть.

За ночь являлось еще партии четыре постояльцев. Они стучали прикладами в дверь, открывали ставни, барабанили в окна и уходили только тогда, когда хозяин, наученный Григорием, ругаясь, кричал из сенцев: «Уходите отсюда! Тут штаб бригады помещается!»

На рассвете Прохор и Григорий запрягли лошадей. Аксинья с трудом оделась, вышла. Всходило солнце. Из труб к голубому небу стремился сизый дымок. Озаряемая снизу солнцем, высоко в небе стояла румяная тучка. Густой иней лежал на изгороди, на крышах сараев. От лошадей шел пар.

Григорий помог Аксинье сесть в сани, спросил:

— Может, ты приляжешь? Так тебе ловчее будет.

Аксинья утвердительно кивнула головой. Она с молчаливой благодарностью взглянула на Григория, когда он заботливо укутал ей ноги, прикрыла глаза.

В полдень, когда остановились в поселке Ново-Михайловском, расположенном верстах в двух от шляха, кормить лошадей, Аксинья уже не смогла встать с саней. Григорий под руку ввел ее в дом, уложил на кровать, гостеприимно предложенную хозяйкой.

— Тебе плохо, родимая? — спросил он, наклоняясь над побледневшей Аксиньей.

Она с трудом раскрыла глаза, посмотрела затуманенным взором и снова впала в полузабытье. Григорий трясущимися руками снял с нее платок. Щеки Аксиньи были холодны как лед, а лоб пылал, и на висках, где проступала испарина, намерзли сосульки. К вечеру Аксинья потеряла сознание. Перед этим она попросила пить, шепнула:

— Только холодной воды, снеговой.— Помолчала и внятно произнесла: — Кличьте Гришу.

— Я тут. Чего ты хочешь, Ксюша? — Григорий взял ее руку, погладил неумело и застенчиво.

— Не бросай меня, Гришенька!

— Не брошу я. С чего ты берешь?

— Не бросай в чужой стороне... Помру я тут.

Прохор подал воды. Аксинья жадно припала спекшимися губами к краю медной кружки, отпила несколько глотков, со стоном уронила голову на подушку. Через пять минут она бессвязно и невнятно заговорила, Григорий, сидевший у изголовья, разобрал несколько слов: «Надо стирать... подсиньки добудь... рано...» Невнятная речь ее перешла в шепот. Прохор покачал головой, с укором сказал:

— Говорил тебе, не бери ее в дорогу! Ну, что теперь будем делать? Наказание, да и только, истинный бог! Ночевать тут будем? Оглох ты, что ли? Ночевать, спрашиваю, тут будем или тронемся дальше?

Григорий промолчал. Он сидел сгорбясь, не сводя глаз с побледневшего лица Аксиньи. Хозяйка — радушная и добрая женщина,— указывая глазами на Аксинью, тихонько спросила у Прохора:

— Жена ихняя? И дети есть?

— И дети есть, всё есть, одной удачи нам нету,— бормотнул Прохор.

Григорий вышел во двор, долго курил, присев на сани. Аксинью надо было оставлять в поселке, дальнейшая по-

ездка могла окончиться для нее гибелью. Это было Григорию ясно. Он вошел в дом, снова присел к кровати.

— Будем ночевать, что ли? — спросил Прохор.

— Да. Может, и завтра перестоим.

Вскоре пришел хозяин — низкорослый и щуплый мужик с пронырливыми, бегающими глазами. Постукивая деревяшкой (одна нога его была отнята по колено), он бодро прохромал к столу, разделся, недоброжелательно покосился на Прохора, спросил:

— Господь гостей дал? Откуда? — И, не дожидаясь ответа, приказал жене: — Живо дай чего-нибудь перехватить, голодный я, как собака!

Он ел долго и жадно. Шныряющий взгляд его часто останавливался на Прохоре, на неподвижно лежавшей Аксинье. Из горницы вышел Григорий, поздоровался с хозяином. Тот молча кивнул головой, спросил:

— Отступаете?

— Отступаем.

— Отвоевались, ваше благородие?

— Похоже.

— Это, что же, жена ваша? — хозяин кивнул в сторону Аксиньи.

— Жена.

— Зачем же ты ее на койку? А самим где спать? — с неудовольствием обратился он к жене.

— Больная, Ваня, жалко как-никак.

— Жалко! Всех их не ужалеешь, вон их сколько прет! Стесните вы нас, ваше благородие...

В голосе Григория прозвучала несвойственная ему просительность, почти мольба, когда он, обращаясь к хозяевам, прижимая руку к груди, сказал:

— Добрые люди! Пособите моей беде, ради Христа. Везть дальше ее нельзя, помрет, дозвольте оставить ее у вас. За догляд я заплачу, сколько положите, и всю жизню буду помнить вашу доброту... Не откажите, сделайте милость!

Хозяин вначале отказался наотрез, ссылаясь на то, что ухаживать за больной будет некогда, что она стеснит их, а потом, кончив обедать, сказал:

— Само собой — даром кто же будет за ней уход несть. А сколько бы вы положили за уход? Сколько вам будет не жалко положить за наши труды?

Григорий достал из кармана все деньги, какие имел, протянул их хозяину. Тот нерешительно взял пачку дон-

ских кредиток — слюнявя пальцы, пересчитал их, осведомился:

— А николаевских у вас нету?

— Нет.

— Может, керенки есть? Эти уж больно ненадежные...

— И керенок нету. Хотите, коня своего оставлю?

Хозяин долго соображал, потом раздумчиво ответил:

— Нет. Я бы, конечно, взял лошадь, нам в крестьянстве лошадь — первое дело, но по нынешним временам это не подходит, не белые, так красные все одно ее заберут, и попользоваться не прийдется. У меня вон какая-то безногая кобыленка держится, и то души нет, того и гляди и эту обротают и уведут со двора.— Он помолчал в раздумье и, как бы оправдываясь, добавил: — Вы не подумайте, что я такой ужасный жадный, упаси бог! Но посудите сами, ваше благородие: она пролежит месяц, а то и больше, то подай ей, то прими, опять же кормить ее надо, хлебец, молочко, какое-то там яичко, мясца, а ведь все это денежку стоит, так я говорю? Также и постирать за ней надо, и обмыть ее, и все такое прочее... То моя баба по хозяйству возилась, а то надо возле нее уход несть. Это дело нелегкое! Нет, вы уж не скупитесь, накиньте что-нибудь. Я — инвалид, видите — безногий, какой из меня добытчик и работник? Так, живем, чем бог пошлет, с хлеба да на квас перебиваемся...

С закипевшим глухим раздражением Григорий сказал:

— Я не скуплюсь, добрая твоя душа. Все деньги, какие были, я тебе отдал, я проживу и без денег. Чего же ты ишо хочешь с меня?

— Так уж и все деньги вы отдали! — недоверчиво усмехнулся хозяин.— При вашем жалованье у вас их должно быть целые сумки.

— Ты скажи прямо,— бледнея, проговорил Григорий: — Оставите вы у себя больную или нет?

— Нет, уж раз вы так считаетесь — оставлять ее нам нету резону.— Голос хозяина звучал явно обиженно.— Тоже, дело это не из простых... Жена офицера, то да се, соседи узнают, а там товарищи прийдут следом за вами, узнают и начнут тягать... Нет, в таком разе забирайте ее, может, кто из соседей согласится, возьмет.— С видимым сожалением он вернул Григорию деньги, достал кисет и начал сворачивать цигарку.

Григорий надел шинель, сказал Прохору:

— Побудь возле нее, я пойду приищу квартиру.

Он уже взялся за дверную скобу, когда хозяин остановил его:

— Погодите, ваше благородие, чего вы спешите? Вы думаете, мне не жалко бедную женщину? Очень даже жалко, и сам я в солдатах служил и уважаю ваше звание и чин. А к этим деньгам вы не могли бы чего-нибудь добавить?

Тут не выдержал Прохор. Побагровев от возмущения, он прорычал:

— Чего же тебе добавлять, аспид ты безногий?! Отломать тебе последнюю ногу, вот чего тебе надо добавить! Григорий Пантелевич! Дозволь, я его изватлаю, как цуцика, а после погрузим Аксинью и поедем, будь он трижды, анафема, проклят!..

Хозяин выслушал задыхающуюся речь Прохора, не прервав его ни словом; под конец сказал:

— Напрасно вы меня обижаете, служивые! Тут — дело полюбовное, и ругаться, остужаться нам не из чего. Ну, чего ты на меня накинулся, казачок? Да разве я о деньгах говорю? Я вовсе не об этой добавке речь вел! Я к тому сказал, что, может, у вас есть какое лишнее вооружение, ну скажем, винтовка или какой ни на есть револьвер... Вам все равно это, иметь или не иметь, а для нас, по нынешним временам, это — целое состояние. Для дома непременно надо оружие иметь! Вот к чему я это подводил! Давайте деньги, какие давали, и прикиньте к этому винтовочку, и — по рукам, оставляйте вашу больную, будем глядеть за ней, как за своей родной, вот вам крест!

Григорий посмотрел на Прохора, тихо сказал:

— Дай ему мою винтовку, патронов, а потом иди запрягай. Нехай остается Аксинья... Бог мне судья, но везть ее на смерть я не могу!

XXVII

Дни потянулись серые и безрадостные. Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. С утра садился в сани, ехал по раскинувшейся бескрайней, заснеженной степи, к вечеру, приискав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать. И так изо дня в день. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее, серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии,

судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону,— на Кубани уже не смогут удержаться...

Война подходила к концу. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, разъезжались по домам. Донцы были сломлены. Обескровленная боями и тифом, потерявшая три четверти состава, Добровольческая армия была не в силах одна противостоять напору окрыленной успехами Красной Армии.

Среди беженцев шли разговоры, что на Кубани растет возмущение, вызванное зверской расправой генерала Деникина над членами Кубанской Рады. Говорили, что Кубань готовит восстание против Добровольческой армии и что будто бы уже ведутся переговоры с представителями Красной Армии о беспрепятственном пропуске советских войск на Кавказ. Упорно говорили и о том, что в станицах Кубани и Терека к донцам относятся резко враждебно, так же как и к добровольцам, и что якобы где-то около Кореновской уже произошел первый большой бой между донской дивизией и кубанскими пластунами.

Григорий на остановках внимательно прислушивался к разговорам, с каждым днем все больше убеждаясь в окончательном и неизбежном поражении белых. И все же временами у него рождалась смутная надежда на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные и враждующие между собою силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части. Но после сдачи Ростова он утратил эту надежду, и слух о том, что под Батайском после упорных боев красные начали отступать,— встретил недоверчиво. Угнетаемый бездельем, он хотел было влиться в какую-либо воинскую часть, но когда предложил это Прохору,— тот решительно воспротивился.

— Ты, Григорий Пантелевич, видать, окончательно спятил с ума! — возмущенно заявил он.— За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело конченое, сам видишь, чего же мы будем себя в трату давать зазря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо, как ни мога скорее, уезжать от греха подальше, а ты вон какую чертовщину порешь! Нет уж, давай, пожалуйста, мирно, по-стариковски отступать. Мы с тобой и так предостаточно навоевались за пять лет, зараз нехай другие пробуются! Из-за этого я триппер добывал, чтобы мне сызнова на фронте каль-

ячить? Спасибо! Уважил! Я этой войной так наелся, что до сих пор рвать тянет, как вспомню о ней! Хочешь — ступай сам, а я не согласный. Я тогда подамся в госпиталь, с меня хватит!

После долгого молчания Григорий сказал:

— Будь по-твоему. Поедем на Кубань, а там видно будет.

Прохор вел свою линию: в каждом крупном населенном пункте он разыскивал фельдшера, приносил порошки или питье, но лечился без особенного усердия, и на вопрос Григория, почему он, выпив один порошок остальные уничтожает, старательно затаптывая в снег,— объяснил это тем, что хочет не излечиться, а только заглушить болезнь, так как при этом условии, в случае переосвидетельствования, ему будет легче уклониться от посылки в часть. В станице Великокняжеской какой-то бывалый казак посоветовал ему лечиться отваром из утиных лапок. С той поры Прохор, въезжая в хутор или станицу, спрашивал у первого встречного: «А скажите на милость, утей у вас тут водят?» И когда недоумевающий житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток разводить нет расчета,— Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете тут: чисто нелюди! Вы небось и утиного кряку сроду не слыхали! Пеньки степовые!» Потом, обращаясь к Григорию, с горьким сожалением добавлял: «Не иначе, поп нам дорогу перешел! Ни в чем нету удачи! Ну, будь у них тут утки — зараз же купил бы одну, никаких денег не жалеючи, либо украл бы, и пошли бы мои дела на поправку, а то уж дюже моя болезня разыгрывается! Спервоначалу была забавой, только дремать в дороге не давала, а зараз, проклятая, становится чистым наказанием! На санях не удержишься!»

Не встречая сочувствия со стороны Григория, Прохор надолго умолкал и иногда по целым часам ехал, не проронив ни слова, сурово нахохлившись.

Томительно длинными казались Григорию уходившие на передвижение дни, еще более долгими были нескончаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Сидя на санях, устремив затуманенный взор в снежные просторы исполненной мертвого безмолвия степи, или лежа ночью с закрытыми глазами и стиснутыми зубами где-нибудь в душной, пере-

полненной людьми комнатушке,— думал все об одном: об Аксинье, больной, обеспамятевшей; брошенной в безвестном поселке, о близких, оставленных в Татарском... Там, на Дону, была Советская власть, и Григорий постоянно с тоскливой тревогой спрашивал себя: «Неужто будут за меня терзать маманю или Дуняшку?» И тотчас же начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо. Тревога постепенно угасала, мысль, что старуха мать будет отвечать за него, уже казалась ему невероятной, дикой, ни на чем не основанной. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью; он боялся, что не уберегут их от тифа, и в то же время чувствовал, что, при всей его любви к детям, после смерти Натальи уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой...

В одном из сальских зимовников они с Прохором прожили четыре дня, решив дать лошадям отдых. За это время у них не раз возникали разговоры о том, что делать дальше. В первый же день, как только приехали на зимовник, Прохор спросил:

— Будут наши на Кубани держать фронт или потянут на Кавказ? Как думаешь?

— Не знаю. А тебе не все равно?

— Придумал тоже! Как же это мне могет быть все равно? Этак нас загонют в бусурманские земли, куда-нибудь под турка, а потом и пой репку там?

— Я тебе не Деникин, и ты меня об этом не спрашивай, куда нас загонют,— недовольно отвечал Григорий.

— Я потому спрашиваю, что поимел такой слух, будто на речке Кубани сызнова начнут обороняться, а к весне тронутся восвояси.

— Кто это будет обороняться? — усмехнулся Григорий.

— Ну, казаки и кадеты, окромя кто же?

— Дурацкие речи ведешь! Повылазило тебе, не видишь, что кругом делается? Все норовят поскорее удрать, кто же обороняться-то будет?

— Ох, парень, я сам вижу, что дело наше — табак, а все как-то не верится...— вздохнул Прохор.— Ну, а на случай, ежели прийдется в чужие земли плыть или раком полозть, ты — как? Тронешься?

— А ты?

— Мое дело такое: куда ты — туда и я. Не оставаться же мне одному, ежели народ поедет.

— Вот и я так думаю. Раз уж попали мы на овечье положение,— значит, надо за баранами держаться...

— Они, бараны-то, иной раз черт-те куда сдуру прут... Нет, ты эти побаски брось! Ты дело говори!

— Отвяжись, пожалуйста! Там видно будет. Чего мы с тобой раньше времени ворожить будем!

— Ну, и аминь! Больше пытать у тебя ничего не буду,— согласился Прохор.

Но на другой день, когда пошли убирать лошадей, снова вернулся к прежнему разговору.

— Про зеленых ты слыхал? — осторожно спросил он, делая вид, будто рассматривает держак вил-тройчаток.

— Слыхал. Дальше что?

— Это ишо какие такие зеленые проявились? Они за кого?

— За красных.

— А с чего ж они зелеными кличутся?

— Чума их знает, в лесах хоронются, должно, от этого и кличка.

— Может, и нам с тобой позеленеть? — после долгого раздумья несмело предложил Прохор.

— Что-то охоты нету.

— А окромя зеленых, нету никаких таких, чтобы к дому поскорей прибиться? Мне-то один черт — зеленые, или синие, или какие-нибудь там яично-желтые, я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых спущал...

— Потерпи, может — и такие проявются,— посоветовал Григорий.

В конце января, в туманный ростепельный полдень, Григорий и Прохор приехали в слободу Белую Глину. Тысяч пятнадцать беженцев сбилось в слободе, из них добрая половина — больных сыпняком. По улицам в поисках квартир и корма лошадям ходили казаки в куцых английских шинелях, в полушубках, в бешметах, разъезжали всадники и подводы. Десятки истощенных лошадей стояли во дворах возле яслей, уныло пережевывая солому; на улицах, в переулках виднелись брошенные сани, обозные брички, зарядные ящики. Проезжая по одной из улиц, Прохор всмотрелся в привязанного к забору высокого гнедого коня, сказал:

— А ить это кума Андрюшки конь! Стал быть, наши хуторные тут.— И проворно соскочил с саней, пошел в дом узнать.

Через несколько минут из дома, накинув внапашку шинель, вышел Андрей Топольсков — кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом руку.

— С хуторским обозом едешь? — спросил Григорий.

— Вместе нужду трепаем.

— Ну, как ехали?

— Езда известная... После каждой ночевки людей и лошадей оставляем...

— Старик-то мой живой-здоровый?

Глядя куда-то мимо Григория, Топольсков вздохнул:

— Плохо, Григорий Пантелевич, плохие дела... Поминай отца, вчера на́ вечер отдал богу душу, скончался...

— Похоронили? — бледнея, спросил Григорий.

— Не могу сказать, нынче не был там. Поедем, я укажу квартеру... Держи, кум, направо, четвертый дом с правой руки от угла.

Подъехав к просторному, крытому жестью дому, Прохор остановил лошадей возле забора, но Топольсков посоветовал заехать во двор.

— Тут тоже тесновато, человек двадцать народу, но как-нибудь поместитесь,— сказал он и соскочил с саней, чтобы открыть ворота.

Григорий первый вошел в жарко натопленную комнату. На полу вповалку лежали и сидели знакомые хуторяне. Кое-кто чинил обувь и упряжь, трое, в числе их старик Бесхлебнов, в супряге с которым ехал Пантелей Прокофьевич, ели за столом похлебку. Казаки при виде Григория встали, хором ответили на короткое приветствие.

— Где же отец? — спросил Григорий, снимая папаху, оглядывая комнату.

— Беда у нас... Пантелей Прокофич уж упокойник,— тихо ответил Бесхлебнов и, вытерев рукавом чекменя рот, положил ложку, перекрестился.— Вчера на ночь преставился, царство ему небесное.

— Знаю. Похоронили?

— Нет ишо. Мы его нынче собирались похоронять, а зараз он вот тут, вынесли его в холодную горницу. Пройди сюда.— Бесхлебнов открыл дверь в соседнюю комнату, словно извиняясь, сказал: — С мертвым ночевать в одной комнатухе не схотели казаки, дух чижелый, да тут ему и лучше... Тут не топят хозяева.

В просторной горнице резко пахло конопляным семе-

нем, мышами. Весь угол был засыпан просом, коноплей; на лавке стояли кадки с мукой и маслом. Посреди комнаты на полсти лежал Пантелей Прокофьевич. Григорий отстранил Бесхлебнова, вошел в горницу, остановился около отца.

— Две недели хворал,— вполголоса говорил Бесхлебнов.— Ишо под Мечеткой повалил его тиф. Вот где припало упокоиться твоему папаше... Такая-то наша жизня...

Григорий, наклонясь вперед, смотрел на отца. Черты родного лица изменила болезнь, сделала их странно непохожими, чужими. Бледные, осунувшиеся щеки Пантелея Прокофьевича заросли седой щетиной, усы низко нависли над ввалившимся ртом, глаза были полузакрыты, и синеватая эмаль белков уже утратила искрящуюся живость и блеск. Отвисшая нижняя челюсть старика была подвязана красным шейным платком, и на фоне красной материи седые курчеватые волосы бороды казались еще серебристее, белее.

Григорий опустился на колени, чтобы в последний раз внимательнее рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения: по серому, восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках, ползали вши. Они покрывали лицо живой, движущейся пеленой, кишели в бороде, копошились в бровях, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя...

* * *

Григорий и двое казаков выдолбили пешнями в мерзлом, чугунно-твердом суглинке могилу, Прохор из обрезков досок кое-как сколотил гроб. На исходе дня отнесли Пантелея Прокофьевича и зарыли в чужой ставропольской земле. А час спустя, когда по слободе уже зажглись огни, Григорий выехал из Белой Глины по направлению на Новопокровскую.

В станице Кореновской он почувствовал себя плохо. Полдня потратил Прохор на поиски доктора и все же нашел какого-то полупьяного военного врача, с трудом уговорил его, привел на квартиру. Не снимая шинели, врач осмотрел Григория, пощупал пульс, уверенно заявил:

— Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие, иначе подомрете в дороге.

— Дожидаться красных? — криво усмехнулся Григорий.

— Ну, красные, положим, еще далеко.

— Будут близко...

— Я в этом не сомневаюсь. Но вам лучше остаться. Из двух зол я бы предпочел это, оно — меньшее.

— Нет, я уж как-нибудь поеду,— решительно сказал Григорий и стал натягивать гимнастерку.— Лекарства вы мне дадите?

— Поезжайте, дело ваше. Я должен был дать вам совет, а там — как вам угодно. Что касается лекарств, то лучшее из них — покой и уход; можно бы прописать вам кое-что, но аптека эвакуирована, а у меня ничего нет, кроме хлороформа, йода и спирта.

— Дайте хучь спирту!

— С удовольствием. В дороге вы все равно умрете, поэтому спирт ничего не изменит. Пусть ваш денщик идет со мной, тысчонку грамм я вам отпущу, я — добрый...— Врач козырнул, вышел, нетвердо шагая.

Прохор принес спирту, добыл где-то плохонькую пароконную повозку, запряг лошадей, с мрачной иронией доложил, войдя в комнату:

— Коляска подана, ваше благородие!

И снова потянулись тягостные, унылые дни.

На Кубань из предгорий шла торопливая южная весна. В равнинных степях дружно таял снег, обнажались жирно блестевшие черноземом проталины, серебряными голосами возговорили вешние ручьи, дорога зарябила просовами, и уже по-весеннему засияли далекие голубые дали, и глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо.

Через два дня открылась солнцу озимая пшеница, белый туман заходил над пашнями. Лошади уже хлюпали по оголившейся от снега дороге, выше щеток проваливаясь в грязь, застревая в балочках, натужно выгибая спины, дымясь от пота. Прохор по-хозяйски подвязал им хвосты, часто слезал с повозки, шел сбоку, с трудом вытаскивая из грязи ноги, бормотал:

— Это не грязь, а смола липучая, истинный бог! Кони не просыхают от места и до места.

Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно ехать без собеседника; он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил:

— До чего грязь тут крутая! Слезь, попробуй! И охота тебе хворать!

— Иди к черту! — чуть слышно шептал Григорий.

Встречаясь с кем-либо, Прохор спрашивал:

— Дальше ишо гуще грязь или такая же?

Ему, смеясь, отвечали шуткой, и Прохор, довольный тем, что перебросился с живым человеком словом, некоторое время шел молча, часто останавливая лошадей, вытирая со своего коричневого лба ядреный зернистый пот. Их обгоняли конные, и Прохор, не выдержав, останавливал проезжавших, здоровался, спрашивал, куда едут и откуда сами родом, под конец говорил:

— Зря едете. Туда дальше ехать невозможно. Почему? Да потому, что там такая грязюка,— встречные люди говорили,— что кони плывут по пузо, на повозках колесы не крутются, а пешие, какие мелкого росту,— прямо на дороге падают и утопают в грязи. Куцый кобель брешет, а я не брешу! Зачем мы едем? Нам иначе нельзя, я хворого архирея везу, ему с красными никак нельзя жить вместе...

Большинство конников, беззлобно обругав Прохора, ехало дальше, а некоторые, перед тем как отъехать, внимательно смотрели на него, говорили:

— С Дону и дураки отступают? У вас в станице все такие, как ты?

Или еще что-нибудь в этом роде, но не менее обидное. Только один кубанец, отбившийся от партии станичников, всерьез рассердился на Прохора за то, что тот задержал его глупым разговором, и хотел было вытянуть его через лоб плетью, но Прохор с удивительным проворством вскочил на повозку, выхватил из-под полсти карабин, положил его на колени. Кубанец отъехал, матерно ругаясь, а Прохор, хохоча во всю глотку, орал ему вслед:

— Это тебе не под Царицыном в кукурузе хорониться! Пеношник — засученные рукава! Эй, вернись, мамалыжная душа! Налетел? Подбери свой балахон, а то в грязи захлюстаешься! Раскрылатился, куроед! Бабий окорок! Поганого патрона нету, а то бы я тебе намахнулся! Брось плеть, слышишь?!

Дурея от скуки, от безделья, Прохор развлекался как мог.

А Григорий со дня начала болезни жил как во сне. Временами терял сознание, потом снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним наклонился Прохор.

— Ты ишо живой? — спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза Григория.

Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную бархатисто-черную линию, с криком летели

в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок. Одуряюще пахло нагретой землей, травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все кругом было какое-то нереальное, неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади, приглушенные расстоянием, глухо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку согласно и размеренно выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские голоса; резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания Григория доходило все это словно из другого мира. Напрягши всю волю, он вслушался в голос Прохора, с величайшим усилием понял — Прохор спрашивал у него:

— Молоко будешь пить?

Григорий, еле шевеля языком, облизал спекшиеся губы, почувствовал, как в рот ему льется густая, со знакомым пресным привкусом, холодная жидкость. После нескольких глотков он стиснул зубы. Прохор заткнул горлышко фляжки, снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных Прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос:

— Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?

На лице Григория отразились страдание и тревога; еще раз он собрал в комок волю, прошептал:

— Вези... пока помру...

По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и успокоенно закрыл глаза, как облегчение принимая беспамятство, погружаясь в густую темноту забытья, уходя от всего этого крикливого, шумного мира...

XXVIII

За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно: беспросветной темной ночью очнулся он от резкого, пронизывающего насквозь холода. По дороге в несколько рядов двигались подводы. Судя по голосам, по неумолчному глухому говору колес,— обоз был огромный. Подвода, на которой ехал Григорий, находилась где-то в средине этого обоза. Лошади шли шагом. Прохор почмокивал губами, изредка простуженным голосом хрипел: «Но-о-о, дружки!» — и взмахивал кнутом. Григорий слышал тонкий посвист ременного кнута, чувствовал, как,

брякнув вальками, лошади сильнее влегали в постромки, повозка двигалась быстрее, иногда постукивая концом дышла в задок передней брички.

С трудом Григорий натянул на себя полу тулупа, лег на спину. По черному небу ветер гнал на юг сплошные клубящиеся тучи. Редко-редко в крохотном просвете желтой искрой вспыхивала на миг одинокая звезда, и снова непроглядная темень окутывала степь, уныло свистал в телеграфных проводах ветер, срывался и падал на землю редкий и мелкий, как бисер, дождь.

С правой стороны дороги надвинулась походная колонна конницы. Григорий услышал издавна знакомый согласный, ритмический перезвяк подогнанного казачьего снаряжения, глухое и тоже согласное чмоканье по грязи множества конских копыт. Прошло не меньше двух сотен, а топот все еще звучал; по обочине дороги шел, вероятно, полк. И вдруг впереди, над притихшей степью, как птица, взлетел мужественный грубоватый голос запевалы:

Ой, как на речке было, братцы, на Камышинке,
На славных степях, на саратовских...

И многие сотни голосов мощно подняли старинную казачью песню, и выше всех всплеснулся изумительной силы и красоты тенор подголоска. Покрывая стихающие басы, еще трепетал где-то в темноте звенящий, хватающий за сердце тенор, а запевала уже выводил:

Там жили, проживали казаки — люди вольные,
Все донские, гребенские да яицкие...

Словно что-то оборвалось внутри Григория... Внезапно нахлынувшие рыдания потрясли его тело, спазма перехватила горло. Глотая слезы, он жадно ждал, когда запевала начнет, и беззвучно шептал вслед за ним знакомые с отроческих лет слова:

Атаман у них — Ермак, сын Тимофеевич,
Есаул у них — Асташка, сын Лаврентьевич...

Как только зазвучала песня,— разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком, чутком молчании; лишь стук колес да чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Она бесхитростными, простыми словами рассказывала о

вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати; ходивших по Дону и Волге на легких воровских стругах; грабивших орленые царские корабли; «щупавших» купцов, бояр и воевод; покорявших далекую Сибирь... И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа...

Полк прошел. Песенники, обогнав обоз, уехали далеко. Но еще долго в очарованном молчании двигался обоз, и на повозках не слышалось ни говора, ни окрика на уставших лошадей. А из темноты издалека плыла, ширилась просторная, как Дон в половодье, песня:

Они думали все думушку единую:
Уж как лето проходит, лето теплое,
А зима застает, братцы, холодная.
Как и где-то нам, братцы, зимовать будет?
На Яик нам идтить,— переход велик,
А на Волге ходить нам,— все ворами слыть,
Под Казань-град идтить,— да там царь стоит,
Как грозный-то царь, Иван Васильевич...

Уж и песенников не стало слышно, а подголосок звенел, падал и снова взлетал. За ним следили всё с тем же напряженным и мрачным молчанием.

...И еще, как сквозь сон, помнил Григорий: очнулся он в теплой комнате,— не раскрывая глаз, всем телом ощутил приятную свежесть чистого постельного белья, в ноздри ему ударил терпкий запах каких-то лекарств. В первый момент он подумал, что находится в лазарете, но из соседней комнаты донесся взрыв безудержного мужского хохота, звон посуды, зазвучали нетрезвые голоса. Кто-то знакомый басил:

— ...тоже умник нашелся! Надо было разузнать, где наша часть, мы бы и пособили. Ну, пей, какого ты черта губы развешал?!

Плачущим пьяным голосом Прохор отвечал:

— Да господи боже мой, почем же я знал? Мне-то, думаете, легко было с ним нянчиться? Жевками, как малого дитя, кормил, молоком отпаивал, истинный Христос! Нажую ему хлеба и пихаю в рот, ей-богу! Клинком зубы разжимал... А один раз зачал ему молоко в рот лить, а он захлебнулся и чуть не помер... Ить это подумать только!

— Купал его вчера!

— И купал его и машинкой волосья постриг, а на молоко все деньги прохарчил... Да мне их не жалко, прах их

возьми! Но вот как это было жевать и с рук кормить его? Думаешь, просто? Не говори, что это просто было, а то я тебя вдарю и на чин твой не погляжу!

В комнату к Григорию вошли Прохор, Харлампий Ермаков и в сдвинутой на затылок серой каракулевой папахе красный, как бурак, Петро Богатырев, Платон Рябчиков и еще двое незнакомых казаков.

— Он глядит!!! — дико закричал Ермаков, неверными шагами устремляясь к Григорию.

Размашистый и веселый Платон Рябчиков, потрясая бутылкой, плача, орал:

— Гриша! Родной ты мой! Вспомни, как на Чиру гуляли! А воевали как? Где наша доблесть девалась?! Что с нами генералы вытворяют и что они сделали с нашей армией?! В кровину их и в сердце! Оживел? На, выпей, сразу почунéешься! Это — чистый спирт!

— Насилу нашли тебя! — обрадованно сияя черными маслеными глазами, бормотал Ермаков. И тяжело опустился на койку Григория, вдавил ее своей тяжестью.

— Где мы? — еле слышно спросил Григорий, с трудом ворочая глазами, обводя ими знакомые лица казаков.

— Екатеринодар заняли! Скоро пыхнем дальше! Пей! Григорий Пантелевич! Милушка ты наш! Встань, ради бога, я тебя, лежачего, зрить не могу! — Рябчиков повалился Григорию в ноги, но Богатырев, молчаливо улыбавшийся и по виду бывший трезвее всех, схватил его за поясной ремень, без труда приподнял, бережно положил на пол.

— Возьми у него бутылку! Выльется! — испуганно воскликнул Ермаков и с широкой пьяной улыбкой, обращаясь к Григорию, сказал: — Знаешь, с чего мы гуляем? Туттаки от неудовольствия, а тут припало казачкáм на чужбяк поджиться... Винный склад разграбили, чтобы красным не достался... Что там было-о-о... И во сне такое не приснится! В цистерну начали бить из винтовок: пробьют — а из нее цевкой спирт льется. Всю изрешетили, и каждый возле пробоины стоит, подставляет, кто шапку, кто ведро, кто фляжку, а иные прямо пригорошни держут, и тут же пьют... Двоих добровольцев зарубили, какие охраняли склад, ну, дорвались, и пошла потеха! Один казачишка при мне полез на цистерну, хотел конскую цибарку зачерпнуть прямо из вольного, сорвался туда и утоп. Пол цементовый, враз натекло спирту по колено, бродют по нем, нагинаются, пьют, как кони в речке, прямо из-под ног, и тут же ложатся... И смех и грех! Там не один захлебнется до смерти. Вот

и мы там поджились. Нам много не надо: прикатили бочонок ведер на пять, ну, нам и хватит. Гуляй, душа! Все одно — пропадает тихий Дон. Платона там за малым не утопили. Повалили на пол, начали ногами толочь, он хлебнул раза два и готов. Уж я его насилу вытянул оттедова...

Ото всех от них резко разило спиртом, луком, табаком. Григорий почувствовал легкий приступ тошноты, головокружение,— улыбаясь слабой, вымученной улыбкой, закрыл глаза.

Неделю он пролежал в Екатеринодаре, на квартире у знакомого Богатыреву врача, медленно поправляясь после болезни, потом, как говорил Прохор, «пошел на поправку» и в станице Абинской в первый раз за время отступления сел на коня.

* * *

В Новороссийске шла эвакуация. Пароходы увозили в Турцию российских толстосумов, помещиков, семьи генералов и влиятельных политических деятелей. На пристанях день и ночь шла погрузка. Юнкера работали в артелях грузчиков, заваливая трюмы пароходов военным имуществом, чемоданами и ящиками сиятельных беженцев.

Части Добровольческой армии, опередив в бегстве донцов и кубанцев, первыми докатились до Новороссийска, начали грузиться на транспортные суда. Штаб Добровольческой армии предусмотрительно перебрался на прибывший в порт английский дредноут «Император Индии». Бои шли около Тоннельной. Десятки тысяч беженцев заполняли улицы города. Воинские части продолжали прибывать. Около пристаней шла неописуемая давка. Брошенные лошади тысячными табунами бродили по известняковым склонам гор, окружающих Новороссийск. На прилегавших к пристаням улицах завалами лежали казачьи седла, снаряжение, воинское имущество. Все это было уже никому не нужно. По городу ходили слухи о том, что на суда будет погружена только Добровольческая армия, а донцы и кубанцы походным порядком пойдут в Грузию.

Утром 25 марта Григорий и Платон Рябчиков пошли на пристань узнать, грузятся ли части Второго Донского корпуса, так как накануне среди казаков распространился слух, будто генерал Деникин отдал приказ: вывезти в Крым всех донцов, сохранивших вооружение и лошадей.

Пристань запрудили калмыки Сальского округа. Они пригнали с Маныча и Сала косяки лошадей и верблюдов, до самого моря довезли свои деревянные жилые будки. Нанюхавшись в толпе пресных запахов бараньего сала, Григорий и Рябчиков подошли к самым сходням стоявшего у причала большого транспортного парохода. Сходни охранялись усиленным караулом офицеров Марковской дивизии. Около, ожидая погрузки, толпились донцы-артиллеристы. На корме парохода стояли орудия, накрытые брезентами защитного цвета. С трудом протискавшись вперед, Григорий спросил у молодцеватого черноусого вахмистра:

— Какая это батарея, станишник?

Вахмистр покосился на Григория, неохотно ответил:

— Тридцать шестая.

— Каргиновская?

— Так точно.

— Кто тут заведует погрузкой?

— А вот он стоит у перил, полковник какой-то.

Рябчиков тронул Григория за рукав, злобно сказал:

— Пойдем отседова, ну их к черту! Разве у них тут толку добьешься? Когда воевали — нужны были, а зараз мы им ни к чему...

Вахмистр улыбнулся, подмигнул выстроившимся в очередь батарейцам:

— Усчастливились вы, артиллеристы! Господ офицеров, и то не берут.

Полковник, наблюдавший за погрузкой, проворно шел по сходням; следом за ним, спотыкаясь, спешил лысый чиновник в распахнутой дорогой шубе. Он умоляюще прижимал к груди котиковую шапку, что-то говорил, и на потном лице его и в близоруких глазах было такое просительное выражение, что полковник, ожесточаясь, отворачивался от него, грубо кричал:

— Я вам уже сказал раз! Не приставайте, иначе я прикажу свести вас на берег! Вы с ума сошли! Куда, к черту, мы возьмем ваше барахло? Вы что, ослепли? Не видите, что́ творится? А, да ну вас совсем! Да жалуйтесь, ради бога, хоть самому генералу Деникину! Сказал, не могу,— и не могу, вы русский язык понимаете?

Когда он, отмахиваясь от назойливого чиновника, проходил мимо Григория, тот преградил ему путь и, приложив руку к козырьку фуражки, волнуясь спросил:

— Офицеры могут рассчитывать на погрузку?

— На этот пароход — нет. Нет места.

— Тогда на какой же?
— Узнайте в эвакопункте.
— Мы там были, никто ничего не знает.
— Я тоже не знаю, пропустите меня!
— Но вы же грузите тридцать шестую батарею! Почему нам нет места?
— Про-пу-стите, я вам говорю! Я — не справочное бюро! — Полковник попробовал легонько отстранить Григория, но тот стоял на ногах твердо. В глазах его вспыхивали и гасли голубоватые искорки.
— Теперь мы вам не нужны стали? А раньше были нужны? Примите руку, меня вы не спихнете!
Полковник посмотрел в глаза Григорию, оглянулся; стоявшие на сходнях марковцы, скрестив винтовки, с трудом сдерживали напиравшую толпу. Глядя мимо Григория, полковник устало спросил:
— Вы какой части?
— Я — Девятнадцатого Донского, остальные — разных полков.
— Сколько вас всего?
— Человек десять.
— Не могу. Нет места.
Рябчиков видел, как у Григория дрогнули ноздри, когда он вполголоса сказал:
— Что же ты мудруешь, гад?! Вша тыловая! Сейчас же пропускай нас, а то...
«Зараз Гриша его резнет!» — со злобным удовольствием подумал Рябчиков, но увидев, как двое марковцев, прикладами очищая дорогу сквозь толпу, спешат на выручку полковнику,— предупреждающе тронул Григория за рукав:
— Не связывайся с ним, Пантелевич! Пойдем...
— Вы — идиот! И вы ответите за ваше поведение! — сказал побледневший полковник и, обращаясь к подоспевшим марковцам, указал на Григория: — Господа! Уймите вот этого эпилептика! Надо же навести здесь порядок! У меня срочное дело к коменданту, а тут извольте выслушивать всякие любезности от всяких...— и торопливо скользнул мимо Григория.
Высокий марковец с погонами поручика на синей бекеше, с аккуратно подбритыми английскими усиками, подошел к Григорию вплотную.
— Что вам угодно? Почему вы нарушаете порядок?
— Место на пароходе, вот что мне угодно!
— Где ваша часть?

— Не знаю.
— Ваш документ.

Второй из караула, молодой пухлогубый юноша в пенсне, ломающимся баском сказал:

— Его надо отвести в караульное помещение. Не тратьте времени, Высоцкий!

Поручик внимательно прочитал свидетельство Григория, вернул его.

— Разыщите вашу часть. Советую отсюда уйти и не мешать погрузке. У нас есть приказ: арестовывать всех, независимо от их звания, проявляющих недисциплинированность, мешающих погрузке.— Поручик твердо сжал губы, подождал несколько секунд и, косясь на Рябчикова, наклонился к Григорию, шепнул: — Могу вам посоветовать: поговорите с командиром тридцать шестой батареи, станьте в их очередь, и вы сядете на пароход.

Рябчиков, слышавший шепот поручика, обрадованно сказал:

— Иди к Каргину, а я живо смотаюсь за ребятами. Из твоего имущества, окромя вещевого мешка, что брать?

— Пойдем вместе,— равнодушно сказал Григорий.

По пути они встретили знакомого казака — уроженца хутора Семеновского. На огромной фурманке он вез к пристани ворох накрытого брезентом печеного хлеба. Рябчиков окликнул станичника:

— Федор, здорово! Куда везешь?

— А-а-а, Платон, Григорий Пантелевич, здравствуйте! На дорогу свой полк хлебом снабжаем. Насилу выпекли, а то пришлось бы в пути одну кутью жрать...

Григорий подошел к остановившейся фурманке, спросил:

— Хлеб у тебя важенный на весах? Или считанный?
— Какой его черт считал? А вам что, хлеба надо?
— Надо.
— Бери!
— Сколько можно?
— Сколько унесешь, его на нас хватит!

Рябчиков с удивлением смотрел, как Григорий снимает буханку за буханкой,— не утерпев, спросил:

— На чуму ты его столько берешь?
— Надо,— коротко ответил Григорий.

Он выпросил у возчика два мешка, сложил в них хлеб, поблагодарил за услугу и, распрощавшись, приказал Рябчикову:

— Бери, понесем.

— Ты не зимовать тут собрался? — насмешливо спросил Рябчиков, взвалив мешок на плечи.

— Это не мне.

— Тогда кому же?

— Коню.

Рябчиков проворно сбросил мешок на землю, растерянно спросил:

— Шутишь?

— Нет, всерьез.

— Значит, ты... ты чего же это надумал, Пантелевич? Хочешь остаться, так я понимаю?

— Правильно понимаешь. Ну, бери мешок, пойдем. Надо же коня кормить, а то он все ясли погрыз. Конь ишо сгодится, не пешему же служить...

До самой квартиры Рябчиков молчал, покряхтывал, подкидывая на плечах мешок; подойдя к калитке, спросил:

— Ребятам скажешь? — и, не дождавшись ответа, с легким оттенком обиды в голосе сказал: — Это ты здорово удумал... А мы как же?

— А как хотите,— с деланным равнодушием ответил Григорий.— Не берут нас, не находится для всех места,— и не надо! На кой они ляд нам нужны, навязываться им! Останемся. Спробуем счастья. Да проходи же, чего ты застрял в калитке?

— Тут, с этим разговором, застрянешь... Я ее, и калитки-то, не вижу! Ну и дела! Ты меня, Гриша, как обухом в темя вдарил. Прямо ум мне отшиб. А я-то думаю: «На черта он этот хлеб выпрашивает?» Теперь ребята наши узнают, взволнуются...

— Ну, а ты как? Не останешься? — полюбопытствовал Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнул Рябчиков.

— Подумай.

— И думать нечего! Поеду без разговоров, пока вакан есть. Пристроюсь к каргиновской батарее и поеду.

— Зря.

— Вот это да! Мне, брат, своя голова дороже. Что-то нет охоты, чтобы красные на ней свои палаши пробовали.

— Ох, подумай, Платон! Дело такое...

— И не говори! Поеду зараз же.

— Ну, как хочешь. Не уговариваю,— с досадой сказал Григорий и первый шагнул на каменные ступеньки крыльца.

Ни Ермакова, ни Прохора, ни Богатырева на квартире не было. Хозяйка, пожилая горбатая армянка, сказала, что казаки ушли и обещали скоро вернуться. Григорий, не раздеваясь, крупными ломтями порезал буханку хлеба, пошел в сарай к лошадям. Хлеб разделил поровну, всыпал своему коню и Прохорову — и только что взял ведра и хотел идти, чтобы принести воды, как в дверях стал Рябчиков. В полах шинели он бережно держал наломанный крупными кусками хлеб. Конь Рябчикова, зачуяв хозяина, коротко заржал, а хозяин его молча прошел мимо сдержанно улыбавшегося Григория, ссыпал куски в ясли, не глядя на Григория, сказал:

— Не оскаляйся, пожалуйста! Раз так дело указывает — приходится и мне коня кормить... Ты думаешь, я-то с охотой бы поехал? Сам себя за шиворот взял бы и повел на этот растреклятый пароход, не иначе! Ить живой страх подгонял... голова-то одна на плечах? Не дай бог эту срубят — другая до покрова не вырастет...

Прохор и остальные казаки вернулись только перед вечером. Ермаков принес огромную бутыль спирта, а Прохор — мешок герметически закупоренных банок с мутновато-желтой жидкостью.

— Вот подработали! На всю ночь хватит,— похваляясь, Ермаков указал на бутыль, пояснил: — Попался нам военный доктор, упросил помочь ему вывезти на пристань со склада медикаменты. Грузчики отказались работать, одни юнкерья со склада таскали, ну и мы к ним припряглись. Спиртом доктор расплатился за нашу помочь, а банки эти Прохор наворовал, накажи господь, не брешу!

— А что в них такое? — полюбопытствовал Рябчиков.

— Это, братýшка, почище спирту! — Прохор поболтал банку, посмотрел на свет, как под темным стеклом пузырится густая жидкость, самодовольно закончил: — Это — самое что ни на есть дорогое заграничное вино. Одним больным его дают, так мне сказал юнкеришка, какой английский язык понимает. Сядем на пароход, выпьем с горя, заведем «Разродимую мою сторонушку» и до самого Крыму будем пить, а банки в море кидать.

— Иди скорей, садись, а то через тебя пароход задерживают, не отправляют. «Где, говорят, Прохор Зыков — герой из героев, без него не можем плыть!» — насмешливо сказал Рябчиков. И, помолчав, указал желтым, обкуренным пальцем на Григория: — Вот он раздумал ехать. И я тоже.

— Да ну? — ахнул Прохор, от изумления чуть не выронив банку из рук.

— Что такое? Что вы тут надумали? — хмурясь, пристально глядя на Григория, спросил Ермаков.

— Решили не ехать.

— Почему?

— Потому, что местов для нас нету.

— Нынче нету — завтра будут,— уверенно заявил Богатырев.

— А ты на пристанях был?

— Ну, дальше?

— Видал, что там делается?

— Ну, видал.

— Занукал! Коль видал, чего же и толковать. Нас с Рябчиковым только двоих брали, и то один доброволец сказал, чтобы пристраивались к каргиновской батарее, иначе нельзя.

— Она ишо не погрузилась, эта батарея? — с живостью спросил Богатырев.

Узнав, что батарейцы стояли в очереди, ожидая погрузки,— он тотчас же стал собираться: сложил в вещевой мешок белье, запасные шаровары, гимнастерку, положил хлеба и попрощался.

— Оставайся, Петро! — посоветовал Ермаков.— Не к чему нам разбиваться.

Богатырев, не отвечая, протянул ему потную руку, с порога еще раз поклонился, сказал:

— Бывайте здоровы! Приведет бог — ишо свидимся! — и выбежал.

После его ухода в комнате долго стояла нехорошая тишина. Ермаков сходил на кухню к хозяйке, принес четыре стакана, молча разлил в них спирт, поставил на стол большой медный чайник с холодной водой, нарезал сала и, все так же молча, присел к столу, облокотился на него, несколько минут тупо смотрел себе под ноги, потом прямо из горлышка чайника выпил воды, хриповато сказал:

— На Кубани везде вода керосином воняет. С чего бы это?

Ему никто не ответил. Рябчиков чистой ветошкой протирал запотевшие долы шашки, Григорий рылся в своем сундучке, Прохор рассеянно смотрел в окно, на голые склоны гор, усеянные конскими табунами.

— Садитесь к столу, выпьем.— Ермаков, не дожидаясь, опрокинул в рот полстакана, запил водой и, разжевывая

кусок розового сала, повеселевшими глазами глядя на Григория, спросил:

— Не наведут нам решку красные товарищи?

— Всех не перебьют. Народу останется тут большие тыщи,— ответил Григорий.

— Я обо всех и не печалуюсь,— рассмеялся Ермаков.— У меня об своей овчине забота...

После того как изрядно выпили, разговор пошел веселее. А немного погодя неожиданно явился посиневший от холода, нахмуренный, угрюмый Богатырев. Он у порога сбросил целый тюк новеньких английских шинелей, молча начал раздеваться.

— С прибытием вас! — кланяясь, язвительно поздравил Прохор.

Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом сказал:

— Просить будут все эти Деникины и другие б..., и то не поеду! Стоял в очереди, иззяб, как кобель на морозе, а все без толку. Отрезало как раз по мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а другого нет. Половина батареи осталась, ну что это такое, а?

— Вот так вашего брата умывают! — захохотал Ермаков и, расплескивая из бутыли, налил Богатыреву полный стакан спирта.— На, запей свое горькое горе! Или ты будешь ждать, когда тебя просить прийдут? Глянь в окно: это не генерал Врангель за тобой идет?

Богатырев молча цедил спирт. Он вовсе не расположен был к шуткам. А Ермаков и Рябчиков — сами вполпьяна — напоили до отказа старуху хозяйку и уже поговаривали о том, чтобы пойти разыскать где-нибудь гармониста.

— Идите лучше на станцию,— посоветовал Богатырев,— там вагоны расчиняют. Весь состав с обмундированием.

— На черта оно нужно, твое обмундирование! — кричал Ермаков.— Нам этих шинелев хватит, какие ты приволок. А лишнее всё одно заберут, Петро! Клеп собачий! Мы тут решаемся в красные идтить, понял? Ить мы казаки — или кто? Ежли оставят в живых нас красные — пойдем к ним служить! Мы — донские казаки! Чистых кровей, без подмесу! Наше дело — рубить. Знаешь, как я рублю? С кочерыжкой! Становись, на тебе попробую! То-то, ослабел? Нам все равно, кого рубить, лишь бы рубить. Так я говорю, Мелехов?

— Отвяжись! — устало отмахивался Григорий.

Кося налитыми кровью глазами, Ермаков пытался достать свою лежавшую на сундуке шашку. Богатырев беззлобно отталкивал его, просил:

— Ты не буровь дюже, Аника-воин, а то я тебя враз усмирю. Пей степенно, ты же в офицерском чине.

— Я на этот чин кладу с прибором! Он мне зараз нужен, как колодка свинье. Не вспоминай! Сам такой. Дай, я тебе погоны отрежу? Петя, жаль моя, погоди, погоди, я их зараз...

— Ишо не время, с этим успеется,— посмеивался Богатырев, отстраняя расходившегося друга.

Пили до зари. Еще с вечера откуда-то появились незнакомые казаки, один из них с двухрядкой. Ермаков танцевал «казачка» до тех пор, пока не свалился. Его оттащили к сундуку, и он тотчас же уснул на голом полу, широко разбросав ноги, неловко запрокинув голову. До утра продолжалась невеселая гулянка. «Я из Кумшатской!.. Из самой станицы! У нас были быки — рóга не достанешь! Кони были — как львы! А сейчас, что осталось в хозяйстве? Одна облезлая сучка! Да и она скоро сдохнет, кормить нечем...» — пьяно рыдая, говорил пожилой казак — один из случайных знакомых, пришедших на гульбище. Какой-то кубанец в изорванной черкеске заказывал гармонисту «наурскую» и, картинно раскинув руки, с такой поразительной легкостью скользил по комнате, что Григорию казалось, будто подошвы горских сапог кубанца вовсе и не прикасаются к грязному, зашарпанному полу.

В полночь кто-то из казаков невесть откуда притащил два высоких глиняных узкогорлых кувшина; на боках их темнели полусгнившие этикетки, пробки были опечатаны сургучом, из-под вишнево-красных сургучных печатей свешивались массивные свинцовые пломбы. Прохор долго держал в руках ведерный кувшин, мучительно шевелил губами, стараясь разобрать иностранную надпись на этикетке. Недавно проснувшийся Ермаков взял у него из рук кувшин, поставил на пол, обнажил шашку. Прохор не успел ахнуть, как Ермаков, косо замахнувшись, срезал шашкой горло кувшина на четверть, громко крикнул: «Подставляй посуду!»

Густое, диковинно ароматное и терпкое вино распили в несколько минут, и после долго Рябчиков в восхищении цокал языком, бормотал: «Это не вино, а святое причастие! Такое только перед смертью пить, да и то не всем, а таким, какие за всю жизнь в карты не играли, табак не нюхали, баб

не трогали... Архирейский напиток, одним словом!» Тут Прохор вспомнил, что у него в мешке лежат банки с лечебным вином.

— Погоди, Платон, не хвали дюже! У меня винцо получше этого будет! Это — дерьмо, а вот я достал на складе, так это винцо! Ладан с медом, а может, даже лучше! Это тебе, браток, не архирейское, а — прямо сказать — царское! Раньше цари пили, а зараз нам довелось...— бахвалился он, открывая одну из банок.

Жадный на выпивку Рябчиков глотнул сразу полстакана мутно-желтой густой жидкости, мгновенно побледнел и вытаращил глаза.

— Это не вино, а карболка! — прохрипел он и, в ярости выплеснув остатки из стакана Прохору на рубаху, пошел, покачиваясь, в коридор.

— Брешет он, гад! Вино — английское! Первый сорт! Не верьте ему, братцы! — стараясь перекричать гул пьяных голосов, заорал Прохор. Он выпил стакан залпом и тотчас стал белее Рябчикова.

— Ну как? — допытывался Ермаков, раздувая ноздри, заглядывая Прохору в посоловевшие глаза.— Как царское вино? Крепкое? Сладкое? Говори же, чертяка, а то я эту банку об твою голову разобью!

Прохор покачивал головой, страдал молча, а потом икнул, проворно вскочил и выбежал вслед за Рябчиковым. Ермаков, давясь от смеха, заговорщицки подмигнул Григорию, пошел во двор. Спустя минуту он вернулся в комнату. Раскатистый хохот его перекрыл все голоса.

— Ты чего это? — устало спросил Григорий.— Чего ржешь, глупой? Железку нашел?

— Ох, парень, пойди глянь, как они наизнанку выворачиваются! Ты знаешь, что они пили?

— Ну?

— Английскую мазь от вшей!

— Брешешь!

— Истинный бог! Я сам, как на складе был, думал сначала, что это вино, а потом спросил у доктора: «Что это такое, господин доктор?» — «Лекарство», говорит. Я спрашиваю: «Оно, случаем, не от всех скорбей? Не на спирту?» — «Боже упаси, говорит, это союзники от вшей нам прислали смазку. Это — наружное лекарство, за воротник его никак нельзя употреблять!»

— Чего же ты, лиходей, не сказал им? — с досадой упрекнул Григорий.

— Нехай, черти, очищаются перед сдачей, небось не сдохнут! — Ермаков вытер проступившие от смеха слезы, не без злорадства добавил: — Да и пить будут полегше, а то за ними не успеешь и рюмки со стола взять. Жадных так надо обучать! Ну, что же, мы-то с тобой выпьем или повременим? Давай за нашу погибель выпьем?

Перед рассветом Григорий вышел на крыльцо, дрожащими руками свернул папироску, закурил, долго стоял, прислонившись спиной к влажной от тумана стене.

В доме, не умолкая, звучали пьяные вскрики, захлебывающиеся переборы гармошки, разудалый свист; сухую дробь безустально выбивали каблуки завзятых плясунов... А из бухты ветер нес густой, низкий рев пароходных сирен; на пристанях людские голоса сливались в сплошной гул, прорезываемый громкими возгласами команды, ржанием лошадей, гудками паровозов. Где-то в направлении станции Тоннельной шел бой. Глухо погромыхивали орудия, в интервалах между выстрелами чуть слышался жаркий треск пулеметов. За Мархотским перевалом высоко взметнулась брызжущим светом ракета. На несколько секунд стали видны озаренные зеленым, призрачным сиянием горбатые вершины гор, а потом снова вязкая темень мартовской ночи покрыла горы, и еще отчетливее и чаще, почти сливаясь, загремели артиллерийские залпы.

XXIX

Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер — все было чужое, неродное в этом скучном, пронизанном сквозняками, приморском городе. Стояли они на молу сплошной сгрудившейся массой, ждали погрузки... У берега вскипали зеленые пенистые волны. Сквозь тучу глядело на землю негреющее солнце. На рейде дымили английские и французские миноносцы; серой грозной махиной высился над водой дредноут. Над ним стлалось черное облако дыма. Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где недавно покачивался у причала последний транспорт,— плавали в воде офицерские седла, чемоданы, одеяла, шубы, обитые красным плюшем стулья, еще какая-то рухлядь, сброшенная второпях со сходен...

Григорий с утра приехал на пристань; поручив коня Прохору, долго ходил в толпе, высматривал знакомых,

прислушивался к отрывистым тревожным разговорам. На его глазах у сходен «Святослава» застрелился пожилой отставной полковник, которому отказали в месте на пароходе.

За несколько минут до этого полковник, маленький, суетливый, с седой щетиной на щеках, с заплаканными, пухлыми, сумчатыми глазами, хватал начальника караула за ремни портупеи, что-то жалко шепелявил, сморкался и вытирал нечистым платком прокуренные усы, глаза и дрожащие губы, а потом вдруг как-то сразу решился... И тотчас же какой-то проворный казак вынул из теплой руки мертвого блещущий никелем браунинг, труп в светло-серой офицерской шинели ногами, как бревно, откатили к штабелю ящиков, и возле сходен еще гуще закипел народ, еще яростнее вспыхнула драка в очереди, еще ожесточеннее залаяли хриплые, озлобленные голоса беженцев.

Когда последний пароход, покачиваясь, начал отходить от причала, в толпе послышались женские рыдания, истерические вскрики, ругань... Не успел еще утихнуть короткий басовитый рев пароходной сирены, как молодой калмык в лисьем треухе прыгнул в воду, поплыл вслед за пароходом.

— Не вытерпел! — вздохнул кто-то из казаков.

— Значит, ему никак нельзя было оставаться,— проговорил стоявший возле Григория казак.— Значит, он красным дюже нашкодил...

Григорий, стиснув зубы, смотрел на плывущего калмыка. Все реже взмахивали руки пловца, все ниже оседали плечи. Намокший чекмень тянул книзу. Волною смыло с головы калмыка, отбросило назад рыжий лисий треух.

— Утопнет, проклятый нехристь! — сожалеюще сказал какой-то старик в бешмете.

Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатыревым. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул:

— Да поспешай же ты, Пантелевич! — И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: — Пока не поздно, давай уходить. Тут собралось нас с полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттудова в Грузию. Ты как?

Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков.

— Поедешь или нет? — настойчиво спрашивал Рябчиков, подъехав вплотную.

— Нет, не поеду.

— С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут наскрозь знает, говорит: «Зажмурки до самого Тифлису доведу!» Поедем, Гриша! А оттуда к туркам, а? Надо же как-то спасаться! Край подходит, а ты какой-то, как рыба, снулый...

— Нет, не поеду,— Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело, по-стариковски, сел в седло.— Не поеду. Не к чему. Да и поздновато трошки... Гляди!

Рябчиков оглянулся, в отчаянии и ярости скомкал, оторвал темляк на шашке: с гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы. С бронепоездов ударили по цепям из орудий. Возле мельницы Асланиди разорвался первый снаряд.

— Поехали на квартиру, ребятки, держи за мной! — приказал повеселевший и как-то весь подобравшийся Григорий.

Но Рябчиков схватил Григорьева коня за повод, испуганно воскликнул:

— Не надо! Давай тут останемся... На миру, знаешь, и смерть красна...

— Э, черт, трогай! Какая там смерть? Чего ты мелешь? — Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушило громовым гулом, донесшимся с моря. Английский дредноут «Император Индии», покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих двенадцатидюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходившие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клекотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды.

Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал:

— Ну и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенят красных! Пользы от ихней стрельбы никакой, одного шуму много...

— Нехай стервенят! Нам зараз все равно,— улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице.

Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели шесть конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровенел, как рана, кумачный бант.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

С юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные лога и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой донской степью голубая весна.

Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб.

Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитая туманом даль, затопленные талой водою яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями — все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками, будто осиянное солнцем.

Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой; запах прелой соломы и оттаявшего чернозема был так знаком и приятен, что Аксинья глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ; незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это

она — услышанная на чужбине песенка — заставила учащенно забиться Аксиньино сердце и выжала из глаз две скупые слезинки...

Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле...

Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий, но потом узнала от заходивших к хозяину соседей что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную Армию и на рудники.

К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную распоротую по швам английскую шинель.

— Ты что же это, добрый человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство располагаешься? — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.

А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь сказал:

— Прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен: спервоначалу разденься, а потом уж просись ночевать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется...

— Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем,— уже мирнее сказал хозяин.

— Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну.

— Ты кто же такой будешь, дедушка? Беженец? — полюбопытствовала хозяйка.

— Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а зараз уж оттуда потихонечку иду, приморился бегать-то...— отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки.

— А кто такой есть? Откудова? — продолжал допытываться хозяин.

Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и, все с той же не сходящей с губ улыбкой, сказал:

— Вот по моему чину документ, от самого Новороссийска с ним командируюсь, а родом я издалека, из-за Вёшенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды.

— И я вёшенская, дедушка,— вспыхнув от радости, сказала Аксинья.

— Скажи на милость! — воскликнул старик.— Вот где станишницу довелось повстречать! Хотя по нынешним временам это и не диковинно: мы зараз, как евреи,— рассеялись по лицу земли. На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадешь в донского казака. Понавтыкано их везде — не оберешься, а сколько в земле зарыто — и того больше. Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и не расскажешь! Позавчера сижу на станции, рядом со мной благородная женщина в очках сидит, сквозь очки вошек на себе высматривает. А они по ней пешком идут. И вот она их сымает пальчиками, а сама так морщится, как будто лесовую яблоку раскусила. Начнет эту бедную вошку давить — еще дюжей морщится, аж всю ее наперекос берет, до того ей противно! А другой твердяк человека убивает и не морщится, не косоротится. При мне один такой молодец трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер об конскую гриву, достал папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: «Ты чего, дед, гляделки вылупил? Хочешь, тебе голову срублю?» — «Что ты, говорю, сынок, бог с тобой! Срубишь голову мне, а тогда как же я хлеб буду жевать?» Засмеялся он и отъехал.

— Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легше, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию,— глубокомысленно вставил хозяин.

— Истинное слово! — подтвердил гость.— Человек — он не скотина, ко всему привыкает. Вот я и спрашиваю у этой женщины: «Кто вы такая будете? По обличью вы словно бы не из простых». Глянула она на меня, слезой умылась. «Я — жена генерала-маёра Гречихина». Вот тебе, думаю, генерал, вот тебе и маёр, а вшей, как на шелудивой кошке блох! И говорю ей: «Вы, ваше превосходительство, ежли будете, извиняюсь, ваших насекомых козявок так переводить, так вам работы до покрова хватит. И коготки все пообломаете. Давите их всех разом!» — «Как так?» — спрашивает. Я и посоветовал ей: «Сымите, гово-

рю, одежку, расстелите на твердом месте, и бутылкой их». Гляжу: сгреблась моя генеральша и — за водокачку, гляжу: катает по рубахе бутылку зеленого стекла, да так здорово, как, скажи, она всю жизнь ее катала! Покрасовался я на нее и думаю: у бога всего много, напустил он козявок и на благородных людей, пущай, мол, они и ихней сладкой кровицы пососут, не все же им трудовой кровушкой упиваться... Бог — он не Микишка! Он свое дело знает. Иной раз он подобреет к людям и до того правильно распорядится, что лучше и не придумаешь...

Без умолку болтая и видя, что хозяева слушают его с большим вниманием,— портной ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что поклонило его в сон.

После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи:

— А ты, станишница, долго ли думаешь тут гостить?

— Собираюсь домой, дедушка.

— Ну, вот и пойдем со мной вместе, все веселее будет.

Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули затерявшийся в степи поселок Ново-Михайловский.

* * *

На двенадцатые сутки ночью пришли в станицу Милютинскую. Ночевать выпросились в большом, богатом на вид доме. Утром Аксиньин спутник решил остаться на неделю в станице, отдохнуть и залечить растертые до крови ноги. Идти дальше он не мог. В доме нашлась для него портняжная работа, и наскучавший по делу старик живо примостился у окошка, достал ножницы и связанные веревочкой очки, проворно начал распарывать какую-то ветошь.

Прощаясь с Аксиньей, старый балагур и весельчак перекрестил ее и неожиданно прослезился, но тотчас же смахнул слезы, с обычной для него шутливостью сказал:

— Нужда — не родная матушка, а людей роднит... Вот уж и жалко тебя... Ну, да нечего делать, ступай одна, дочушка, поводырь-то твой охромел сразу на все ноги, должно быть, накормили его где-нибудь ячменным хлебом... Да и то сказать, промаршировали мы с тобой порядочно, для моих семидесяти годков даже чересчур. Будет

случай — перекажи моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров, и в ступе его толкли, и в мялке мяли, а он все живой, на ходу добрым людям штаны шьет и что не видно домой припожалует... Так и передай ей: старый дурак, мол, кончил отступать и наступает обратно к дому, не чает, когда до печки доберется...

Еще несколько дней провела Аксинья в дороге. От Боковской доехала до Татарского на попутной подводе. Поздно вечером вошла в настежь распахнутую калитку своего двора, глянула на мелеховский курень и задохнулась от внезапно подступивших к горлу рыданий... В пустой пахнущей нежилым кухне выплакала все скопившиеся за долгое время горькие бабьи слезы, а потом сходила на Дон за водой, затопила печь, присела к столу, уронив на колени руки. Задумавшись, она не слышала, как скрипнула дверь, и очнулась, когда Ильинична, войдя, негромко сказала:

— Ну, здравствуй, соседушка! Долго ж ты пропадала в чужих краях...

Аксинья испуганно взглянула на нее, встала.

— Ты чего воззрилась на меня и молчишь? Аль плохие вести принесла? — Ильинична медленно подошла к столу, присела на край лавки, не сводя пытливого взгляда с Аксиньиного лица.

— Нет, какие же у меня вести... Не ждала я вас, задумалась что-то и не слыхала, как вы вошли...— растерянно проговорила Аксинья.

— Исхудала ты, в чем и душа держится...

— В тифу была...

— Григорий-то наш... Он как же... Вы где с ним расстались? Живой он?

Аксинья коротко рассказала. Ильинична выслушала ее, не проронив слова, под конец спросила:

— Он, когда оставил тебя, не хворый поехал?

— Нет, он не хворал.

— И больше ты об нем ничего не слыхала?

— Нет.

Ильинична облегченно вздохнула:

— Ну вот, спасибо на добром слове. А тут по хутору разное брешут про него...

— Что же? — чуть слышно спросила Аксинья.

— Так, пустое... Всех не переслухаешь. Из хуторных один только Ванька Бесхлебнов вернулся. Он видал Гришу в Катеринодаре больного, а другим я не верю!

— А что говорят, бабушка?

— Прослыхали мы, что какой-то казачишка с Сингинского хутора говорил, будто зарубили Гришу красные в Новороссийском городе. Ходила я пеши в Сингин — материнское-то сердце не терпит,— нашла этого казачишку. Отрекся он. И не видал, говорит, и не слыхал. Ишо слух прошел, будто посадили в тюрьму и там он помер от тифу...

Ильинична опустила глаза и долго молчала, рассматривая свои узловатые тяжелые руки. Обрюзгшее лицо старухи было спокойно, губы строго поджаты, но вдруг как-то сразу на смуглых скулах ее проступил вишневый румянец, и мелко задрожали веки. Она взглянула на Аксинью сухими, исступленно горящими глазами, хрипло сказала:

— А я не верю! Не может быть, чтобы лишилась я последнего сына! Не за что богу меня наказывать... Мне уж и жить-то чуть осталось... Мне жить вовсе мало осталось, а горюшка и без этого через край хлебнула!.. Живой Гриша! Сердце мое не вещует — значит, живой он, мой родимый!

Аксинья молча отвернулась.

В кухне долго стояла тишина, потом ветер распахнул дверь в сени, и стало слышно, как глухо ревет за Доном в тополях полая вода и потревоженно перекликаются на разливе дикие гуси.

Аксинья закрыла дверь, прислонилась к печке.

— Вы не печалуйтесь об нем, бабушка,— тихо сказала она.— Разве такого хворость одолеет? Он крепкий, прямо как железный. Такие не помирают. Он всю дорогу в трескучие морозы без перчаток ехал...

— О детишках-то он вспоминал? — устало спросила Ильинична.

— И о вас и о детишках вспоминал. Здоровые они?

— Здоровые, чего им подеется. А Пантелей Прокофич наш помер в отступе. Остались мы одни...

Аксинья молча перекрестилась, про себя дивясь тому спокойствию, с каким старуха сообщила о смерти мужа.

Опираясь на стол, Ильинична тяжело встала.

— Засиделась я у тебя, а на базу уж ночь.

— Сидите, бабушка.

— Там Дуняшка одна, надо идтить.— Поправляя платок на голове, она оглядела кухню, поморщилась: — Дымок из печки подходит. Надо было пустить кого-нибудь на жительство, когда уезжала. Ну, прощай! — И уже взявшись за дверную скобу, не глядя назад, сказала: — Обжи-

вешься — зайди к нам, проведай. Может, услышишь про Григория что — скажи.

С этого дня отношения между Мелеховыми и Аксиньей круто изменились. Тревога за жизнь Григория как бы сблизила и породнила их. На следующее утро Дуняшка, увидев Аксинью во дворе, окликнула ее, подошла к плетню и, обнимая худые Аксиньины плечи, улыбнулась ей ласково и просто.

— Ох, и похудела же ты, Ксюша! Одни мосольчики остались.

— Похудеешь от такой жизни,— ответно улыбнулась Аксинья, не без внутренней зависти разглядывая цветущее зрелой красотой, румяное девичье лицо.

— Была у тебя мать вчера? — почему-то шепотом спросила Дуняшка.

— Была.

— Я так и подумала, что она к тебе пошла. Про Гришу спрашивала?

— Да.

— А не кричала?

— Нет, твердая она старуха.

Дуняшка, доверчиво глядя на Аксинью, сказала:

— Лучше б она покричала, все ей легче было бы... Знаешь, Ксюша, какая-то она с этой зимы чудна́я стала, не такая, как раньше была. Услыхала она про отца, я думала, что сердце у нее зайдется, испужалась страшно, а она и слезинки не выронила. Только и сказала: «Царство ему небесное, отмучился милый мой...» И до вечеру ни с кем не гутарила. Я к ней и так и сяк, а она рукой отмахивается и молчит. То-то страсти я набралась в этот день! А вечером убрала скотину, пришла с надворья и спрашиваю у ней: «Маманя, вечерять будем чего варить?» Отошло у нее сердце, заговорила...— Дуняшка вздохнула и, задумчиво глядя куда-то через плечо Аксиньи, спросила:

— Григорий наш помер? Верно это болтают?

— Не знаю, милушка.

Дуняшка сбоку испытующе поглядела на Аксинью, вздохнула еще глубже.

— Маманя по нем, ну, чисто, истосковалась вся! Она его иначе и не зовет: «мой младшенький». И никак не верит, что его в живых нету. А ты знаешь, Ксюша, ежли она узнает, что он взаправди помер,— она от тоски сама помрет. Жизнь-то от нее уж отошла, одна зацепка у ней — Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланная стала,

и в работе — все у ней из рук валится... Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье...

Движимая состраданием, Аксинья потянулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку.

— Займи матерю чем-нибудь, моя хорошая, не давай ей дюже горевать.

— Чем же ее займешь? — Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила: — Зайди к нам, погутарь с ней, все ей легче будет. Нечего тебе нас чураться!

— Зайду как-нибудь, беспременно зайду!

— Я завтра, должно, нá поля поеду. Спряглись с Аникушкиной бабой, хотим хоть десятины две пшеницы посеять. Ты-то не думаешь сеять себе?

— Какая я посевщица,— невесело улыбнулась Аксинья.— Не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так.

— Про Степана твоего что слышно?

— А ничего,— равнодушно ответила Аксинья и неожиданно для себя сказала: — Я по нем не дюже сохну.— Нечаянно сорвавшееся признание смутило ее, и она, прикрывая смущение, торопливо сказала: — Ну, прощай, девонька, пойду в курене прибрать.

Делая вид, как будто она не заметила Аксиньиного замешательства, глядя в сторону, Дуняшка сказала:

— Погоди трошки, я вот что хочу тебе сказать, ты не пособишь нам в работе? Земля пересыхает, боюсь, не управимся мы, а казаков во всем хуторе двое осталось, и те калеки.

Аксинья охотно согласилась, и довольная Дуняшка пошла собираться.

Весь день она деятельно готовилась к выезду: с помощью Аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище, посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру слетелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетанье будет услышано мертвыми и обрадует их...

* * *

Только перед рассветом устанавливалась над Обдоньем тишина. Глухо воркована вода в затопленном лесу, омывая бледно-зеленые стволы тополей, мерно раскачивая пото-

нувшие вершинки дубовых кустов и молодого осинника; шуршали наклоненные струей метелки камыша в залитых озерах; на разливе, в глухих заводях,— там, где полая вода, отражая сумеречный свет звездного неба, стояла неподвижно, как завороженная,— чуть слышно перекликались казарки, сонно посвистывали чирковые селезни да изредка звучали серебряные трубные голоса заночевавших на приволье пролетных лебедей. Иногда всплескивала в темноте жирующая на просторе рыба; по воде, усеянной золотыми бликами, далеко катилась зыбкая волна, и слышался предостерегающий гогот потревоженной птицы. И снова тишина окутывала Обдонье. Но с рассветом, когда лишь чуть розовели меловые отроги гор, подымался низовый ветер. Густой и мощный, он дул против течения. По Дону бугрились саженные волны, бешено клокотала вода в лесу, стонали, раскачиваясь, деревья. Ветер ревел целый день и утихал глубокой ночью. Такая погода стояла несколько дней..

Над степью повисла сиреневая дымка. Земля пересыхала, приостановились в росте травы, по зяби пошли заструги. Почва выветривалась с каждым часом, а на полях хутора Татарского почти не видно было людей. Во всем хуторе осталось несколько древних стариков, из отступления вернулись неспособные к труду обмороженные и больные казаки, в поле работали одни женщины да подростки. По обезлюдевшему хутору ветер гонял пыльцу, хлопал ставнями куреней, ворошил солому на крышах сараев. «Будем в нонешнем году без хлеба,— говорили старики.— Одни бабы на полях, да и то через три двора сеют. А мертвая землица не зародит...»

На другой день после выезда в поле, перед закатом солнца Аксинья погнала к пруду быков. Около плотины, держа в поводу оседланную лошадь, стоял десятилетний мальчишка Обнизов. Лошадь жевала губами, с серого бархатистого храпа ее падали капли, а спешившийся ездок забавлялся: бросал в воду комки сухой глины, смотрел, как расходятся по воде круги.

— Ты куда это собрался, Ванятка? — спросила Аксинья.

— Харчи привозил матери.

— Ну, что там в хуторе?

— А ничего. Дед Герасим здо-о-о-ровенного сазана в вентери нынче ночью поймал. А ишо пришел из отступа Федор Мельников.

Приподнимаясь на цыпочки, мальчишка взнуздал лошадь, взял в руки прядку гривы и с дьявольской ловкостью вскочил на седло. От пруда он поехал — как рассудительный хозяин — шагом, но спустя немного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что на спине его пузырем вздулась выцветшая голубенькая рубашонка.

Пока пили быки, Аксинья прилегла на плотине и тут же решила идти в хутор. Мельников был служивый казак, и он должен был знать что-либо об участи Григория. Пригнав быков к стану, Аксинья сказала Дуняшке:

— Схожу в хутор, а завтра рано прийду.

— Дело есть?

— Дело.

Наутро Аксинья вернулась. Она подошла к запрягавшей быков Дуняшке, беспечно помахивая хворостиной, но брови ее были нахмурены, а в углах губ лежали горькие складки.

— Мельников Федор пришел. Ходила спрашивала у него про Григория. Ничего не знает,— сказала она коротко и, круто повернувшись, отошла к сеялке.

После сева Аксинья принялась за хозяйство: посадила на бахче арбузы, обмазала и побелила курень, сама — как сумела — покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой, и почему-то ей казалось, что он не вернется, но, когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?», а уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетен бабы перестали судачить о них, но Аксинья стыдилась выказывать свое чувство, и лишь изредка, когда скупой на слова служивый не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего, Григория Пантелевича, не доводилось встречать? Мать об нем беспокоится, высохла вся...»

Никто из хуторных казаков не видел ни Григория, ни Степана после сдачи Донской армии в Новороссийске. И только в конце июня к Аксинье зашел пробиравшийся за Дон сослуживец Степана с хутора Колундаевского. Он-то и сообщил ей:

— Уехал Степан в Крым, верное слово тебе говорю. Сам видал, как он грузился на пароход. Погутарить с ним не

пришлось. Давка была такая, что по головам ходили.— На вопрос о Григории уклончиво ответил: — Видал на пристани, в погонах он был, а после не трапилось видать. Много офицеров в Москву увезли, кто его знает, где он зараз...

А неделю спустя в Татарский заявился раненый Прохор Зыков. Его привезли со станции Миллерово на обывательской подводе. Услышав об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и, на ходу покрывшись платком, торопливо пошла, почти побежала к зыковскому базу. «Уж Прохор знает, уж он-то должен знать! А что, ежели скажет, что нет Гриши в живых? Как же я тогда?» — думала она дорогой и с каждой минутой все больше замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть.

Прохор встретил ее в горнице, широко улыбаясь, пряча за спину куцый обрубок левой руки.

— Здоро́во, односумка! Здоро́во! Живую тебя видать! А мы уж думали, что ты дуба дала в энтом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала... Ну, как он, тифок, прихорашивает вашего брата? А меня, вот видишь, как белые-поляки обработали, в рот им дышло! — Прохор показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки.— Жена увидала, слезьми кричит, а я ей говорю: «Не реви, дура, другим головы отрывает, и то не обижаются, а рука — эка важность! Зараз деревянные приделывают. Энта, по крайней мере, холоду не будет бояться, и обрежешь ее — кровь не пойдет». Беда, что не научился, девка, одной рукой с делами управляться. Штаны не застегну — и шабаш! От самого Киева до дому с расстегнутой мотней ехал. Срам-то какой! Так что ты уж извиняй, ежли непорядок за мной приметишь... Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету. Снарядил ее, анчихриста, за самогонкой. Муж приехал с оторватой рукой, а ей и поздравить его нечем. Все вы такие без мужьев, я вас, чертей мокрохвостых, знаю до тонкостев!

— Ты бы сказал...

— Знаю, скажу. Велел вот как кланяться,— Прохор шутливо поклонился, поднял голову и удивленно шевельнул бровями: — Вот тебе и раз! Чего же ты кричишь, глупая? Все вы, бабы, такие крученые-верченые. Убьют — кричат, живой остался — опять кричат. Утрись, утрись, чего рассопливилась-то? Говорю тебе, живой и здоровый, морду наел во́ какую! Вместе с ним в Новороссийском

поступили в Конную армию товарища Буденного, в Четырнадцатую дивизию. Принял наш Григорий Пантелевич сотню, то бишь эскадрон, я, конешно, при нем состою, и пошли походним порядком под Киев. Ну, девка, и дали мы чертей этим белым-полякам! Шли туда, Григорий Пантелевич и говорит: «Немцев рубил, на всяких там австрияках палаш пробовал, неужли у поляков черепки крепше? Сдается мне, их легше будет рубить, чем своих — русских, как ты думаешь?» — и подмигивает мне, оскаляется. Переменился он, как в Красную Армию заступил, веселый из себя стал, гладкий, как мерин. Ну, не обошлось у нас с ним без семейного скандалу... Раз подъехал к нему и говорю шутейно: «Пора бы привалом стать, ваше благородие — товарищ Мелехов!» Ворохнул он на меня глазами, говорит: «Ты мне эти шутки брось, а то плохо будет». Вечером по какому-то делу подзывает меня, и дернул же черт меня опять обозвать его «благородием»... Как схватится он за маузер! Побелел весь, ощерился, как волк, а зубов у него полон рот, не меньше сотни. Я — коню под пузо, да ходу от него. За малым не убил, вот какой чертоломный!

— Что ж он, может, в отпуск...— заикнулась было Аксинья.

— И думать не моги! — отрезал Прохор,— говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю. Это он проделает — дурачье дело нехитрое... Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах четырех ихних уланов срубил. Он же, проклятый, левша сызмальства, вот он и доставал их с обеих сторон... После боя сам Буденный перед строем с ним ручка́лся, и благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие коте́лки выкидывает, твой Пантелевич!

Аксинья слушала, как в чаду... Она опомнилась только у мелеховской калитки. В сенях Дуняшка цедила молоко; не поднимая головы, спросила:

— Ты за накваской? А я пообещала принесть, да и забыла.— Но, заглянув в мокрые от слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, она поняла все без слов.

Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала:

— Живой и здоровый... Поклон прислал... Иди же! Иди скажи матери!

II

К лету в Татарский возвратилось десятка три казаков из числа ходивших в отступление. В большинстве своем это были старики и служивые старших возрастов, а молодые и средних лет казаки, за вычетом больных и раненых, почти полностью отсутствовали. Часть их была в Красной Армии, остальные — в составе врангелевских полков — отсиживались в Крыму, готовясь к новому походу на Дон.

Добрая половина отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа, другие приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись от обоза, замерзли в степи за Манычем, двое были захвачены в плен красно-зелеными и пропали без вести... Многих казаков недосчитывались в Татарском. Женщины проводили дни в напряженном и тревожном ожидании и каждый раз, встречая коров на выгоне, подолгу стояли, вглядывались из-под ладоней — не покажется ли на шляху, задернутом лиловой вечерней марью, запоздалый пешеход?

Приходил домой какой-нибудь оборванный, обовшивевший и худой, но долгожданный хозяин, и в хате начиналась радостная, бестолковая суета: грели воду для черного от грязи служивого, дети наперебой старались услужить отцу и караулили каждое его движение, растерявшаяся от счастья хозяйка то кидалась накрывать на стол, то бежала к сундуку, чтобы достать чистую пару мужниного белья. А бельишко, как на грех, оказывалось не заштопанным, а дрожащие пальцы хозяйки никак не могли продеть нитку в игольное ушко... В эту счастливую минуту даже дворовой собаке, которая издали узнала хозяина и до порога бежала за ним, облизывая ему руки, разрешалось войти в дом; даже за разбитую посуду или пролитое молоко не попадало детям, и любой их проступок сходил безнаказанно. Не успевал хозяин переодеться после купанья, как уже в хату полно набивалось женщин. Приходили узнать о судьбе родных, пугливо и жадно ловили каждое слово служивого. А спустя немного какая-нибудь женщина выходила во двор, прижав ладони к залитому слезами лицу, шла по проулку, как слепая, не разбирая дороги, и вот уж в одном из домишек причитала по мертвому новая вдова и тонко вторили ей плачущие детские голоса. Так было в те дни в Татарском: радость, вступая в один дом, вводила в другой неизбывное горе.

Наутро помолодевший, чисто выбритый хозяин вставал чуть свет, оглядывал хозяйство, примечал, за что надо взяться сразу. После завтрака он уже принимался за дело. Весело шипел рубанок или постукивал топор где-нибудь под навесом сарая, в холодке, словно возвещая, что появились в этом дворе жадные на работу, умелые мужские руки. А там, где накануне узнали о смерти отца и мужа, глухая тишина стояла в доме и на подворье. Молча лежала придавленная горем мать, и около нее теснились, сбиваясь в кучку, повзрослевшие за одну ночь сироты-дети.

Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила:

— И когда это наш прийдет! Чужие идут, а про нашего и слуху нет.

— Молодых казаков не спускают, как вы не понимаете, маманя! — с досадой отвечала ей Дуняшка.

— Как это не спускают? А Тихон Герасимов? Он на год моложе Гриши.

— Он же раненый, маманя!

— Какой он там раненый! — возражала Ильинична.— Вчера видала его возле кузницы, ходит как по струнке. Такие раненые не бывают.

— Был раненый, а зараз на поправке.

— А наш мало был раненый? Все тело его в рубцах, что ж, ему и поправка не нужна, по-твоему?

Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя, но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким.

— Замолчи, дура! — приказывала она Дуняшке.— Я не меньше твоего знаю, и ты ишо молода матерю учить. Говорю — должон прийти, значит прийдет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять!

Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, анчутка вихрастый, прийдет отец, докажу ему, так он тебе всыпет!» Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежевделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему — как, скажи, кто дорогу домой заказал...» Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни, но за последнее время она изменилась и в этом отношении. «Сходи покличь Прохора,— не раз говорила она Дуняшке,— нехай прийдет, выкурит цигарку,

а то уже тут мертвяжиной воняет. Вот прийдет со службы Гриша, тогда у нас жилым, казачьим духом запахнет...» Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугун со щами в печь. На вопрос Дуняшки — зачем она это делает, Ильинична удивленно ответила: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче прийдет, вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь, того да сего, а он голодный, небось...» Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать, и та, как-то виновато и жалко улыбаясь, сказала: «Это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легше делается... Будто он уже с нами...»

Дуняшке опостылели бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать:

— И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и послышишь: Гриша да Гриша...

— Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь...— тихо ответила Ильинична.

После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолго до начала лугового покоса она сказала Дуняшке:

— Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише, а как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому... Вон как у нас все поползло, и ни чему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет...

Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смогла. Вечером она отказалась от ужина и, когда Дуняшка спросила ее, не захворала ли она? — неохотно ответила:

— Старая я стала... и сердце у меня болит об Грише... Так болит, что ничего мне не мило и глазам глядеть на свет больно...

Но не Григорию пришлось хозяйствовать на мелеховском базу... Перед луговым покосом в хутор приехал

с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость, вежливо постучав в дверь и не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильиничне.

— Здорово, тетка Ильинична! Не ждала?

— Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень? — грубо ответила Ильинична, негодующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого.

Нимало не смущенный таким приемом, Мишка сказал:

— Так уж и плетень... Как-никак, знакомые были.

— Только и всего.

— Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел.

— Этого бы ишо недоставало,— проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню.

Не обращая внимания на ее слова, Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил:

— Зашел проведать, поглядеть, как вы живете... Не видались-то год с лишним.

— Не дюже по тебе соскучились,— буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны.

Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав Мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивал густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полоски. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом чиркнул спичкой. В горницу потянуло папиросным дымком.

— Старик, говорят, помер?

— Помер.

— А Григорий?

Ильинична долго молчала, затем с видимой неохотой ответила:

— В красных служит. Такую ж звезду на шапку нацепил, как и ты.

— Давно бы надо ему нацепить ее...

— Это — его дело.

В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил:

— А Евдокия Пантелевна?

— Прибирается. Больно ранний ты гость, добрые-то люди спозаранок не ходют.

— Будешь недобрым. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать.

— Ох, Михаил, не гневил бы ты меня...

— Чем же я вас, тетушка, гневлю?

— А тем!

— Все-таки, чем же?

— Вот этими своими разговорами!

Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не смогла выдержать: вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал:

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй...— чуть слышно ответила Дуняшка.

— Ступай воды принеси,— тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь.

Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка, потом затушил в пальцах окурок, спросил:

— Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что?

Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная.

— Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза?! — сказала она.— И ты у меня ишо спрашиваешь?! Душегуб ты...

— Это какой же я душегуб?

— Истинный! Кто Петра убил? Не ты?

— Я.

— Ну вот! Опосля кто же ты есть? И ты идешь к нам... садишься, как будто...— Ильинична задохнулась, смолкла, но, оправившись, продолжала: — Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?

Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал:

— Не с чего моим глазам зажмуряться! А ежели б Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на энтих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим! На то она и война.

— А свата Коршунова? Старика мирного убивать, это — тоже война?

— А как же? — удивился Мишка.— Конечно, война! Знаю я этих мирных! Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях... Самое такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас. Через них и вся эта война зачалась! Кто агитацию пущал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь — «душегуб»... Тоже, нашла душегуба! Я, бывало, ягнока или поросенка не могу зарезать и зараз — знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут — и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слыхать и не видать.

— А свата...

— Дался вам этот сват! — досадливо перебил Мишка.— От него пользы было, как от козла молока, вреду много. Говорил ему: выходи из дому, не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей! Животную не могу убить — может, со зла только, а такую, вы меня извиняйте, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина — могу сколько угодно! На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая!

— Через эту твою твердость ты и высох весь,— язвительно сказала Ильинична.— Совесть небось точит...

— Как бы не так! — добродушно улыбнулся Мишка.— Станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша...

— Какая я тебе мамаша? — вспыхнула Ильинична.— Сучку кличь мамашей!

— Ну, ты меня не сучи! — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза.— Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком: за Петра не держи на меня сердца. Сам он нашел, чего искал.

— Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить я тебя не могу! — настойчиво твердила Ильинична.

Мишка закурил снова, спокойно спросил:

— А Митрий Коршунов — сват ваш — не душегуб? А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмесу!

— Не бреши!

— Со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил, об этом ты знаешь? То-

то и оно! Коли такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие,— значительно сказал Мишка.

Ильинична промолчала, но, видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала:

— Хватит! Некогда мне с тобой гутарить, шел бы ты домой.

— У меня домов, как у зайца теремов,— усмехнулся Мишка и встал.

Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать.

На следующий день утром он снова пришел, поздоровался как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки.

— Часто наведываешься...— вскользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие.

Дуняшка вспыхнула, взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова. Усмехаясь, Мишка ответил:

— Не к тебе хожу, тетка Ильинична, зря ты горишь.

— Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню.

— А куда же мне идтить-то? — посерьезнев, спросил Мишка.— По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого, а в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду,— закончил он и сел поудобнее, широко расставив ноги.

Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах...

После того как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке:

— Чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла?

Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила:

— Нет! Будет ходить! Не закажете! Будет! — И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени.

Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба.

Перед вечером Дуняшка с матерью — не примирившиеся и молчаливые — ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал:

— Мелко роешь. Ветер дунет, и опять упадет ваш плетень,— и стал углублять ямки для стоянов, потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел. Утром он принес и поставил возле мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы; поздоровавшись с Ильиничной, деловито спросил:

— Траву в лугу косить думаете? Люди уже поехали за Дон.

Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка:

— Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, рассохся весь.

— Надо бы спустить его весной на воду,— укоризненно сказал Мишка.— Может, его законопатить? Без баркаса вам будет неспособно.

Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается.

— Конопи есть у вас? — спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь.

Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку конопляных хлопьев.

К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню.

— Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал.— И снова спросил: — Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я зараз без дела.

— Вон у нее спроси,— Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки.

— Я у хозяйки спрашиваю.

— Я тут, видно, не хозяйка...

Дуняшка заплакала, ушла в горницу.

— Тогда прийдется пособить,— крякнув, решительно сказал Мишка.— Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые, должно, негожи.

Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил:

— Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет... Один ты умеешь, ты хорошо умеешь!

— Сделаю, тезка, ей-богу, сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала,— уговаривал его Кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну, до чего похож, чертенок... Вылитый батя! И глаза, и брови, и верхнюю губу так же подымает... Вот это — работенка!»

Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог: губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами.

— Михайло Григорич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюжку, я лягу,— попросил он.

— А зачем? — поинтересовался Мишатка.

— Захворать хочу.

— На что?

— Эх, до чего ты неотвязный, прямо как репей... Ну, пришло время захворать, вот и все! Неси скорей!

— А грабли мои?

— Потом доделаю.

Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо.

— Это ты уже захворал? — огорченно спросил Мишатка.

— Готов, захворал.

— А чего ты дрожишь?

— Лихорадка меня трясет.

— А на что зубами клацаешь?

Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень.

— Бабуня! Дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, так дрожит, ажник подсигивает!

Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись...

— Ты чего же молчишь, бабуня? — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.

Ильинична повернулась к нему, твердо сказала:

— Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему, анчихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезня такая. Одеялу ты донесешь? — Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: — Постой, постой! Не носи, не надо.

Дуняшка накрывала своей овчинной шубой Кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему...

После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялы и неуверенны, но грабли Мишатке он все же смастерил.

Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей,— не глядя на Дуняшку, сказала:

— Иди, кличь этого, как его... вечерять.

Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление, рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза «душегуба» теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком Мишатке, огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка. Потом он переводил взгляд, и снова на лице его тенью ложилось тупое равнодушие.

Ильинична стала исподтишка наблюдать за Кошевым и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее. Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру «душегуба», в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошеная жалость к этому ненавистному ей человеку — та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин,— проснулась в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала:

— Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно... Тоже, жених!

III

В хуторе стали поговаривать о Кошевом и Дуняшке. Одна из баб, встретив как-то Дуняшку на пристани, спросила с откровенной издевкой: «Аль наняли Михаила в работники? Что-то он у вас с базу не выводится...»

Ильинична на все уговоры дочери упорно твердила: «Хоть не проси, не отдам тебя за него! Нету вам моего благословения!» И только когда Дуняшка заявила, что уйдет к Кошевому, и тут же стала собирать свои наряды,— Ильинична изменила решение.

— Опамятуйся! — испуганно воскликнула она.— Что ж я одна с детишками буду делать? Пропадать нам?

— Как знаете, маманя, а я посмешищем в хуторе не хочу быть,— тихо проговорила Дуняшка, продолжая выкидывать из сундука девичью свою справу.

Ильинична долго беззвучно шевелила губами, потом, тяжело передвигая ноги, пошла в передний угол.

— Ну что ж, до́чушка...— прошептала она, снимая икону,— раз уж ты так надумала, господь с тобой, иди...

Дуняшка проворно опустилась на колени. Ильинична благословила ее, сказала дрогнувшим голосом:

— Этой иконой меня покойница мать благословляла... Ох, поглядел бы на тебя зараз отец... Помнишь, что говорил он о твоем суженом? Видит бог, как тяжело мне...— и, молча повернувшись, вышла в сени.

Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания,— упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке скрепя сердце согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. Ночью поп Виссарион потихоньку окрутил их в пустой церкви. После обряда он поздравил молодых, назидательно сказал:

— Вот, молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать — предали его огню, а сегодня мне пришлось вас венчать... Не плюй, говорят, в колодец, ибо он может пригодиться. Но все же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой.

Этого уже вынести Мишка не смог. Он молчал в церкви все время, стыдясь своей бесхарактерности и негодуя на себя, но тут яростно скосился на злопамятного попа, шепотом, чтобы не слышала Дуняшка, ответил:

— Жалко, что убег ты тогда из хутора, а то бы я тебя,

черт долгогривый, вместе с домом спалил! Понятно тебе, ну?

Ошалевший от неожиданности поп, часто моргая, уставился на Мишку, а тот дернул свою молодую жену за рукав, строго сказал: «Пойдем!» — и, громко топая армейскими сапогами, пошел к выходу.

На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орали песен. Прохор Зыков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплевывался и жаловался Аксинье:

— Ну, девка, и свадьба была! Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот набок повело! А за ужином, видала, что было? Жареная курятина да кислое молоко... хотя бы капелюшку самогонки выставили, черти! Поглядел бы Григорий Пантелевич, как сеструшку его просватали!.. За голову взялся бы! Нет, девка, шабаш! Я теперича на эти новые свадьбы не ходок. На собачьей свадьбе и то веселей, там хоть шерсть кобели один на одном рвут, шуму много, а тут ни выпивки, ни драки, будь они, анафемы, прокляты! Веришь, до того расстроился опосля этой свадьбы, что всю ночь не спал, лежал, чухался, как, скажи, мне пригоршню блох под рубаху напустили...

Со дня, когда Кошевой водворился в мелеховском курене, все в хозяйстве пошло по-иному: за короткий срок он оправил изгородь, перевез и сложил на гумне степное сено, искусно завершив обчесанный стог; готовясь к уборке хлеба, заново переделал полок и крылья на лобогрейке, тщательно расчистил ток, отремонтировал старенькую веялку и починил конскую упряжь, так как втайне мечтал променять пару быков на лошадь и не раз говорил Дуняшке: «Надо нам обзаводиться лошадью. Оплаканная езда на этих клешнятых апостолах». В кладовой он как-то случайно обнаружил ведерко белил и ультрамарин и тотчас же решил покрасить серые от ветхости ставни. Мелеховский курень словно помолодел, глянув на мир ярко-голубыми глазницами окон...

Ретивым хозяином оказался Мишка. Несмотря на болезнь, он работал не покладая рук. В любом деле ему помогала Дуняшка.

За недолгие дни замужней жизни она заметно похорошела и как будто раздалась в плечах и бедрах. Что-то новое появилось в выражении ее глаз, в походке, даже в манере поправлять волосы. Исчезли ранее свойственные ей неловкая угловатость движений, ребяческая размашистость и живость. Улыбающаяся и притихшая, она смотрела на

мужа влюбленными глазами и не видела ничего вокруг. Молодое счастье всегда незряче...

А Ильинична с каждым днем все резче и больнее ощущала подступавшее к ней одиночество. Она стала лишней в доме, в котором прожила почти всю свою жизнь. Дуняшка с мужем работали так, словно на пустом месте создавали собственное гнездо. С ней они ни о чем не советовались и не спрашивали ее согласия, когда предпринимали что-либо по хозяйству; как-то не находилось у них и ласкового слова к старухе. Только садясь за стол, они перебрасывались с ней несколькими незначащими фразами, и снова Ильинична оставалась одна со своими невеселыми мыслями. Ее не радовало счастье дочери, присутствие чужого человека в доме — а зять по-прежнему оставался для нее чужим — тяготило. Сама жизнь стала ей в тягость. За один год потеряв столько близких ее сердцу людей, она жила, надломленная страданием, постаревшая и жалкая. Много пришлось испытать ей горя, пожалуй даже слишком много. Она была уже не в силах сопротивляться ему и жила, исполненная суеверного предчувствия, что смерть, так часто повадившаяся навещать их семью, еще не раз переступит порог старого мелеховского дома. Примирившись с замужеством Дуняшки, Ильинична хотела лишь одного: дождаться Григория, передать ему детей, а потом навсегда закрыть глаза. За свою долгую и трудную жизнь она выстрадала это право на отдых.

Нескончаемо тянулись длинные летние дни. Жарко светило солнце. Но Ильиничну уже не согревали колючие солнечные лучи. Она подолгу сидела на крыльце, на самом припеке, неподвижная и безучастная ко всему окружающему. Это была уже не прежняя хлопотливая и рачительная хозяйка. Ей ничего не хотелось делать. Все это было ни к чему и казалось теперь ненужным и нестоящим, да и сил не хватало, чтобы трудиться, как в былые дни. Часто она рассматривала свои раздавленные многолетней работой руки, мысленно говорила: «Вот уж и отработались мои ручушки... Пора на покой... Зажилась я, хватит... Только бы дождаться Гришеньку...»

Лишь однажды к Ильиничне вернулась, и то ненадолго, прежняя жизнерадостность. По пути из станицы зашел Прохор, еще издали крикнул:

— Магарыч станови, бабка Ильинична! Письмо от сына доставил!

Старуха побледнела. Письмо в ее представлении не-

избежно связывалось с новым несчастьем. Но когда Прохор прочитал коротенькое письмо, наполовину состоявшее из поклонов родным и лишь в конце содержавшее приписку о том, что он, Григорий, постарается к осени прийти на побывку,— Ильинична долго ничего не могла сказать от радости. По коричневому лицу ее, по глубоким морщинам на щеках катились мелкие, как бисер, слезинки. Понурив голову, она вытирала их рукавом кофты, шершавой ладонью, а они всё сбегали по лицу и, капая на завеску, пестрили ее, словно частый теплый дождь. Прохор не то что недолюбливал,— он прямо-таки не переносил женских слез, поэтому-то он, морщась с нескрываемой досадой, сказал:

— Эк тебя развезло, бабушка! Сколь много у вашего брата, у баб, этой мокрости... Радоваться надо, а не кричать. Ну, пошел я, прощевай! Приятности мне мало на тебя глядеть.

Ильинична спохватилась, остановила его.

— За такую-то весточку, милушка ты мой... Как же это я так... Постой-ка, угощу тебя...— бессвязно бормотала она, доставая из сундука хранившуюся с давнишних пор бутылку самогона.

Прохор присел, разгладил усы.

— Ты-то выпьешь со мной на радостях? — спросил он. И тотчас же с тревогой подумал: «Ну, вот и опять дернул меня черт за язык! Как раз ишо влипнет в часть, а там этой самогонки на одну понюшку...»

Ильинична отказалась. Она бережно свернула письмо, положила его на божницу, но, видно, передумав, снова взяла, подержала в руках и сунула за пазуху, крепко прижала к сердцу.

Дуняшка, вернувшись с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула:

— Ох, хотя бы он поскорей пришел! А то вы, маманя, и на себя непохожи стали.

Ильинична ревниво отобрала у нее письмо, опять спрятала его за пазуху и, улыбаясь, глядя на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала:

— Обо мне и собаки не брешут, уж какая есть, а вот младшенький-то вспомнил про матерю! Как он пишет-то! По отчеству, Ильиничной, повеличал... Низко кланяюсь, пишет, дорогой мамаше и еще дорогим деткам, и про тебя не забыл... Ну чего смеешься? Дура ты, Дуняшка, чистая дура!

— Так уж, маманя, и улыбнуться мне нельзя! Куда это вы собираетесь?

— На огород пойду, подобью картошку.

— Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела враз нашли.

— Нет, я пойду... Радость у меня, хочу одна побыть,— призналась Ильинична и по-молодому проворно покрылась платком.

По пути на огород она зашла к Аксинье, сначала для приличия поговорила о посторонних делах, а потом достала письмо.

— Прислал письмецо наш, порадовал матерю, сулится на побывку прийтить. На-кось, соседушка, почитай, и я ишо разок послухаю.

С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая просила:

— Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на сердце, и во сне его видела маленьким, таким, как он ишо в школу ходил...

Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать, но для Аксиньи это не составляло затруднений: она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотья, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки.

Недели две спустя Ильинична почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на молотьбе, и отрывать ее от работы Ильинична не хотела, но сама стряпать не могла.

— Не встану я нынче. Уж ты как-нибудь одна управляйся,— попросила она дочь.

— А что у вас болит, маманя?

Ильинична разгладила сборки на своей старенькой кофте,— не поднимая глаз, ответила:

— Все болит... Кубыть все у меня в середке отбито. Смолоду, бывало, покойничек отец твой разгневается и зачнет меня бить... А кулачья-то у него были железные... По неделе лежала замертво. Вот так и зараз: все у меня ломит, будто избитая я...

— Может, за фельдшером послать Михаила?

— На что он нужен, как-нибудь встану

Ильинична на другой день действительно поднялась,

походила по двору, но к вечеру снова слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она несколько раз, опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек, часто дышала — ей не хватало дыхания. Потом удушье прошло. Она могла спокойно лежать на спине и даже вставать с постели. Несколько дней провела в состоянии какой-то тихой отрешенности и покоя. Ей хотелось быть одной, и когда приходила проведать ее Аксинья, она скупо отвечала на вопросы и облегченно вздыхала, когда та уходила. Она радовалась, что детишки бóльшую часть дня проводят во дворе и что Дуняшка редко заходит и не тревожит ее всякими вопросами. Она уже не нуждалась ни в чьем сочувствии и утешении. Пришла такая пора, когда властно потребовалось остаться одной, чтобы вспомнить многое из своей жизни. И она, полузакрыв глаза, часами лежала, не шевелясь, только припухшие пальцы ее перебирали складки одеяла, и вся жизнь проходила перед ней за эти часы.

Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь и как много в ней было тяжелого и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Быть может, потому, что тревога за его судьбу не покидала ее все годы с начала войны и все, что связывало теперь ее с жизнью, заключалось только в нем. Или же тоска по старшему сыну и мужу притупилась, выветрилась со временем, но о них, о мертвых, она вспоминала реже, и виделись они ей как бы сквозь серую туманную дымку. Она неохотно вспоминала молодость, замужнюю свою жизнь. Все это было просто не нужно, ушло так далеко и не приносило ни радости, ни облегчения. И, возвращаясь к прошлому в последних воспоминаниях, она оставалась строгой и чистой. А вот «младшенький» вставал в памяти с предельной, почти осязательной яркостью. Но стоило ей подумать о нем, как сейчас же она начинала слышать свое учащенное сердцебиение. Потом подступало удушье, лицо ее чернело, и она подолгу лежала в беспамятстве, но, отдышавшись, снова думала о нем. Не могла же она забыть своего последнего сына...

Однажды Ильинична лежала в горнице. За окном сияло полуденное солнце. На южной окраине неба в ослепительной синеве величественно плыли белые вздыбленные ветром облака. Глухую тишину нарушал лишь монотонный, усыпляющий звон кузнечиков. Снаружи под самым окном

сохранилась не выжженная солнцем, прижавшаяся к фундаменту трава — полуувядшая лебеда вперемежку с овсюгом и пыреем,— в ней-то, найдя себе приют, и заливались кузнечики. Ильинична прислушалась к их неумолчному звону, уловила проникший в горницу запах нагретой солнцем травы, а перед глазами ее на миг, как видение, возникла опаленная солнцем августовская степь, золотистая пшеничная стерня, задернутое сизой мглою жгучее синее небо...

Она отчетливо видела быков, пасущихся на полынистой меже, арбу с раскинутым над ней пологом, слышала трескучий звон кузнечиков, вдыхала приторно горький запах полыни... Она увидела и себя — молодую, рослую, красивую... Вот она идет, спешит к стану. Под ногами ее шуршит, покалывает голые икры стерня, горячий ветер сушит на спине мокрую от пота, вобранную в юбку рубаху, обжигает шею. Лицо ее полыхает румянцем, от прилива крови тонко звенит в ушах. Она придерживает согнутой рукою тяжелые, тугие, налитые молоком груди и, заслышав захлебывающийся детский плач, прибавляет шагу, на ходу расстегивает ворот рубахи.

Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной к арбе люльки крохотного смуглого Гришатку. Придерживая зубами мокрый от пота гайтан нательного крестика, она торопливо дает ему грудь, сквозь стиснутые зубы шепчет: «Милый ты мой, сыночек! Расхорош ты мой! Уморила тебя с голоду мать...» Гришатка, все еще обиженно всхлипывая, сосет и больно прихватывает зубенками сосок. А рядом стоит, отбивает косу, молодой черноусый Гришаткин отец. Из-под опущенных ресниц она видит его улыбку и голубые белки усмешливых глаз... Ей трудно дышать от жары, пот стекает со лба и щекочет щеки, и меркнет, меркнет свет перед глазами...

Она очнулась, провела рукой по мокрому от слез лицу и после долго лежала, мучаясь от жесточайшего приступа удушья, временами впадая в беспамятство.

С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил, встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она, хворая, туда пошла?» — удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц. Со степи набе-

гал ветерок. От прикладка соломы на голый, выбитый каменными катками, ток ложилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за изгородь, смотрела в степь, туда, где, словно недоступная далекая звездочка, мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильиничны, седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старушечьей шальки.

Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала:

— Гришенька! Родненький мой! — Помолчала и уже другим, низким и глухим голосом сказала: — Кровинушка моя!..

Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому.

В эту ночь Ильинична поняла, что скоро умрет, что смерть уже подошла к ее изголовью. На рассвете она достала из сундука рубаху Григория, свернула и положила под подушку; приготовила и свое, смертное, во что ее должны были обрядить после последнего вздоха.

Утром Дуняшка, как всегда, зашла проведать мать. Ильинична достала из-под подушки аккуратно свернутую рубаху Григория, молча протянула ее Дуняшке.

— Что это? — удивленно спросила Дуняшка.

— Гришина рубаха... Отдай мужу, нехай носит, на нем его старая-то небось сопрела от пота...— чуть слышно проговорила Ильинична.

Дуняшка увидела лежавшие на сундуке черную материну юбку, рубаху и матерчатые чирики,— все, что надевают на покойниц, провожая их в дальний путь,— увидела и побледнела.

— Что это вы, маманюшка, смертное приготовили? Приберите его, ради Христа! Господь с вами, рано вам об смерти думать.

— Нет, пора мне...— прошептала Ильинична.— Мой черед... Детишек береги, соблюдай, пока Гриша возвернется... А я уж его, видно, не дождуся... Ох, не дождуся!..

Чтобы Дуняшка не видела ее слез, Ильинична отвернулась к стене и закрыла лицо платком.

Через три дня она умерла. Сверстницы Ильиничны обмыли ее тело, обрядили в смертное, положили на стол в горнице. Вечером Аксинья пришла попрощаться с покой-

ной. Она с трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильиничны. Прикоснувшись губами к желтому холодному лбу покойной, Аксинья заметила знакомую ей непокорную, выбившуюся из-под беленького головного платочка седую прядь волос и крохотную круглую, совсем как у молодой, раковинку уха.

С согласия Дуняшки Аксинья увела детей к себе. Она накормила их — молчаливых и напуганных новой смертью,— уложила спать с собой. Странное чувство испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон, притихших детишек родного ей человека. Вполголоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мыслей о мертвой бабушке. Тихо, нараспев, досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке:

Гуси-лебеди,
Возьмите меня
На белы крылышки,
Унесите меня
На родимую
На сторонушку...

И не успела закончить сказку, как услышала ровное, мерное дыханье детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся голову и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватила спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий, но она даже не могла вытереть слез: на руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить.

IV

После смерти Ильиничны Кошевой, оставшийся в доме единственным и полновластным хозяином, казалось бы, должен был с еще большим усердием взяться за переустройство хозяйства, за дальнейшее его расширение, но на деле вышло не так: с каждым днем Мишка работал все менее охотно, все чаще уходил из дому, а вечерами допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Дуняшка не могла не заметить происходившей с мужем перемены. Она не раз с удивлением наблюдала, как Мишка,

ранее трудившийся с полным самозабвением, вдруг ни с того ни с сего бросал топор или рубанок и садился где-либо в сторонке отдыхать. То же самое было и в поле, когда сеяли озимую рожь: пройдет Мишка два гона, остановит быков, свернет цигарку и долго сидит на пашне, покуривает, морщит лоб.

Унаследовавшая от отца практическую сметку, Дуняшка с тревогой думала: «Ненадолго его хватило... Либо хворает, либо просто приленивается. Беды я наберусь с таким муженьком! Как, скажи, он у чужих людей живет, полдня курит, полдня чухается, а работать некогда... Надо с ним потолковать потихоньку, чтобы не осерчал, а то, ежели он будет и дальше так стараться в хозяйстве, нужду из дома и лопатой не выгребешь...»

Однажды Дуняшка осторожно спросила:

— Что-то ты не такой стал, Миша, аль хворость тебя одолевает?

— Какая там хворость! Тут без хворости тошно,— с досадой ответил Мишка и тронул быков, пошел за сеялкой.

Дуняшка сочла неудобным продолжать расспросы; в конце концов не бабье это дело — учить мужа. На том разговор и кончился.

Дуняшка ошибалась в своих догадках. Единственной причиной, мешавшей Мишке работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что преждевременно осел он в родном хуторе: «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил...» — с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его настроение хуторян: некоторые из них открыто говорили, что Советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что союзники высадили в Новороссийске огромный десант... Слухи, один нелепей другого, распространялись по хутору. Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и с рудников, успевшие за лето отъесться на домашних харчах, держались особняком, по ночам пили самогон, вели какие-то свои разговоры, а встречаясь с Мишкой, с деланным равнодушием спрашивали: «Ты газетки прочитываешь, Кошевой, расскажи, как там, Врангеля скоро прикончат? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?»

Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков.

Мишка только что вернулся с поля, умывался, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой смотрела на худую загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца, спросил:

— Про Григория Пантелевича ничего не слыхать?

— Нет,— ответила Дуняшка,— не пишет.

— А ты по нем соскучился? — Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза Прохора.

Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи.

— Само собой. Вместе всю службу сломали.

— И сызнова думаете доламывать?

— Чего это?

— Ну, службу.

— Мы с ним свое отслужили.

— А я думал, что ты его ждешь не дождешься опять служить,— все так же без улыбки продолжал Мишка.— Опять воевать против Советской власти...

— Ну, это ты зря, Михаил,— обиженно проговорил Прохор.

— Чего же зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по хутору ходят.

— Либо я говорил такое? Где это ты слыхал?

— Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие все «своих» ждут.

— Я этих «своих» не жду, мне все одинаковые.

— Вот это и плохо, что тебе все одинаковые. Пойдем в хату, не обижайся, это я шутейно говорил.

Прохор неохотно поднялся по крыльцу и, переступив порог сеней, сказал:

— Шутки твои, браток, не дюже веселые... Об старом забывать надо. Я за это старое оправдался.

— Старое не все забывается,— сухо сказал Мишка, садясь за стол.— Присаживайся вечерять с нами.

— Спасибо. Конешно, не все забывается. Вот руки я лишился — и рад бы забыть, до оно не забывается, кажный секунд об этом помнишь.

Дуняшка, накрывая на стол и не глядя на мужа, спросила:

— Что же, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это?

— А ты как думала?

— А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон.

— Ну, это, может, так по Евангелию гласит,— холодно сказал Мишка.— А по-моему, должон человек всегда отвечать за свои дела.

— Власть про это ничего не говорит,— тихо сказала Дуняшка.

Ей не хотелось вступать в пререкания с мужем при постороннем человеке, но в душе она была обижена на Михаила за его, как казалось ей, неуместную шутку с Прохором и за ту неприязнь к брату, которую он открыто высказал.

— Тебе она, власть, ничего не говорит, ей с тобой не об чем разговаривать, а за службу в белых надо отвечать перед советским законом.

— И мне, стал быть, отвечать? — поинтересовался Прохор.

— Твое дело телячье: поел да в закут. С денщиков тут не спрашивают, а вот Григорию придется, когда заявится домой. Мы у него спросим за восстание.

— Ты, что ли, будешь спрашивать? — Дуняшка, сверкнув глазами, поставила на стол миску с молоком.

— И я спрошу,— спокойно ответил Мишка.

— Не твое это дело... Без тебя найдутся спрашивальщики. Он в Красной Армии заслужил себе прощение...

Голос Дуняшки вздрагивал. Она села к столу, перебирая пальцами оборки завески. Мишка, словно он и не заметил волнения, охватившего жену, с тем же спокойствием продолжал:

— Мне тоже интересно спросить. А насчет прощения погодить надо... Надо ишо разглядеть, как он его заслужил. Нашей крови он пролил немало. Ишо примерить надо, чья кровь переважит...

Это был первый разлад за все время их совместной жизни с Дуняшкой. В кухне стояла неловкая тишина. Мишка молча хлебал молоко, изредка вытирая рушником губы. Прохор курил, посматривал на Дуняшку. Потом он заговорил о хозяйстве. Посидел еще с полчаса. Перед уходом спросил:

— Кирилл Громов пришел. Слыхал?

— Нет. Откуда он явился?

— Из красных. Тоже в Первой Конной был.

— Это он у Мамонтова служил?

— Он самый.

— Лихой вояка был,— усмехнулся Мишка.

— Куда там! По грабежу первый был. Легкая у него рука на это.

— Рассказывали про него, будто он пленных рубил без милости. За ботинки солдатские убивал. Убьет — одними ботинками пользуется.

— Был такой слух,— подтвердил Прохор.

— Его тоже надо прощать? — вкрадчиво спросил Мишка.— Бог, дескать, прощал врагов и нам велел, или как?

— Да ить как сказать... А что ты с него возьмешь?

— Ну, я бы взял...— Мишка прищурил глаза.— Я бы так с него взял, что он опосля этого и дух выпустил! Да он от этого не уйдет. В Вёшках Дончека есть, она его приголубит.

Прохор улыбнулся, сказал:

— Вот уж истинно, что горбатого могила выпрямит. Он и из Красной Армии пришел с грабленым добром. Моей бабе его женёнка похвалялась, что какую-то пальто женскую ей принес, сколько там платьев и разного другого добра. Он в бригаде Маслака был и оттуда подался домой. Не иначе он дезиком заявился, оружие с собой принес.

— Какое оружие? — заинтересовался Мишка.

— Понятно какое: укороченную карабинку, ну, наган, может, ишо что-нибудь.

— В Совет он ходил регистрироваться, не знаешь?

Прохор рассмеялся, махнул рукой.

— Его туда и на аркане не затянешь! Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче завтра из дому смотается. Вот Кирилл, по всему видать, ишо думает воевать, а ты на меня грешил. Нет, браток, я свое отвоевал, наелся этого добра по самую завязку.

Прохор вскоре ушел. Спустя немного времени вышел во двор и Мишка. Дуняшка покормила детей и только что собралась ложиться, как вошел Мишка. В руках он держал что-то завернутое в мешковину.

— Куда тебя черти носили? — неласково спросила Дуняшка.

— Свое приданое доставал,— беззлобно улыбнулся Мишка.

Он развернул заботливо упакованную винтовку, распухший от патронов подсумок, наган и две ручные гранаты. Все это сложил на лавку и осторожно нацедил в блюдце керосину.

— Откуда это? — Дуняшка движением бровей указала на оружие.

— Мое, с фронта.
— А где же ты его хоронил?
— Где бы ни хоронил, а вот соблюл в целости.
— Вон ты, оказывается, какой потаенный. И не сказал ничего. От жены и то хоронишься?

Мишка, с деланной беззаботностью улыбаясь и явно заискивая, сказал:

— И на что это тебе было знать, Дунюшка? Это дело не бабье. Нехай оно — это имение — лежит, оно, девка, в доме не лишнее.

— А к чему ты его в хату приволок? Ты же законником стал, все знаешь... А за это тебе не прийдется по закону отвечать?

Мишка посуровел с виду, сказал:

— Ты дура! Когда Кирюшка Громов оружие приносит — это Советской власти вред, а когда я приношу — окромя пользы Советской власти от этого ничего не будет. Понимаешь ты? Перед кем же я могу быть в ответе? Болтаешь ты бог знает что, ложись, спи!

Он сделал единственно правильный, по его мнению, вывод: если уж белые недобитки приходят с оружием, то ему надо быть настороже. Он тщательно прочистил винтовку и наган, а наутро, чуть свет, пешком отправился в Вешенскую.

Дуняшка, укладывая ему харчи в подсумок, с досадой и горечью воскликнула:

— Ты все со мной в молчанку играешь! Скажи хоть, надолго ли идешь и по какому делу? Что это за черт, за жизня! Собрался идти — и слова от него не добьешься!.. Муж ты мне или пришей-пристебай?

— Иду в Вёшки, на комиссию, чего я тебе ишо скажу? Вернусь, тогда все узнаешь.

Придерживая рукой подсумок, Мишка спустился к Дону, сел в баркас и ходко погнал его на ту сторону.

* * *

В Вешенской после осмотра на врачебной комиссии доктор коротко сказал Мишке:

— Не годитесь вы, дорогой товарищ, для службы в рядах Красной Армии. Очень вас малярия истрепала. Лечиться надо, а то будет плохо. Такие Красной Армии не нужны.

— А какие же ей нужны? Два года служил, а теперь не нужен стал?

— Нужны прежде всего здоровые люди. Станете здоровым — и вы понадобитесь. Возьмите рецепт, в аптеке получите хинин.

— Та-а-ак, все понятно.— Кошевой надевал гимнастерку словно хомут на норовистую лошадь: все никак не мог просунуть голову в воротник, штаны застегнул уже на улице и прямиком направился в окружной комитет партии.

...Вернулся в Татарский Мишка председателем хуторского ревкома. Наскоро поздоровавшись с женой, сказал:

— Ну, теперь поглядим!

— Ты об чем это? — удивленно спросила Дуняшка.

— Все об том же.

— Об чем?

— Председателем меня назначили. Понятно?

Дуняшка горестно всплеснула руками. Она хотела чего-то сказать, но Мишка не стал ее слушать, он оправил перед зеркалом ремень на вылинявшей защитной гимнастерке и зашагал в Совет.

Председателем ревкома с самой зимы был старик Михеев. Подслеповатый и глухой, он тяготился своими обязанностями и с превеликой радостью узнал от Кошевого о том, что пришла ему смена.

— Вот бумажки, соколик ты мой, вот хуторская печать, бери их, ради Христа,— говорил он с непритворной радостью, крестясь и потирая руки.— Восьмой десяток мне, сроду в должности не ходил, а тут вот на старости годов пришлось... Это самое ваше молодое дело, а мне где уж там! И недовижу и недослышу... Богу молиться пора, а меня председателем назначили...

Мишка бегло просмотрел предписания и приказы, присланные станичным ревкомом, спросил:

— Секретарь где?

— Ась?

— Э, черт, секретарь где, говорю?

— Секельтарь? Житу сеет. Он, пострели его гром, в неделю раз сюда заходит. Иной раз из станицы прийдет бумага, какую надо почитать, а его и с собаками не сыщешь. Так и лежит важная бумага, по скольку дней не читанная. А из меня грамотей плохой, ох, плохой! Со трудом расписываюсь, а читать вовсе не могу, только и могу, что печать становить...

Сдвинув брови, Кошевой рассматривал ошарпанную

комнату ревкома, украшенную одним стареньким, засиженным мухами плакатом.

Старик до того обрадовался неожиданному увольнению, что даже отважился на шутку: передавая Кошевому завернутую в тряпицу печать, сказал:

— Вот и все хуторское хозяйство, денежных суммов нету, а насеки атаманской при Советской власти иметь не полагается. Коли хочешь — свой стариковский костыль могу отдать,— и протянул, беззубо улыбаясь, отполированную ладонями ясеневую палку.

Но Кошевой не был расположен к шуткам. Еще раз он оглядел жалкую в своей неприглядности комнату ревкома, нахмурился и со вздохом сказал:

— Будем считать, дед, что дела от тебя я принял. Теперь катись отседова к едреной бабушке,— и выразительно показал глазами на дверь.

А потом сел за стол, широко расставил локти и долго сидел в одиночестве, стиснув зубы, выставив вперед нижнюю челюсть. Боже мой, каким же сукиным сыном был он все это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом... Злой донельзя на себя и на все окружающее, Мишка встал из-за стола, оправил гимнастерку, сказал, глядя в пространство, не разжимая зубов:

— Я вам, голуби, покажу, что такое Советская власть!

Дверь он плотно прикрыл, накинув цепку на пробой, зашагал через площадь к дому. Около церкви встретил подростка Обнизова, небрежно кивнул ему головой, прошел мимо и, вдруг озаренный догадкой, повернулся, окликнул:

— Эй, Андрюшка! Постой-ка, пойди сюда!

Белобрысый застенчивый паренек молча подошел к нему. Мишка, как взрослому, протянул ему руку, спросил:

— Ты куда направлялся? На энтот край? Ну-ну, гуляешь, значит? По делу? Вот что я у тебя хочу спросить: ты вроде в высшем начальном учился? Учился? Это хорошо. А канцелярию-то знаешь?

— Какую?

— Ну, обыкновенную. Разные там уходящие-выходящие знаешь?

— Ты про что говоришь, товарищ Кошевой?

— Ну, про бумажки, какие бывают. Ты это знаешь? Ну, бывают уходящие, бывают всякие другие.— Мишка неопределенно пошевелил пальцами и, не дожидаясь ответа, твердо сказал: — Ежли не знаешь, потом выучишься. Я за-

раз председатель хуторского ревкома, а тебя — как грамотного парнишку — назначаю секретарем. Иди в помещение ревкома и карауль там дела, они все на столе лежат, а я вскорости вернусь. Понятно?

— Товарищ Кошевой!

Мишка махнул рукой, нетерпеливо сказал:

— Это потом мы с тобой потолкуем, иди занимай должность,— и медленно, размеренным шагом пошел по улице.

Дома он надел новые шаровары, сунул в карман наган и, тщательно поправляя перед зеркалом фуражку, сказал жене:

— Схожу тут в одно место по делу. Ежли кто будет спрашивать, где, мол, председатель,— скажи, что скоро возвернется.

Должность председателя кое к чему обязывала... Мишка шел медленно и важно; походка его была столь необычна, что кое-кто из хуторных при встрече останавливался и с улыбкой смотрел ему вслед. Прохор Зыков, повстречавшийся ему в переулке, с шутливой почтительностью попятился к плетню, спросил:

— Да ты что это, Михаил? В будний день во все доброе вырядился и выступаешь, как на параде... Уж не сызнова ли свататься идешь?

— Вроде этого,— ответил Мишка, значительно сжав губы.

Около ворот громовского база он, не останавливаясь, полез в карман за кисетом, зорко оглядел широкое подворье, разбросанные по нему дворовые постройки, окна куреня.

Мать Кирилла Громова только что вышла из сеней. Откинувшись назад, она несла таз с мелко нарезанными кусками кормовой тыквы. Мишка почтительно поздоровался с ней, шагнул на крыльцо.

— Дома Кирилл, тетенька?

— Дома, дома, проходи,— сторонясь, сказала старуха.

Мишка вошел в темные сени, в полутьме нащупал дверную ручку.

Кирилл сам открыл ему дверь в горницу, отступил на шаг. Чисто выбритый, улыбающийся и слегка хмельной, он окинул Мишку коротким изучающим взглядом, непринужденно сказал:

— Ишо один служивый! Проходи, Кошевой, садись, гостем будешь. А мы тут выпиваем, так, по маленькой...

— Хлеб-соль да сладкая чарка.— Мишка пожал руку хозяина, оглядывая сидевших за столом гостей.

Приход его был явно не ко времени. Широкоплечий незнакомый Михаилу казак, развалившийся в переднем углу, коротко и вопросительно взглянул на Кирилла, отодвинул стакан. Сидевший по ту сторону стола Ахваткин Семен — дальний родственник Коршуновых, увидев Михаила, нахмурился и отвел глаза.

Хозяин пригласил Мишку к столу.

— Спасибо за приглашение.

— Нет, ты садись, не обижай, выпей с нами.

Мишка присел к столу. Принимая из рук хозяина стакан с самогонкой, кивнул головой:

— С прибытием тебя, Кирилл Иванович!

— Спасибо. Ты-то давно из армии?

— Давно. Успел обжиться.

— И обжиться и жениться, говорят, успел? Да ты что же это кривишь душой? Пей по всей!

— Не хочу. У меня к тебе дело есть.

— Это уж нет! Это ты не балуйся! Нынче я об делах не гутарю. Нынче я гуляю с друзьями. Ежли ты по делу, приходи завтра.

Мишка встал из-за стола,— спокойно улыбаясь, сказал:

— Оно и дело пустяшное, да не терпит. Давай выйдем на минутку.

Кирилл, поглаживая тщательно закрученные черные усы, некоторое время молчал, потом встал.

— Может, тут скажешь? Чего же мы будем компанию рушить?

— Нет, давай выйдем,— сдержанно, но настойчиво попросил Мишка.

— Да выйди ты с ним, чего торгуетесь? — сказал незнакомый Мишке широкоплечий казак.

Кирилл неохотно пошел в кухню. Жене, хлопотавшей у печи, шепнул:

— Выйди отседова, Катерина! — И, садясь на лавку, сухо спросил: — Какое дело?

— Ты сколько дней дома?

— А что?

— Сколько, спрашиваю, дома живешь?

— Четверый день, кажись.

— А в ревком заходил?

— Нет пока.

— А в Вёшки думаешь идти, в военкомат?

— Ты к чему это гнешь? Ты по делу пришел, так об деле и говори.

— Я об деле и говорю.

— Тогда ступай ты к черту! Ты что такое есть за кочка на ровном месте, что я тебе должен отчет давать?

— Я председатель ревкома. Покажи удостоверение из части.

— Во-о-он что! — протянул Кирилл и острыми потрезвевшими глазами глянул в зрачки Михаила.— Во-о-он ты куда!

— Туда самое. Давай удостоверение.

— Нынче прийду в Совет и принесу.

— Сейчас давай!

— Оно у меня где-то прибратое.

— Найди.

— Нет, зараз не буду искать. Ступай домой, Михаил, ступай от скандалу.

— У меня с тобой скандал короткий...— Мишка положил руку в правый карман.— Одевайся!

— Брось, Михаил! Ты меня лучше не трогай...

— Пойдем, я тебе говорю!

— Куда?

— В ревком.

— Мне что-то не хочется.— Кирилл побледнел, но говорил, насмешливо улыбаясь.

Качнувшись влево, Мишка вытащил из кармана наган, взвел курок.

— Ты пойдешь или нет? — спросил он тихо.

Кирилл молча шагнул к горнице, но Мишка стал ему на пути, глазами указал на дверь в сени.

— Ребята! — с деланной непринужденностью крикнул Кирилл.— Меня тут вроде арестовали! Допивайте водку без меня!

Дверь из горницы широко распахнулась, Ахваткин ступил было через порог, но, увидев направленный на него наган, поспешно отшатнулся за притолоку.

— Иди,— приказал Мишка Кириллу.

Тот вразвалку пошел к выходу, лениво взялся за скобу и вдруг одним прыжком перемахнул сени, бешено хлопнул наружной дверью, прыгнул с крыльца. Пока он, пригибаясь, бежал через двор к саду,— Мишка выстрелил по нему два раза и не попал. Положив ствол нагана на локоть согнутой левой руки, широко расставив ноги, Мишка тщательно целился. После третьего выстрела Кирилл как будто спотк-

нулся, но, оправившись, легко прыгнул через плетень. Мишка сбежал с крыльца. Вслед ему из дома грохнул сухой и отрывистый винтовочный выстрел. Впереди, в побеленной стене сарая пуля выхватила глину и, цокнув, осыпала на землю серые каменные брызги.

Кирилл бежал легко и быстро. Согнутая фигура его мелькала между зелеными шатрами яблонь. Мишка перепрыгнул плетень, упал, лежа выстрелил по убегающему еще два раза и повернулся лицом к дому. Наружная дверь была широко распахнута. На крыльце стояла мать Кирилла, козырьком приложив к глазам ладонь, смотрела в сад. «Надо было его без разговоров стрелять на месте!» — тупо подумал Мишка. Он еще несколько минут лежал под плетнем, посматривая на дом, и каким-то размеренным, механическим движением счищал прилипшую к коленям грязь, а потом встал, тяжело перелез через плетень и, опустив дуло нагана, пошел к дому.

V

Вместе с Кириллом Громовым скрылись Ахваткин и тот незнакомый казак, которого видел Кошевой, когда пришел к Громовым. В ночь еще двое казаков исчезли из хутора. Из Вёшенской в Татарский приехал небольшой отряд Дончека. Кое-кого из казаков арестовали, четырех, явившихся из частей без документов, направили в Вёшенскую в штрафную роту.

Кошевой целыми днями просиживал в ревкоме, в сумерках приходил домой, возле кровати клал заряженную винтовку, наган засовывал под подушку и ложился спать не раздеваясь. На третий день после случая с Кириллом он сказал Дуняшке:

— Давай спать в сенцах.

— Чего ради? — изумилась Дуняшка.

— В окно могут стре́льнуть. Кровать возле окна.

Дуняшка молча переставила кровать в сени, а вечером спросила:

— Что ж, так и будем на заячьем положении жить? И зима прийдет, а мы всё будем в сенцах ютиться?

— До зимы далеко, а пока прийдется так жить.

— И докуда же это «пока» будет?

— Пока Кирюшку не шлепну.

— Так он тебе лоб и подставил!

— Когда-нибудь подставит,— уверенно ответил Мишка.

Но расчеты его не оправдались: Кирилл Громов, скрывшийся вместе со своими приятелями где-то за Доном,— услышав о приближении Махно, перебрался на правую сторону Дона и отправился в станицу Краснокутскую, где, по слухам, оказались передовые отряды махновской банды. Ночью он побывал в хуторе, на улице случайно встретил Прохора Зыкова и приказал передать Кошевому, что, мол, Громов низко кланяется и просит ждать в гости. Прохор утром рассказал Мишке о встрече и разговоре с Кириллом.

— Что ж, пусть является. Один раз ушел, а в другой уже не вырвется. Научил он меня, как с ихним братом надо обходиться, и за это спасибо,— сказал Мишка, выслушав рассказ.

Махно действительно появился в пределах Верхне-Донского округа. Под хутором Коньковым в коротком бою он разбил пехотный батальон, высланный ему навстречу из Вешенской, но на окружной центр не пошел, а двинулся к станции Миллерово, севернее ее пересек железную дорогу и ушел по направлению к Старобельску. Наиболее активные белогвардейцы-казаки примкнули к нему, но большинство их остались дома, выжидая.

Все так же настороженно жил Кошевой, внимательно присматриваясь ко всему, что происходило в хуторе. А жизнь в Татарском была не очень-то нарядная. Казаки усердно поругивали Советскую власть за все те нехватки, которые приходилось им испытывать. В крохотной лавчонке недавно организованного ЕПО [1] почти ничего не было. Мыло, сахар, соль, керосин, спички, махорка, колесная мазь — все эти предметы первой необходимости отсутствовали в продаже, и на голых полках сиротливо лежали одни дорогие асмоловские папиросы да кое-что из скобяных товаров, на которые месяцами не находилось покупателя.

Вместо керосина по ночам жгли в блюдцах топленое коровье масло и жир. Махорку заменял доморощенный табак — самосад. В широком ходу за отсутствием спичек были кремни и наспех выделываемые кузнецами стальные кресала. Трут вываривали в кипятке с подсолнечной золой, чтобы скорее загорался, но все же с непривычки огонь добывался трудно. Не раз Мишка, по вечерам возвращаясь из ревкома, наблюдал, как курцы, собравшись где-нибудь

---

[1] ЕПО — Единое потребительское общество.

на проулке в кружок и дружно высекая из кремней искры, вполголоса матерно ругались, приговаривали: «Власть Советская, дай огня!» Наконец у кого-либо искра, попавшая в сухой трут, возгоралась, все дружно дули на тлеющий огонек и, закурив, молча присаживались на корточки, делились новостями. Не было и бумаги на раскурку. В церковной караулке растащили все метрические книги, а когда покурили их, по домам пошло на цигарки все, включая старые ребячьи учебники и даже стариковские священные книги.

Прохор Зыков, довольно часто захаживавший на старое мелеховское подворье, разживался у Михаила бумагой на курение, печально говорил:

— У бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами — содрал и покурил, Новый завет был, такая святая книжка,— тоже искурил. Старый завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали. У бабы книжка была поминальная, все сродствие там, живое и мертвое, прописанное,— тоже искурил. Что же, зараз мне надо капустные листья курить али, скажем, лопухи вялить на бумагу? Нет, Михаил, как хочешь, а давай газетку. Я без курева не могу. Я на германском фронте свою пайку хлеба иной раз на восьмушку махорки менял.

Невеселая была жизнь в Татарском в ту осень... Визжали на ходах и арбах неподмазанные колеса, сохла и лопалась без дегтя ременная упряжь и обувка, но скучнее всего было без соли. За пять фунтов соли в Вёшенской отдавали татарцы сытых баранов и возвращались домой, кляня Советскую власть и разруху. Эта проклятая соль много огорчений причинила Михаилу... Как-то в Совет пришли старики. Они чинно поздоровались с председателем, сняли шапки, расселись по лавкам.

— Соли нету, господин председатель,— сказал один из них.

— Господ нету зараз,— поправил Мишка.

— Извиняй, пожалуйста, это всё по старой привычке... Без господ-то жить можно, а без соли нельзя.

— Так что вы хотели, старики?

— Ты, председатель, хлопочи, чтоб привезли соль. С Маныча на быках ее не навозишься.

— Я докладал об этом в округе. Там это известно. Должны вскорости привезти.

— Пока солнце взойдет — роса очи выест,— сказал один из стариков, глядя в землю.

Мишка вспыхнул, встал из-за стола. Багровый от гнева, он вывернул карманы.

— У меня соли нету. Видите? С собой не ношу и из пальца вам я ее не высосу. Понятно, старики?

— Куда она подевалась, эта соль? — после некоторого молчания спросил кривой старик Чумаков, удивленно оглядывая всех единственным глазом.— Раньше, при старой власти, об ней и речей никто не вел, бугры ее лежали везде, а зараз и щепотки не добудешь...

— Наша власть тут ни при чем,— уже спокойнее сказал Мишка.— Тут одна власть виноватая: бывшая ваша кадетская власть! Это она разруху такую учинила, что даже соль представить, может, не на чем! Все железные дороги побитые, вагоны — то же самое...

Мишка долго рассказывал старикам о том, как белые при отступлении уничтожали государственное имущество, взрывали заводы, жгли склады. Кое-что он видел сам во время войны, кое о чем слышал, остальное же вдохновенно придумал с единственной целью — отвести недовольство от родной Советской власти. Чтобы оградить эту власть от упреков, он безобидно врал, ловчился, а про себя думал: «Не дюже большая беда будет, ежели я на сволочей и наговорю немножко. Всё одно они сволочи, и им от этого не убудет, а нам явится польза...»

— Вы думаете, они — эти буржуи — пальцем деланные, что ли? Они не дураки! Они все запасы сахару и соли, огромные тыщи пудов, собрали со всей России и увезли ишо загодя в Крым, а там погрузили на пароходы и — в другие страны, продавать,— блестя глазами, говорил Мишка.

— Что ж они, и мазут весь увезли? — недоверчиво спросил кривой Чумаков.

— А ты думал, дед, тебе оставили? Очень ты им нужен, как и весь трудящийся народ. Они и мазут найдут кому продать! Они бы всё с собой забрали, ежели б могли, чтобы народ тут с голоду подыхал.

— Это, конешно, так,— согласился один из стариков.— Богатые — все такие гущееды. Спокон веков известно: чем ни богаче человек, тем он жаднее. В Вёшках один купец, когда первое отступление было, все на подводы сложил, все имущество забрал до нитки, и вот уж красные близко подходют, а он все не выезжает с двора, одетый в шубе бегает по куреню, щипцами гвозди из стен вынает. «Не хочу, говорит, им, проклятым, ни одного гвоздя

оставить!» Так что нехитро, что они и мазут забрали с собой.

— Так как же все-таки без соли будем? — под конец разговора добродушно спросил старик Максаев.

— Соли наши рабочие скоро новой нароют, а пока можно на Маныч послать подводы,— осторожно посоветовал Мишка.

— Народ не хочет туда ехать. Калмыки там шкодят, соли на озерах не дают, быков грабежом забирают. Один мой знакомец пришел оттуда с одним кнутом. Ночью за Великокняжеской подъехали трое оруженных калмыков, быков угнали, а ему показали на горло: «Молчи, говорят, бачка, а то плохо помрешь...» Вот и поезжай туда!

— Прийдется подождать,— вздохнул Чумаков.

Со стариками Мишка кое-как договорился, но зато дома, и опять-таки из-за соли, вышел у него с Дуняшкой крупный разговор. Вообще что-то разладилось в их взаимоотношениях...

Началось это с того памятного дня, когда он в присутствии Прохора завел разговор о Григории, да так эта небольшая размолвка и не забылась. Однажды вечером Мишка за ужином сказал:

— Щи у тебя несоленые, хозяйка. Или недосол на столе, а пересол на спине?

— Пересола зараз при этой власти не будет. Ты знаешь, сколько у нас соли осталось?

— Ну?

— Две пригоршни.

— Дело плохое,— вздохнул Мишка.

— Добрые люди ишо летом на Маныч за солью съездили, а тебе все некогда было об этом подумать,— с укором сказала Дуняшка.

— На чем бы это я поехал? Тебя запрягать на первом году замужества как-то неудобно, а бычата нестоящие...

— Ты шуточки оставь до другого раза! Вот как будешь жрать несоленое — тогда пошути!

— Да ты чего на меня взъелась? На самом деле, откуда я тебе этой соли возьму? Вот какой вы, бабы, народ... Хоть отрыгни, да подай вам. А ежели ее нету, этой соли, будь она трижды проклята?

— Люди на быках на Маныч ездили. У них теперь и солка будет и все, а мы будем пресное с кислым жевать...

— Как-нибудь проживем, Дуня. Вскорости должны привезти соль. Аль у нас этого добра мало?

— У вас всего много.
— У кого это, у вас?
— У красных.
— А ты какая?
— Вот такая, какую видишь. Брехали-брехали: «всего-то у нас будет много, да все будем ровно жить да богато...» Вот оно и богачество ваше: щи посолить нечем!
Мишка испуганно посмотрел на жену, побледнел.
— Что это ты, Дуняха? Как ты гутаришь? Да разве можно?
Но Дуняшка закусила удила: она тоже побледнела от негодования и злости и, уже переходя на крик, продолжала:
— А так можно? Чего ты глаза вылупил-то? А ты знаешь, председатель, что у людей уж десны пухнут без соли? Знаешь ты, что люди вместо соли едят? Землю на солонцах роют, ходят ажник за Нечаев курган да в щи кладут эту землю... Об этом ты слыхал?
— Погоди, не шуми, слыхал... Дальше что?
Дуняшка всплеснула руками.
— Куда же дальше-то?
— Переживать-то это как-нибудь надо?
— Ну, и переживай!
— Я-то переживу, а вот ты... А вот у тебя вся ваша мелеховская порода наружу выкинулась...
— Какая это порода?
— Контровая, вот какая! — глухо сказал Мишка и встал из-за стола. Он смотрел в землю, не поднимая на жену глаз; губы его мелко дрожали, когда он говорил: — Ежли ишо раз так будешь говорить — не жить нам с тобой вместе, так и знай! Твои слова — вражьи...
Дуняшка что-то хотела возразить, но Мишка скосил глаза и поднял сжатую в кулак руку.
— Молчи!..— приглушенно сказал он.
Дуняшка без страха, с нескрываемым любопытством всмотрелась в него, спустя немного спокойно и весело сказала:
— Ну, и ладно, черт-те об чем затеялись гутарить... Проживем и без соли! — Она помолчала немного и с тихой улыбкой, которую так любил Мишка, сказала: — Не серчай, Миша! На нас, на баб, ежли за все серчать, так и сердца не хватит. Мало ли чего не скажешь от дурна ума... Ты взвар будешь пить или кислого молока положить тебе?
Несмотря на молодость, Дуняшка была уже умудрена

житейским опытом и знала, когда в ссоре можно упорствовать, а когда надо смириться и отступить...

Недели через две после этого от Григория пришло письмо. Он писал, что был ранен на врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован. Дуняшка сообщила мужу о содержании письма, осторожно спросила:

— Прийдет он домой, Миша, как же тогда будем жить?

— Перейдем в мою хату. Нехай он один тут живет. Имущество поделим.

— Вместе нам нельзя. Он, по всему видать, Аксинью возьмет.

— Ежли б и можно было, все одно я жить с твоим братцем под одной крышей не стал бы,— резко заявил Мишка.

Дуняшка изумленно подняла брови.

— Почему, Миша?

— Ты же знаешь.

— Это — что он в белых служил?

— Вот-вот, это самое.

— Не любишь ты его... Вы же друзья с ним были!

— На черта он мне сдался — любить его! Были друзьями, да только кончилась наша дружба.

Дуняшка сидела за прялкой. Размеренно жужжало колесо. Нитка пряжи оборвалась. Ладонью Дуняшка придержала обод колеса,— ссучивая нитку, не глядя на мужа, спросила:

— Прийдет он, что же ему за службу у казаков будет?

— Суд будет. Трибунал.

— А к чему же он его может присудить?

— Ну, уж этого я не знаю, я не судья.

— Могут и к расстрелу присудить?

Мишка посмотрел на кровать, где спали Мишатка с Полюшкой, прислушался к их ровному дыханию,— понизив голос, ответил:

— Могут.

Больше Дуняшка ни о чем не спрашивала. Утром, подоив корову, зашла к Аксинье:

— Скоро Гриша приедет, зашла тебя порадовать.

Аксинья молча поставила чугун с водой на загнетку, прижала руки к груди. Глядя на ее вспыхнувшее лицо, Дуняшка сказала:

— А ты не дюже радуйся. Мой говорит, что суда ему не миновать. К чему присудят — бог его знает.

В глазах Аксиньи, увлажненных и сияющих, на секунду мелькнул испуг.

— За что? — отрывисто спросила она, а сама все еще была не в силах согнать с губ запоздавшую улыбку.

— За восстание, за все.

— Брехня! Не будут его судить. Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже, знахарь нашелся!

— Может, и не будут.— Дуняшка помолчала, потом сказала, подавив вздох: — Злой он на братушку... Так мне от этого тяжело на сердце — и сказать не могу! Жалко братушку страшно! Его опять поранили... Вот какая у него жизня нескладная...

— Лишь бы пришел: заберем детей и скроемся куда-нибудь,— взволнованно проговорила Аксинья.

Она зачем-то сняла головной платок, снова покрылась и, бесцельно переставляя посуду на лавке, все никак не могла унять охватившего ее сильного волнения.

Дуняшка заметила, как дрожали ее руки, когда она присела на лавку и стала разглаживать на коленях складки старенького, приношенного передника.

Что-то подступило к горлу Дуняшки. Ей захотелось поплакать одной.

— Не дождалась его маманя...— тихо сказала она.— Ну, я пойду. Надо печь затоплять.

В сенях Аксинья торопливо и неловко поцеловала ее в шею, поймала и поцеловала руку.

— Рада? — прерывающимся низким голосом спросила Дуняшка.

— Так, самую малость, чуть-чуть...— ответила Аксинья, пытаясь за шуткой, за дрожащей улыбкой скрыть проступившие слезы.

VI

На станции Миллерово Григорию — как демобилизованному красному командиру — предоставили обывательскую подводу. По пути к дому он в каждой украинской слободе менял лошадей и за сутки доехал до границы Верхне-Донского округа. В первом же казачьем хуторе председатель ревкома — молодой, недавно вернувшийся из армии красноармеец — сказал:

— Прийдется вам, товарищ командир, ехать на быках Лошадей у нас на весь хутор одна, и то на трех но-

гах ходит. Всех лошадок на Кубани оставили при отступлении.

— Может, на ней как-нибудь доберусь? — спросил Григорий, постукивая пальцами по столу, испытующе глядя в веселые глаза разбитного председателя.

— Не доберетесь. Неделю будете ехать, и все одно не доедете! Да вы не беспокойтесь, быки есть у нас справные, шаговитые, и нам все одно надо подводу в Вешенскую посылать, телефонный провод отправить, завалялся у нас тут после этой войны; вот вам подводу и менять не придется, до самого дома вас доставит.— Председатель прижмурил левый глаз и, улыбаясь и лукаво подмигивая, добавил: — Дадим вам наилучших быков и в подводчицы — молодую вдовую бабу... Есть у нас тут одна такая зараза, что лучше и во сне не приснится! С ней и не заметите, как дома будете. Сам служил,— знаю все это и тому подобную военную нужду...

Григорий молча прикидывал в уме: ждать попутную подводу — глупо, идти пешком — далеко. Надо было соглашаться и ехать на быках.

Через час подошла подвода. Колеса на старенькой арбе визгливо скрипели, вместо задней грядушки торчали обломки, клочьями свисало неряшливо наваленное сено. «Довоевались!» — подумал Григорий, с отвращением глядя на убогую справу. Подводчица шагала рядом с быками, помахивая кнутом. Она действительно была очень хороша собой и статна. Несколько портила ее фигуру массивная, не по росту, грудь, да косой шрам на круглом подбородке придавал лицу выражение нехорошей бывалости и словно бы старил смугло-румяное молодое лицо, у переносицы осыпанное мелкими, как просо, золотистыми веснушками.

Поправляя платок, она сощурила глаза, внимательно оглядела Григория, спросила:

— Тебя, что ли, везть?

Григорий встал с крыльца, запахнул шинель.

— Меня. Провод погрузила?

— А я им проклятая грузить? — звонко закричала казачка.— Кажин день в езде да в работе! Таковская я им, что ли? Небось сами этую проволоку навалят, а нет — так я и порожнем уеду!

Она таскала на арбу мотки провода, громко, но беззлобно переругивалась с председателем и изредка метала на Григория косые изучающие взгляды. Председатель все время посмеивался, смотря на молодую вдову с искренним

восхищением. Иногда, подмигивая Григорию, он как бы говорил: «Вот какие у нас бабы есть! А ты не верил!»

За хутором далеко протянулась бурая, поблекшая осенняя степь. От пашни полз через дорогу сизый поток дыма. Пахари жгли выволочки — сухой кустистый жабрей, выцветшую волокнистую брицу. Запах дыма разбудил в Григории грустные воспоминания: когда-то и он, Григорий, пахал зябь в глухой осенней степи, смотрел по ночам на мерцающее звездами черное небо, слушал переклики летевших в вышине гусиных станиц... Он беспокойно заворочался на сене, поглядел сбоку на подводчицу.

— Сколько тебе лет, бабочка?

— Под шестьдесят,— кокетливо ответила она, улыбаясь одними глазами.

— Нет, без шуток.

— Двадцать первый.

— И вдовая?

— Вдовая.

— Куда же мужа дела?

— Убили.

— Давно?

— Второй год пошел.

— В восстание, что ли?

— После него, перед осенью.

— Ну, и как живешь?

— Живу кое-как.

— Скучно?

Она внимательно посмотрела на него, надвинула на губу платок, пряча улыбку. Голос ее зазвучал глуше, и какие-то новые интонации появились в нем, когда она говорила:

— Некогда скучать в работе.

— Без мужа-то скучно?

— Я со свекровью живу, в хозяйстве делов много.

— Без мужа-то как обходишься?

Она повернулась к Григорию лицом. На смуглых скулах ее заиграл румянец, в глазах вспыхнули и погасли рыжеватые искорки.

— Ты про что это?

— Про это самое.

Она сдвинула с губ платок, протяжно сказала:

— Ну, этого добра хватает! Свет не без добрых людей...— И, помолчав, продолжала: — Я с мужем-то и бабьей жизни не успела раскушать. Месяц толечко и пожи-

ли, а потом его забрали на службу. Обхожусь кое-как без него. Зараз полегчало, молодые казаки попришли в хутор, а то было плохо. Цоб, лысый! Цоб! Вот так-то, служивенький! Такая моя живуха.

Григорий умолк. Ему, пожалуй, не к чему было вести разговор в таком игривом тоне. Он уже жалел об этом.

Крупные упитанные быки шли всё тем же размеренным заплетающимся шагом. У одного из них правый рог был когда-то надломлен и рос, косо ниспадая на лоб. Опираясь на локти, полузакрыв глаза, Григорий лежал на арбе. Он стал вспоминать тех быков, на которых ему в детстве и потом, когда он уже стал взрослым, пришлось работать. Все они были разные по масти, по телосложению, по характеру, даже рога у каждого имели какую-то свою особую форму. Когда-то водился на мелеховском базу бык вот с таким же изуродованным, сбитым набок рогом. Злобный и лукавый, он всегда смотрел искоса, выворачивая иссеченный кровяными прожилками белок, старался лягнуть, когда подходили к нему сзади, и всегда в рабочую пору по ночам, когда пускали скот на попас, норовил уйти домой или — что было еще хуже — скрывался в лесу либо в дальних логах. Часто Григорий верхом на лошади по целым дням разъезжал в степи и, уже изуверившись в том, что когда-либо найдет пропавшего быка,— вдруг обнаруживал его где-нибудь в самой теклине буерака, в непролазной гущине терновника, либо в тени, под раскидистой и старой дикой яблоней. Умел этот однорогий дьявол снимать налыгач, ночью поддевал рогом завязку на воротцах скотиньего база, выходил на волю и, переплыв Дон, скитался по лугу. Много неприятностей и огорчений доставил в свое время он Григорию...

— Как этот бык, у которого рог сбитый, смирный?..— спросил Григорий.

— Смирный. А что?

— Да так просто.

— Оно и «так» доброе слово, ежели нечего больше сказать,— с усмешкой проговорила подводчица.

Григорий промолчал. Ему приятно было думать о прошлом, о мирной жизни, о работе, обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянувшаяся на семь лет война осточертела ему до предела, и при одном воспоминании о ней, о каком-либо эпизоде, связанном со службой, он испытывал щемящую внутреннюю тошноту и глухое раздражение.

Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце концов взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Еще там, на фронте, он твердо решил взять Аксинью в дом, чтобы она воспитывала его детей и постоянно была возле него. С этим тоже надо было кончать — и чем ни скорее, тем лучше.

Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирики, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплую куртку домотканый зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: «Нет, не то, чужое...»

А подводчице было скучно. Ей хотелось разговаривать. Она бросила погонять быков, села поудобнее и, теребя ременный махор кнута, долго исподтишка рассматривала Григория, его сосредоточенное лицо, полуопущенные глаза. «Он не дюже старый, хоть и седой. И какой-то чудаковатый,— думала она.— Все глаза прижмуряет, чего он их прижмуряет? Как, скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили... А он из себя ничего. Только седых волос много, и усы вон почти седые. А так ничего из себя. Чего он все думает? Сначала стал вроде заигрывать, а потом приутих, чегой-то про быка спросил. Не об чем ему разговаривать, что ли? Или, может, робеет? Не похоже. Глаза у него твердые. Нет, хороший казак, только вот чудной какой-то. Ну, и молчи, черт сутулый! Очень ты мне нужен, как же! Я и сама умею молчать! К жене едешь не доедешь. Ну, и молчи на доброе здоровье!»

Она привалилась спиной к ребрам арбы, тихо запела.

Григорий поднял голову, посмотрел на солнце. Было еще довольно рано. Тень от прошлогоднего татарника, угрюмо караулившего дорогу, лежала в полшага; было, по всей вероятности, не больше двух часов пополудни.

Словно очарованная, в мертвом молчании лежала степь. Скупо грело солнце. Легкий ветер беззвучно шевелил рыжую, выгоревшую траву. Ни птичьего голоса, ни посвиста сусликов не было слышно вокруг. В холодном бледно-голубом небе не парили коршуны и орлы. И только раз серая тень скользнула через дорогу, и, еще не поднимая

головы, Григорий услышал тяжкий мах больших крыльев: пепельно-сизый, блистающий на солнце белым подбоем оперенья, пролетел дудак и сел возле дальнего кургана, там, где не освещенная солнцем падина сливалась с сумеречно-лиловой далью. Только поздней осенью наблюдал, бывало, Григорий в степи такую грустную и глубокую тишину, когда ему казалось, что он слышит, как шуршит по сухой траве подхваченное ветром перекати-поле, далеко-далеко впереди пересекающее степь.

Дороге, казалось, не будет конца. Она вилась по изволоку, спускалась в балку, снова поднималась на гребень бугра. И все такая же — глазом не окинешь — простиралась вокруг глухая, табунная степь.

Григорий залюбовался росшим на склоне буерака кустом черноклена. Опаленные первыми заморозками листья его светились дымным багрянцем, словно присыпанные пеплом угли затухающего костра.

— Как тебя звать, дяденька? — спросила подводчица, тихонько касаясь кнутовищем плеча Григория.

Он вздрогнул, повернулся к ней лицом. Она смотрела в сторону.

— Григорий. А тебя как?

— Меня зовуткой зовут.

— Помолчала бы ты, зовутка.

— Надоело молчать! Полдня молчу, во рту все пересохло. Ты чего такой невеселый, дядя Гриша?

— А чего мне веселиться?

— Домой едешь, должен веселый быть.

— Года мои ушли — веселиться.

— Ишь ты, старик нашелся. А с чего это ты молодой, а седой?

— Все-то тебе надо знать... От хорошей жизни, видно, поседел.

— Ты женатый, дядя Гриша?

— Женатый. Тебе, зовутка, тоже надо поскорее замуж выходить.

— Почему это — скорее?

— Да уж дюже ты игреливая...

— А это плохо?

— Бывает и плохо. Знал я одну такую игреливую, тоже вдовая была, играла-играла, а потом нос у нее начал проваливаться...

— Ох, господи, страсти-то какие! — с шутливым испугом воскликнула она и тотчас же деловито добави-

ла: — Наше вдовье дело такое: бирюка бояться — в лес не ходить.

Григорий взглянул на нее. Она беззвучно смеялась, стиснув мелкие белые зубы. Вздернутая верхняя губа ее подрагивала, из-под опущенных ресниц озорно светились глаза. Григорий невольно улыбнулся и положил руку на ее теплое круглое колено.

— Бедная ты, разнесчастная, зовутка! — сожалеюще сказал он.— Двадцать годков тебе, а как тебя жизнь выездила...

Вмиг от веселости ее и следа не осталось. Она сурово оттолкнула его руку, нахмурилась и покраснела так, что на переносице исчезли крохотные веснушки.

— Ты жену пожалей, когда приедешь, а у меня и без тебя жалельщиков хватит!

— Да ты не серчай, погоди!

— А ну тебя к черту!

— Я это, жалеючи тебя, сказал.

— Иди ты со своей жалостью прямо...— Она по-мужски умело и привычно выругалась, сверкнула потемневшими глазами.

Григорий поднял брови, смущенно крякнул:

— Загнула, нечего сказать! Вон ты какая необузданная.

— А ты какой? Святой во вшивой шинели, вон ты кто! Знаю я вас! Замуж выходи, то да се, а давно ты таким истовым стал?

— Нет, недавно,— посмеиваясь, сказал Григорий.

— А чего же ты мне уставы читаешь? У меня на это свекровь есть.

— Ну, хватит тебе, чего ты злуешь, дура-баба? Я же промежду прочим так выразился,— примирительно сказал Григорий.— Гляди вон, быки от нашего разговору с дороги сошли.

Примащиваясь на арбе поудобнее, Григорий мельком взглянул на веселую вдову и заметил на глазах ее слезы. «Вот ишо морока! И всегда они, эти бабы, такие...» — подумал он, ощущая какую-то внутреннюю неловкость и досаду.

Вскоре он заснул, лежа на спине, накрыв лицо бортом шинели, и проснулся только в сумерках. На небе светились бледные вечерние звезды. Свежо и радостно пахло сеном.

— Быков надо кормить,— сказала она.

— Что ж, давай останавливаться.

Григорий сам выпряг быков, достал из вещевой сумки банку мясных консервов, хлеб, наломал и принес целый ворох сухого бурьяна, неподалеку от арбы разложил огонь

— Ну, садись вечерять, зовутка, хватит тебе серчать.

Она присела к огню, молча вытряхнула из сумки хлеб кусок заржавленного от старости сала. За ужином говорили мало и мирно. Потом она легла на арбе, а Григорий бросил в костер, чтобы не затухал, несколько комьев сухого бычачьего помета, по-походному примостился возле огня. Долго лежал, подложив под голову сумку, смотрел в мерцающее звездами небо, несвязно думал о детях, об Аксинье, потом задремал и очнулся от вкрадчивого женского голоса:

— Спишь, что ли, служивый? Спишь ай нет?

Григорий приподнял голову. Опершись на локоть, спутница его свесилась с арбы. Лицо ее, озаренное снизу неверным светом угасающего костра, было розово и свежо, ослепительно белели зубы и кружевная каемка головного платка. Она, как будто между ними и не было размолвки, снова улыбалась, шевеля бровью, говорила:

— Боюсь, замерзнешь ты там. Земля-то холодная. Уж ежли дюже озяб — иди ко мне. У меня шуба те-о-оплая-претеплая! Прийдешь, что ли?

Григорий подумал и со вздохом ответил:

— Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад... Небось не замерзну возле огня.

Она тоже вздохнула, сказала:

— Ну, как хочешь,— и укрылась шубой с головой.

Спустя немного Григорий встал, собрал свои пожитки. Он решил идти пешком, чтобы к рассвету добраться до Татарского. Немыслимо было ему — возвращающемуся со службы командиру — приехать домой среди бела дня на быках. Сколько насмешек и разговоров вызвал бы такой приезд...

Он разбудил подводчицу:

— Я пойду пешком. Не боишься одна в степи оставаться?

— Нет, я не из пужливых, да тут и хутор близко. А тебе, что же, не терпится?

— Угадала. Ну, прощай, зовутка, не поминай лихом!

Григорий вышел на дорогу, поднял воротник шинели. На ресницы его упала первая снежинка. Ветер повернул с севера, и в холодном дыхании его Григорию почудился знакомый и милый сердцу запах снега.

* * *

Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор.

— Гриша утром пришел,— сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием.

— С радостью тебя,— сдержанно и чуть насмешливо ответил Мишка.

Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка па пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, протягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался.

— Ну, здравствуй, Миша!

— Здравствуй.

— Давно мы с тобой не видались! Будто сто лет прошло.

— Да, давненько... С прибытием тебя.

— Спасибо. Породнились, значит?

— Пришлось... Что это у тебя кровь на щеке?

— Э, пустое, бритвой порезался, спешил.

Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах.

Григорий смотрел в окно на землю, покрытую первым голубым снежком, на голые ветви яблонь. Не такой ему представлялась когда-то встреча с Михаилом...

Вскоре Михаил вышел. В сенях он тщательно наточил на бруске нож, сказал Дуняшке:

— Хочу позвать кого-нибудь валушка зарезать. Надо же хозяина угостить как полагается. Сбегай за самогонкой. Погоди, вот что: дойди до Прохора и скажи ему, чтобы в землю зарылся, а достал самогонки. Он это лучше тебя сделает. Покличь его вечерять.

Дуняшка просияла от радости, с молчаливой благодарностью взглянула на мужа... «Может, и обойдется все по-хорошему... Ну, кончили воевать, чего им зараз-то делить? Хоть бы образумил их господь!» — с надеждой думала она, направляясь к Прохору.

Меньше чем через полчаса прибежал запыхавшийся Прохор.

— Григорий Пантелевич!.. Милушка ты мой!.. И не чаял и не думал дождаться!..— высоким, плачущим голосом закричал он и, споткнувшись о порог, за малым не разбил ведерный кувшин с самогоном.

Обнимая Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые от слез усы. У Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался, растроганно, грубовато хлопнул верного ординарца по спине, несвязно проговорил:

— Вот и увидались... Ну и рад я тебе, Прохор, страшно рад! Что же ты, старик, слезу пущаешь? Ослабел на утрах? Гайки слабоватые стали? Как твоя рука? Другую тебе баба не отшибла?

Прохор гулко высморкался, снял полушубок.

— Мы с бабой живем зараз, как голуби. Вторая рука, видишь, целая, а энта, какую белые-поляки отняли, отрастать начинает, ей-богу! Через год уж на ней пальцы окажутся,— заговорил он со свойственной ему веселостью, потрясая порожним рукавом рубахи.

Война приучила их скрывать за улыбкой истинные чувства, сдабривать и хлеб и разговор ядреной солью; потому-то Григорий и продолжал расспросы в том же шутливом духе:

— Как живешь, старый козел? Как прыгаешь?

— По-стариковски, не спеша.

— Без меня ничего ишо не добыл?

— Чего это?

— Ну, соловья, что прошлой зимой носил...

— Пантелевич! Боже упаси! Зараз к чему же мне такая роскошь? Да и какой из меня добытчик с одной рукой? Это — твое дело, молодое, холостое... а мне уж пора свою справу бабе на помазок отдавать, сковородки подмазывать...

Они долго смотрели друг на друга — старые окопные товарищи,— смеющиеся и обрадованные встречей.

— Совсем пришел? — спросил Прохор.

— Совсем. Вчистую.

— До какого же ты чина дослужился?

— Был помощником командира полка.

— Чего же это тебя рано спустили?

Григорий помрачнел, коротко ответил:

— Ненужен стал.

— Через чего это?

— Не знаю. Должно быть, за прошлое.

— Так ты же эту фильтру-комиссию, какая при Особом отделе офицеров цедила, проскочил, какое может быть прошлое?

— Мало ли что.

— А Михаил где?

— На базу. Скотину убирает.

Прохор придвинулся ближе, снизил голос:

— Платона Рябчикова с месяц назад расстреляли.

— Что ты говоришь?

— Истинный бог!

В сенях скрипнула дверь.

— Потом потолкуем,— шепнул Прохор и — громче: — Так что же, товарищ командир, выпьем при такой великой радости? Пойти покликать Михаила?

— Иди зови.

Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату: положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленым арбузом, раз пять вытерла стакан... Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы».

За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел да чаще разглаживал кулаком белесые усы.

Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию:

— Брату́шка, я сбегаю за Аксиньей, вы супротив ничего не будете иметь?

Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки...

— А Терещенко-кубанец все взводом командует? — спрашивал Прохор, не выпуская из руки стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его.

— Убит под Львовом.

— Ну, царство ему небесное. Хороший был конармеец! — Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого.

— А этот, у какого чудна́я фамилия? Какой правофланговым был, фу, будь он проклят, как его, кажись — Май-Борода? Хохол, такой, ту́шистый и веселый, что под Бродами польского офицера напополам разрубил,— он-то живой-здоровый?

— Как жеребец! В пулеметный эскадрон его забрали.

— Коня своего кому же сдал?

— У меня уже другой был.

— А белолобого куда дел?

— Убили осколком.

— В бою?

— В местечке стояли. Обстрел шел. У коновязи и убили.

— Ах, жалко! До чего добрый конь был! — Прохор вздыхал и снова прикладывался к стакану.

В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул. Аксинья переступила порог, невнятно сказала: «Здравствуйте!» — и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами.

— Односумка! Ксюша. Вместе отступали, вместе вшей кормили... Хотя мы тебя и бросили на Кубани, но что же нам было делать? — Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку.— Выпей за Григория Пантелевича! Поздравь его с прибытием... Говорил я тебе, что возвернется в целости, и вот он, бери его за рупь двадцать! Сидит как обдутенький!

— Он уже набрался, соседка, ты его не слухай.— Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора.

Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука.

— С приездом вас, Григорий Пантелевич, а тебя, Дуняша, с радостью.

— А тебя с чем? С горем? — Прохор захохотал, толкнул Михаила в бок.

Аксинья густо покраснела, даже маленькие мочки ушей ее стали прозрачно-розовыми, но, твердо и зло глянув на Прохора, она ответила:

— И меня — с радостью... С великой!

Такой прямотой Прохор был обезоружен и умилен. Он попросил:

— Тяни ее, ради бога, всю до капельки. Умеешь прямо сказать — умей и пить прямо! Мне это вострый нож в сердце, кто оставляет.

В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз, и то мельком, взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория, потому что не могла притворяться равнодушной и не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности, поймал Григорий, и этим, по сути, все было сказано. Он вышел проводить Аксинью. Захмелевший Прохор крикнул вслед им:

— А ты недолго! Всё попьем!

В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил:

— Ну как, Ксюша?

— Ох, всего не расскажешь... Прийдешь завтра?

— Прийду.

Она спешила домой, шла быстро, словно там ждало ее неотложное дело, только около крыльца своего куреня замедлила шаг, осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Ей хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями, со счастьем, которое пришло так неожиданно.

Она сбросила кофту и платок,— не зажигая огня, прошла в горницу. Через не прикрытое ставнями окно в комнату вторгался густой, лиловый свет ночи. За камелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аксинья заглянула в зеркало и хоть в темноте и не видела своего отражения, все же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки, потом прошла к окну и устало опустилась на лавку.

Много раз в жизни не оправдывались, не сбывались ее надежды и чаяния, и, быть может, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога. Как-то сложится теперь ее жизнь? Что ждет ее в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье?

Опустошенная пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись щекой к холодному, заиндевевшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом.

* * *

Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан, выпил залпом.

— Хороша? — полюбопытствовал Прохор.

— Не разберу. Давно не пил.

— Как николаевская, истинный бог! — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила.— Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях, а вот я знаю в напитках толк! И каких только настоек и вин мне не припадало пить! Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки, видит бог — не брешу! В Польше, когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайловичем белых-поляков кастрычить, взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах, на базу скотины набито рог к рогу, птицы всякой по двору ходит — плюнуть некуда, ну, словом, жил этот помещик, как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз офицеры пировали с хозяином, нас не ждали. Всех их порубили, в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как забрали его, усы книзу опустил, обмяк весь со страху. Григория Пантелевича в штаб эстренно вызвали, остались мы сами хозяева, зашли в нижние комнаты, а там стол огромадный, и чего только на этом столе нету! Покрасовались, а начинать страшно, хотя и ужасные мы голодные. «Ну как, думаем, оно все отравленное?» Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему: «Ешь!» Жрет. Не с охотой, а жрет: «Пей!» Опять же пьет он. Из каждой блюды заставили по большому куску пробовать, из каждой бутылки — по стакану пить. Распухает, проклятый, на наших глазах, от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом, видим, что офицер не помирает, и мы приступили. Наелись, напились пенистого вина по ноздри Глядь, а офицера чистить с обоих концов начинает. «Ну, думаем, пропали! Сам, гад, отравленный корм ел и нас обманул». Приступаем к нему с шашками, а он — и руками и ногами. «Пане, это же я перекушал по вашей милости, не сумлевайтесь, пища здоровая!» И тут мы взялись обратно за вино! Нажмешь пробку, она стрельнет, будто из винтовки, и пена клубом идет, ажник со стороны глядеть страшно! От этого вина я в ту ночь до трех раз с коня падал! Только сяду в седло, и сызнова меня — как ветром сдует. Вот такое вино кажин день пил бы натощак по стакану, по два и жил

бы лет до ста, а так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток! От него, от падлы, раньше сроку копыта откинешь...— Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и... налил себе стакан доверху.

Дуняшка ушла спать к детям в горницу, спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул внапашку полушубок, сказал:

— Кувшин не возьму. Душа не позволяет ходить с порожней посудой... Прийду, и зараз меня баба зачнет казнить. Она это умеет! Откудова у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю! Прийду выпимши, и она, к примеру, говорит так: «Кобель пьяный, безрукий, такой-сякой, разэтакий!» Тихочко и спокойночко образумляю ее, говорю: «Где же ты, чертова шалава, сучье вымя ты, видала пьяных кобелей, да ишо безруких? Таковых на свете не бывает». Одну подлость опровергаю — она мне другую говорит, другую опровергаю — она мне третью подносит, так у нас всенощная и идет до зари... Иной раз начертеет ее слухать — уйду под сарай спать, а другой раз прийдешь выпимши, и ежели она молчит, не ругается,— я уснуть не могу, истинный бог! Чего-то мне вроде не хватает, какая-то чесотка на меня нападает,— не усну и шабаш! И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, ажник искры с меня сыпются! Она у меня от черта отрывок, а деваться некуда, пущай лютует, от этого она злей в работе будет, верно я говорю? Ну, пойду, прощайте! То ли уж мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче?

— До дома дотянешь? — смеясь, осведомился Григорий.

— Раком, а доползу! Али я не казак, Пантелевич? Даже очень обидно слухать.

— Ну, тогда — с богом!

Григорий проводил друга за калитку. Вошел в кухню.

— Что ж, потолкуем, Михаил?

— Давай.

Они сидели друг против друга, разделенные столом, молчали. Потом Григорий сказал:

— Что-то у нас не так... По тебе вижу, не так! Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?

— Нет, ты угадал, не по душе.

— Почему?

— Лишняя забота.

— Я думаю сам прокормиться.

— Я не об этом.
— Тогда об чем же?
— Враги мы с тобой...
— Были.
— Да, видно, и будем.
— Не понимаю. Почему?
— Ненадежный ты человек.
— Это ты зря. Говоришь ты это зря!
— Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо?
— Не знаю.
— Нет, знаешь, да не хочешь сказать! Не доверяли тебе, так?
— Ежели б не верили — не дали бы эскадрон.
— Это на первых порах, а раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток!
— А ты мне веришь? — глядя в упор, спросил Григорий.
— Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит.
— Ты выпил нынче лишнего, Михаил.
— Это ты брось! Я не пьяней твоего. Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут, так и знай!
Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул.
— Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова? — спросил Михаил.
— Да.
— Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я, в этот же день...
Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.
— Что же я тебе — Кирюшка Громов?!
— Не шуми. А чем ты лучше?
— Ну, знаешь...
— Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится, мне тоже радоваться? Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор.
— Для тебя лучше?
— И для меня, да и народу лучше, спокойнее.
— Ты меня с ними не равняй!
— Я уже тебе сказал, Григорий, и обижаться тут нечего: ты не лучше их, ты непременно хуже, опасней.
— Чем же? Чего ты мелешь?
— Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.

— Не я им закручивал, я был командиром дивизии.
— А это мало?
— Мало или много — не в том дело... Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.
— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.
— Ежли б меня не брали на службу, не был бы я офицером. Ну, это длинная песня!
— И длинная и поганая песня.
— Зараз ее не перепевать, опаздано.
Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал:
— Знаю я об твоих геройствах, слыхал. Много ты наших бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть... Этого из памяти не выкинешь.
Григорий усмехнулся.
— Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю... Ежли все помнить — волками надо жить.
— Ну что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького!
— А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки... Выходит, занапрасну я тогда спешил.
— Благодетель какой нашелся! Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ежли б зараз кадетская власть была, ежли б вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал! Это ты зараз такой добрый...
— Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.
— Значит, разные мы с тобой люди... Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде.— Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил: — Будешь пить?
— Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора...
Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила щурясь, покручивая ус.
— Так ты чего же, Михаил, боишься? Что я опять буду против Советской власти бунтовать?
— Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону.

— Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.

— Не успел?

— Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся эта... нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца!

Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К черту! Григорий встал.

— Кончим этот никчемушний разговор! Хватит! Одно хочу тебе напоследок сказать: против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет — буду обороняться! Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.

— Это как, то есть?

— Так. Пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать — извиняйте! Дюже густо будет!

Михаил презрительно усмехнулся:

— Тоже моду выдумал! Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился — получай свой паек с довеском. За старые долги надобно платить сполна!

— Ну, тогда поглядим.

— Поглядим, ясное дело.

Григорий снял пояс и рубашку,— кряхтя, стал разуваться.

— Делиться будем? — спросил он, с чрезмерным вниманием разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге.

— У нас дележ короткий: подправлю свою хату и перейду туда.

— Да, давай уж как-нибудь расходиться. Ладу у нас с тобой не будет.

— Не будет,— подтвердил Михаил.

— Не думал, что ты обо мне такого мнения... Ну что ж...

— Я сказал прямо. Что думаю, то и сказал. В Вёшенскую когда поедешь?

— Как-нибудь, днями.

— Не как-нибудь, а надо ехать завтра.

— Я шел пешком почти сорок верст, подбился, завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.

— Приказ есть такой: регистрироваться немедленно. Ступай завтра.

— День-то отдохнуть надо? Не убегу же я.

— А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.

— До чего же ты сволочной стал, Михаил! — сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.

— Ты меня не сволочи! Я к этому не привык...— Михаил перевел дух и повысил голос: — Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо! Отправляйся завтра же, а ежли добром не пойдешь — погоню под конвоем. Понятно?

— Теперь все понятно...— Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу, не раздеваясь, лег на кровать.

Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И может быть, Михаил прав, когда говорит. что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна?

...Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже, откуда-то издалека, неслось протяжное: «Эскадро-о-он...» — когда он вспомнил, что у седла отпущены подпруги. С силой ступил на левое стремя,— седло поползло под ним... Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт.

Полк пошел в атаку без него...

Григорий заворочался и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон.

За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню,— и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся:

«Приснится же такая чертовщина! Не довелось сразиться...» Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне и наяву.

VII

Дуняшка поднялась рано,— надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливал Григорий. Прикрыв детишек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель.

— Вы куда это спозаранок собрались, брату́шка?

— Пройдусь по хутору, погляжу.

— Позавтракали бы — тогда...

— Не хочу, голова болит.

— К завтраку вернетесь? Я зараз печь затоплю.

— Меня нечего ждать, я не скоро прийду.

Григорий вышел на улицу. К утру слегка оттаяло. Ветер дул с юга влажный и теплый. На каблуки сапог прилипал перемешанный с землею снег. Медленно шагая к центру хутора, Григорий внимательно, словно в чужой местности, разглядывал знакомые с детства дома и сараи. На площади чернели обуглившиеся развалины купеческих домов и лавок, сожженных Кошевым в прошлом году, полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. «Кирпич на печки понадобился»,— равнодушно подумал Григорий. Церковь стояла по-прежнему маленькая, вросшая в землю. Давно не крашенная крыша ее золотилась ржавчиной, стены пестрели бурыми подтеками, а там, где отвалилась штукатурка,— ярко и свежо краснел обнаженный кирпич.

На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию и только тогда, когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед.

«Надо на могилки сходить, проведать мать и Наталью»,— подумал Григорий и свернул в проулок по дороге к кладбищу, но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. «Как-нибудь в другой раз схожу,— решил он, направляясь к Прохору.— Им-то теперь все равно — приду или не приду. Им там покойно теперь. Все кончено. Могилки присыпало снежком. А земля, наверно, холодная там, в глубине... Вот и отжили — да как скоро, как во сне. Лежат все вместе, рядом: и жена,

и мать, и Петро с Дарьей... Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец — один в чужой стороне. Скучно ему там среди чужих...» Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги, на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок, настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел.

Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать... Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей.

Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так-то просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой, ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по-писаному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнет, все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле.

Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе шел к крыльцу, беспечно помахивая порожним дойным ведром. Белые капли молока невидимо сеялись по снегу.

— Здоро́во ночевали, товарищ командир!

— Слава богу.

— Опохмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро.

— Опохмелиться — дело сто́ящее, а почему ведро пустое? Сам, что ли, корову доил?

Прохор кивком головы сдвинул треух на затылок, и только тогда Григорий увидел необычайно мрачное лицо друга.

— А то черт, что ли, мне ее будет доить? Ну, я ей, проклятой бабе, надоил. Как бы животом она не захворала от моего удоя!..— Прохор остервенело швырнул ведро, коротко сказал: — Пойдем в хату.

— А жена? — нерешительно спросил Григорий.

— Черти с квасом ее съели! Ни свет ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за терном. Пришел от вас, и взялась она за меня! Читала-читала разные акафисты, потом как вскочит: «Поеду за терном! Нынче Максаевы снохи едут, и я поеду!» — «Езжай, думаю, хоть за грушами, скатертью тебе дорога!» Встал, затопил печь, пошел корову доить. Ну, и надоил. Ты думаешь, одной рукой способно такие дела делать?

— Позвал бы какую-нибудь бабу, чудак!

— Чудак баран, он до покрова матку сосет, а я сроду чудаком не был. Думалось — сам управлюсь! Ну, и управился. Уж я под этой коровой лазил-лазил на ракушках, а она, треклятая, не стоит, ногами сучит. Я и треух снял, чтобы не пужать ее,— один толк. Рубаха на мне взмокла, пока подоил ее, и только руку протянул, ведро из-под нее брать,— как одна даст ногой! Ведро — на один бок,— я на другой. Вот и надоил. Это не корова, а черт с рогами! Плюнул ей в морду и пошел. Я и без молока проживу. Будем похмеляться?

— А есть?

— Одна бутылка. Заклятая.

— Ну, и хватит.

— Проходи, гостем будешь. Яишню сжарить? Я это в один миг.

Григорий нарезал сала, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за божницы запыленную бутылку.

— От бабы хороню там секретные дела,— коротко пояснил он.

Закусывали они в маленькой, жарко натопленной горнице, пили и вполголоса разговаривали.

С кем же, как не с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами. Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги, хриповатый басок его звучал приглушенно:

—...И в армии и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело — восьмой год с коня не слазил! Во сне и чуть не

каждую ночь вся эта красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают... Только, видно, Прохор, не выйдет по-моему... Видно, другим, не мне прийдется пахать землю, ухаживать за ней...

— Говорил с Михаилом вчера?

— Как меду напился.

— Чего же он?

Григорий крестом сложил пальцы.

— Вот на нашу дружбу. За службу белым попрекает, думает, что зло таю на новую власть, нож держу против нее за пазухой. Боится, что восстание буду подымать, а на черта мне это нужно — он и сам, дурак, не знает.

— Он и мне это говорил.

Григорий невесело усмехнулся.

— Один хохол на Украине, как шли на Польшу, просил у нас оружия для обороны села. Банды их одолевали, грабили, скотину резали. Командир полка — при мне разговор был — и говорит: «Вам дай оружие, а вы сами в банду пойдете». А хохол смеется, говорит: «Вы, товарищ, только вооружите нас, а тогда мы не только бандитов, но и вас не пустим в село». Вот и я зараз вроде этого хохла думаю: кабы можно было в Татарский ни белых, ни красных не пустить — лучше было бы. По мне они одной цены — что, скажем, свояк мой Митька Коршунов, что Михаил Кошевой. Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу. Хреновина! Я им приверженный, как же! Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться в бою с корниловским офицером — полковничек такой шустрый, усики подбритые по-английцки, под ноздрями две полоски, как сопли,— так я его с таким усердием навернул, ажник сердце взыграло! Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке... и белая офицерская кокарда улетела... Вот и вся моя приверженность! Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал этот проклятый офицерский чин, а промежду офицеров был как белая ворона. Они, сволочи, и за человека меня сроду не считали, руку гребовали подавать, да чтобы я им после этого... Под разэтакую мамашу! И говорить-то об этом тошно! Да чтоб я ихнюю власть опять устанавливал? Генералов Фицхелауровых приглашал? Я это дело спробовал раз, а потом год икал, хватит, ученый стал, на своем горбу все отпробовал!

Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал:

— Никакого восстания не будет. Первое дело — каза-

ков вовсе на-мале осталось, а какие уцелели — они тоже грамотные стали. Крови братушкам пустили порядком, и они такие смирные да умные стали, что их зараз к восстанию и на аркане не притянешь. А тут ишо наголодался народ по мирной жизни. Ты поглядел бы, как это лето все работали: сенов понавалили скирды, хлеб убрали весь до зерна, ажник хрипят, а пашут и сеют, как, скажи, каждый сто годов прожить собирается! Нет, об восстании и гутарить нечего. Глупóй это разговор. Хотя чума их знает, чего они, казачки́, удумать могут...

— А чего же они удумать могут? Ты это к чему?

— Соседи-то наши удумали же...

— Ну?

— Вот тебе и ну. Восстание в Воронежской губернии, где-то за Богучаром, поднялось.

— Брехня это!

— Какая там брехня, вчера сказал знакомый милиционер. Их как будто туда направлять собираются.

— В каком самое месте?

— В Монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве и ишо где-то там. Восстание, говорит, огромадное.

— Чего же ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный?

— Не схотел при Михаиле говорить, да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки,— с неудовольствием ответил Прохор.

Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал:

— Это плохая новость.

— Она тебя не касается. Нехай хохлы думают. Набьют им зады до болятки, тогда узнают, как восставать. А нам с тобой это вовсе ни к чему. Мне за них нисколько не больно.

— Мне теперь будет трудновато.

— Чем это?

— Как — чем? Ежели и окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне тигулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер да ишо повстанец... Понятно тебе?

Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем, он думал медленно и туговато.

— При чем же ты тут, Пантелевич? — недоуменно спросил он.

Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью

он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина, решительно сказал:
— Больше не пью.
— А может, ишо по одной протянем? Пей, Григорий Пантелевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить.
— Черней уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче в Вёшки идти, регистрироваться.
Прохор пристально посмотрел на него. Опаленное солнцем и ветрами лицо Григория горело густым, бурым румянцем, лишь у самых корней зачесанных назад волос кожа светилась матовой белизной. Он был спокоен, этот видавший виды служивый, с которым война и невзгоды сроднили Прохора. Слегка припухшие глаза его смотрели хмуро, с суровой усталостью.
— Не боишься, что это самое... что посадят? — спросил Прохор.
Григорий оживился.
— Как раз этого-то, парень, и боюсь! Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, прийдется и этого добра спробовать.
— Зря ты домой шел,— с сожалением сказал Прохор.
— А куда же мне было деваться?
— Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда и шел бы.
Григорий махнул рукой, засмеялся:
— Это не по мне! Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?
— Тоже, сказал! Жили же они без тебя? Потом забрал бы их и свою любезную. Да, забыл тебе сказать! Хозяева твои, у каких ты перед войной с Аксиньей проживал, преставились обое.
— Листницкие?
— Они самые. Кум мой Захар был в отсту́пе при молодом Листницком за денщика, рассказывал: старый пан в Морозовской от тифу помер, а молодой до Катеринодара дотянул, там его супруга связалась с генералом Покровским, ну он и не стерпел, застрелился от неудовольствия.
— Ну, и черт с ними,— равнодушно сказал Григорий.— Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих горевать некому.— Он встал, надел шинель и, уже держась за дверную скобу, раздумчиво заговорил: — Хотя черт его знает, такому, как молодой Листницкий или как наш Коше-

вой, я всегда завидовал... Им с самого начала все было ясное, а мне и до́ се все неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный качаюсь... От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби... Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца, может, тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала — ты же знаешь это — с великой душой служил Советской власти, а потом все это поломалось. У белых, у командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак,— какая я им родня? Не верили они мне! А потом и у красных так же вышло. Я ить не слепой, увидал, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали... В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: «Э-э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел». Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ить и камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе.— Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: — Спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду. Бутылку прибери, а то жена приедет — сковородник об твою спину обломает.

Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул:

— Ох, Пантелевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.

— Погляжу,— сдержанно ответил Григорий.

Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас, пригоршнями вычерпал из него воду, потом выломал из плетня кол, пробил лед в окраинцах и поехал на ту сторону.

По Дону катились на запад темно-зеленые, вспененные ветром волны. В тиховодье у берегов они обламывали хрупкий прозрачный ледок, раскачивали зеленые пряди тины-шелковицы. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся льдинок, мягко шуршала омываемая водой прибрежная галька, а на середине реки, там, где течение было стремительно и ровно, Григорий слышал только глухие всплески и клёкот волн, толпившихся у левого борта баркаса, да низкий басовитый, неумолчный гул ветра в обдонском лесу.

До половины вытащив баркас на берег, Григорий присел, снял сапоги, тщательно перемотал портянки, чтобы легче было идти.

К полудню он пришел в Вёшенскую.

В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди, из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет. Колесики его мягко постукивали по выщербленному деревянному полу. Один из пулеметчиков, упитанный и рослый, шутливо покрикивал: «А ну сторонись, штрафная рота, а то задавлю!»

«Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание»,— подумал Григорий.

Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал:

— Зайдите в политбюро [1] при Дончека. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет.

— Слушаю,— Григорий откозырял, ничем не выдав охватившего его волнения.

На площади он остановился в раздумье. Надо было идти в политбюро, но все существо его мучительно сопротивлялось этому. «Посадят!» — говорил ему внутренний голос, и Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора, незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающегося по грязной лестнице в подвал, и — человека сзади, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены. И эти руки свяжут? Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда! Завтра — пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор, проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и утром вернется в Вёшенскую. Черт с ней, с ногой, которая побаливает при ходьбе. Он только на один день сходит домой — и вернется сюда, непременно вернется. Завтра будь что будет, а сегодня — нет!

[1] Политбюро — здесь: название окружных или уездных органов ЧК в 1920—1921 гг.

— А-а, Мелехов! Сколько лет, сколько зим...

Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин — однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии.

Это был уже не тот Фомин, нескладный и небрежно одетый атаманец, каким его некогда знавал Григорий. За два года он разительно изменился: на нем ловко сидела хорошо подогнанная кавалерийская шинель, холеные русые усы были лихо закручены, и во всей фигуре, в подчеркнуто бравой походке, в самодовольной улыбке сквозило сознание собственного превосходства и отличия.

— Какими судьбами к нам? — спросил он, пожимая руку Григория, засматривая в глаза ему своими широко поставленными голубыми глазами.

— Демобилизован. В военкомат заходил...

— Давно прибыл?

— Вчера.

— Часто вспоминаю братана твоего Петра Пантелевича. Хороший был казак, а погиб зря... Мы же с ним темные [1] друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы понесли!

Что-нибудь нужно было говорить, и Григорий сказал:

— Да. Ошиблись казаки...

— Ты в какой части был?

— В Первой Конной.

— Кем?

— Командиром эскадрона.

— Вот как! Я тоже зараз командую эскадроном. Тут же у нас, в Вёшенской, свой караульный эскадрон.— Он глянул по сторонам и, понизив голос, предложил: — Вот что, пойдем-ка пройдемся, проводишь меня трошки, а то тут народ слоняется, не дадут нам потолковать.

Они пошли по улице. Фомин, искоса посматривая на Григория, спросил:

— Думаешь дома жить?

— А где же мне жить? Дома.

— Хозяйствовать?

— Да.

Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул:

— Плохое время ты, Мелехов, выбрал, ох, плохое... Не надо бы тебе домой являться ишо год, два.

— Почему?

---

[1] Здесь: в смысле закадычные.

Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул:

— Тревожно в округе. Казаки дюже недовольные продразверсткой. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром друзья мы были большие, поэтому и даю тебе такой совет: уходи!

— Мне уходить некуда.

— Ну, гляди! Я к тому это говорю, что политбюро офицеров зачинает арестовывать. За эту неделю трех подхорунжих с Дударевки привезли, одного с Решетовки, а с энтой стороны Дона их пачками везут, да и простых, нечиненых, казаков начинают щупать. Угадывай сам, Григорий Пантелевич.

— За совет спасибо, но только никуда я не пойду,— упрямо сказал Григорий.

— Это уж твое дело.

Фомин заговорил о положении в округе, о своих взаимоотношениях с окружным начальством и с окрвоенкомом Шахаевым. Занятый своими мыслями, Григорий слушал его невнимательно. Они прошли три квартала, и Фомин приостановился.

— Мне надо зайти в одно место. Пока.— Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный.

Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам двухэтажного здания политбюро, он думал: «Кончать — так поскорее, нечего тянуть! Умел, Григорий, шкодить — умей и ответ держать!»

VIII

Часам к восьми утра Аксинья загребла жар в печи, присела на лавку, вытирая завеской раскрасневшееся, потное лицо. Она встала еще до рассвета, чтобы пораньше освободиться от стряпни,— наварила лапши с курицей, напекла блинов, вареники обильно залила каймаком, поставила зажаривать; она знала — Григорий любит зажаренные вареники, и готовила праздничный обед в надежде, что возлюбленный будет обедать у нее.

Ей очень хотелось под каким-нибудь предлогом пойти

к Мелеховым, побыть там хоть минутку, хоть одним глазком взглянуть на Григория. Просто немыслимо было думать, что он тут, рядом, и не видеть его. Но она все же пересилила это желание, не пошла. Не девчонка же она, в самом деле. В ее возрасте незачем поступать легкомысленно.

Она тщательнее, чем всегда, вымыла руки и лицо, надела чистую рубашку и новую, с прошивкой нижнюю юбку. У открытого сундука долго стояла в раздумье — что же все-таки надеть? Неудобно было в будничный день наряжаться, но и не хотелось оставаться в простом, рабочем платье. Не зная, на чем остановить свой выбор, Аксинья хмурилась, небрежно перебирала выглаженные юбки. Наконец, она решительно взяла темно-синюю юбку и почти неприношенную голубую кофточку, отделанную черным кружевом. Это было лучшее, что она имела. В конце концов не все ли равно, что подумают о ней соседи? Пусть для них сегодня — будни, зато для нее — праздник. Она торопливо принарядилась, подошла к зеркалу. Легкая удивленная улыбка скользнула по ее губам: чьи-то молодые, с огоньком, глаза смотрели на нее пытливо и весело. Аксинья внимательно, строго рассматривала свое лицо, потом с облегчением вздохнула. Нет, не отцвела еще ее красота! Еще не один казак остановится при встрече и проводит ее ошалелыми глазами!

Оправляя перед зеркалом юбку, она вслух сказала: «Ну, Григорий Пантелевич, держись!..» — и, чувствуя, что краснеет, засмеялась тихим, приглушенным смехом. Однако все это не помешало ей найти на висках несколько седых волос и выдернуть их. Григорий не должен был видеть ничего такого, что напоминало бы ему об ее возрасте. Для него она хотела быть такой же молодой, как и семь лет назад.

До обеда она кое-как высидела дома, но потом не выдержала и, накинув на плечи белый, козьего пуха платок, пошла к Мелеховым. Дуняшка была дома одна. Аксинья поздоровалась, спросила:

— Вы не обедали?

— С такими бездомовниками пообедаешь вовремя! Муж в Совете, а Гриша ушел в станицу. Детишек уже покормила, жду больших.

Внешне спокойная, ни движением, ни словом не выказав постигшего ее разочарования, Аксинья сказала:

— А я думала — вы все в сборе. Когда же Гриша... Григорий Пантелевич вернется? Нынче?

Дуняшка окинула быстрым взглядом принаряженную соседку, нехотя сказала:

— Он пошел на регистрацию.

— Когда сулил вернуться?

В глазах Дуняшки сверкнули слезы: запинаясь, она с упреком проговорила:

— Тоже, нашла время... разнарядилась... А того не знаешь — он, может, и не вернется вовсе.

— Как — не вернется?

— Михаил говорит, что его арестуют в станице...— Дуняшка заплакала скупыми, злыми слезами, вытирая глаза рукавом, выкрикнула: — Будь она проклята, такая жизня! И когда все это кончится? Ушел, а детишки, как, скажи, они перебесились,— ходу мне не дают: «Куда батянька ушел да когда он прийдет?» А я знаю? Проводила вон их на баз, а у самой все сердце изболелось... И что это за проклятая жизня! Нету никакого покоя, хоть криком кричи!..

— Ежели к ночи он не вернется — завтра пойду в станицу, узнаю.— Аксинья сказала это таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то самом обыденном, что не стоило ни малейшего волнения.

Дивясь ее спокойствию, Дуняшка вздохнула:

— Теперь уж его, видно, не ждать. И на горе он шел сюда!

— Ничего покамест не видно! Ты кричать-то перестань, а то дети подумают... Прощай!

* * *

Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье.

Тревога, в которой провела она весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывала такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала, но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки.

— Что же ты не сказал, что пойдешь в Вёшки? — спросила она, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.

— Не успел сказаться, спешил.

— А мы с Дуняшкой откричали, каждая поврозь, думали — не вернешься.

Григорий сдержанно улыбнулся.

— Нет, до этого не дошло.— Помолчал и добавил: — Пока не дошло.

Прихрамывая, он прошел к столу, сел. В раскрытую дверь было видно горницу, широкую деревянную кровать в углу, сундук, тускло отсвечивавший медью оковки. Все здесь осталось таким же, каким было в то время, когда он еще парнем захаживал сюда в отсутствие Степана; почти ни в чем он не видел перемен, словно время шло мимо и не заглядывало в этот дом; сохранился даже прежний запах: пахло бражным душком свежих хмелин, чисто вымытыми полами и совсем немного, чуть слышно — увядшим чабрецом. Как будто совсем недавно Григорий в последний раз на заре выходил отсюда, а на самом деле как давно все это было...

Он подавил вздох и не спеша стал сворачивать папироску, но почему-то дрогнули руки, и он рассыпал на колени табак.

Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогревать. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья — запыхавшаяся и слегка побледневшая — стала разводить огонь на загнетке. Она дула на мечущие искрами пылающие уголья и успевала посматривать на сгорбившегося, молча курившего Григория.

— Как твои дела там? Все управил?

— Все по-хорошему.

— С чего это Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти.

Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу.

— Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает, беду на мою голову кличет.

Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки.

— А ты знаешь,— сказал он, снизу вверх глядя в ее глаза,— дела мои не дюже нарядные. Я сам думал, как шел в это политбюро, что не выйду оттуда. Как-никак, я дивизией командовал в восстание, сотник по чину... Таких зараз к рукам прибирают.

— Что же они тебе сказали?

— Анкету дали заполнить, бумага такая, всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не припадало писать, часа два сидел, описывал все свое прохождение. Потом ишо двое в комнату зашли, все про восстание расспрашивали. Ничего, обходительные лю-

ди. Старший спрашивает: «Чаю не хотите? Только с сахарином». Какой там, думаю, чай! Хотя бы ноги от вас в целости унесть.— Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал: — Жидковат оказался на расплату... Сробел.

Он был зол на себя за то, что там, в Вешенской, струсил и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения его оказались напрасными Теперь все пережитое выглядело смешно и постыдно. Он думал об этом всю дорогу, и, быть может, потому сейчас рассказывал обо всем этом, высмеивая себя и несколько преувеличивая испытанные переживания.

Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила:

— А как же дальше?

— Через неделю опять надо идти отмечаться.

— Думаешь, тебя все-таки заберут?

— Как видно — да. Рано или поздно возьмут.

— Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?

— Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться?

Они сели ужинать, и снова к Аксинье вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней; на него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды, можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем, как истомилось, наскучало по этим большим неласковым рукам ее тело! Она почти не прикасалась к еде; слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий, ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе... Она жадно вдыхала исходивший от него смешанный запах терпкого мужского пота и табака, такой знакомый и родной запах, свойственный лишь одному ему. Только по запаху она с завязанными глазами могла бы отличить своего Григория из тысячи мужчин... На щеках ее горел густой румянец, часто и гулко стучало сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что, кроме Григория, не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания: сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на камельке печи, налил себе вторую тарелку лапши.

— Голодный я, как собака,— словно оправдываясь, с улыбкой сказал он.— С утра ничего не ел.

И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила.

— Ох, головушка горькая! Про вареники и про блинцы-то я и забыла! Ешь курятину, пожалуйста! Ешь дюжей, мой родимый!.. Зараз все подам.

Но как же долго и старательно он ел! Как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, потом все же не выдержала: села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок и, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам.

В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.

IX

Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хатенку: меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, делали новые притолоки, рамы и двери.

После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собою детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула.

— Братушка, не держите на меня сердца, я перед вами не виноватая,— сказала она, умоляюще глядя на брата.

— За что же, Дуня? Нет-нет, что ты,— успокоил ее Григорий.— Заходи нас проведывать... Я у тебя один из родни остался, я тебя всегда жалел и зараз жалею... Ну, а муж твой — это другое дело. С тобой мы дружбу не порушим.

— Мы скоро перейдем из дому, не серчай.

— Да нет же! — досадливо сказал Григорий.— Живите в доме хоть до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит.

— Женишься на ней, Гриша?

— С этим успеется,— неопределенно ответил Григорий.

— Бери ее, брат, она хорошая,— решительно сказала Дуняшка.— Покойница маманя говорила, что тебе только ее в жены и брать. Она ее прилюбила последнее время, часто наведывалась к ней перед смертью.

— Ты меня вроде как уговариваешь,— улыбаясь, сказал Григорий.— На ком же мне, окромя нее, жениться? Не на бабке же Андронихе?

Андрониха была самая древняя старуха в Татарском. Ей давно перевалило за сто. Дуняшка, вспомнив ее крохотную, согнутую до земли фигурку, рассмеялась:

— Скажешь же ты, братушка! Я ить так только спросила. Ты молчишь об этом — я и спросила.

— Уж кого-кого, а тебя на свадьбу позову.— Григорий шутливо хлопнул сестру по плечу и с легким сердцем пошел с родного двора.

По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил... Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Попробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить; ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму — это в лучшем случае, а не то и расстрелять.

Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Обычно он лежал на спине, закинув за голову руки, смотрел в сумеречную темноту, и глаза у него были холодные и злые. Аксинья знала, о чем он думает. Помочь ему ничем не могла. Она сама страдала, видя, как ему тяжело, и догадываясь о том, что надежды ее на совместную жизнь снова становятся несбыточными. Она ни о чем его не спрашивала. Пусть он решает все сам. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала:

— Гриша, ты все не спишь... Может, ты ушел бы на это время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?

Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил:

— Я подумаю. Ты спи.

— А потом вернулись бы, когда все тут успокоится, а?

И снова он ответил неопределенно, так, как будто у него не было никакого решения:

— Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюша,— и осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому, шелковисто прохладному плечу.

А на самом деле он уже принял решение: в Вешенскую он больше не пойдет. Напрасно будет ждать его тот человек из политбюро, который принимал его прошлый раз. Он тогда сидел за столом, накинув шинель на плечи, с хрустом потягивался и притворно зевал, слушая его, Григория, рассказ о восстании. Больше он ничего не услышит. Все рассказано.

В тот день, когда надо будет отправляться в политбюро, Григорий уйдет из хутора, если понадобится — надолго. Куда — он еще сам не знал, но уйти решил твердо. Ни умирать, ни сидеть в тюрьме ему не хотелось. Выбор он сделал, но преждевременно говорить об этом Аксинье не хотел. Незачем было отравлять ей последние дни, они и так были не очень-то веселыми. Об этом надо будет сказать в последний день, так он решил. А сейчас пусть она спит спокойно, уткнувшись лицом ему в подмышку. Она часто за эти ночи говорила: «Хорошо мне спать под твоим крылом». Ну, и пусть спит пока. Недолго ей, бедной, осталось прижиматься к нему...

По утрам Григорий нянчился с детьми, потом бесцельно бродил по хутору. На людях ему было веселее.

Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразверсткой и что во время выпивки об этом неизбежно будет идти речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрения, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком.

Осторожность была тем более не лишней, что хлеб по продразверстке поступал плохо, и в связи с этим трех стариков взяли как заложников, под конвоем двух продотрядников отправили в Вешенскую.

На следующий день возле лавки ЕПО Григорий увидел недавно вернувшегося из Красной Армии бывшего батарейца Захара Крамскова. Он был преизрядно пьян, покачивался на ходу, но, подойдя к Григорию, застегнул на все пуговицы измазанную белой глиной куртку, хрипло сказал:

— Здравия желаю, Григорий Пантелевич!

— Здравствуй.— Григорий пожал широченную лапу коренастого и крепкого, как вяз, батарейца.

— Угадываешь?

— А как же.

— Помнишь, как в прошлом годе под Боковской наша батарея выручила тебя? Без нас твоей коннице пришлось бы туго. Сколько мы тогда красных положили — страсть! Один раз на удар давали, другой раз шрапнелью... Это я наводчиком у первого орудия работал! Я! — Захар гулко стукнул кулаком по своей широкой груди.

Григорий покосился по сторонам,— на них смотрели стоявшие неподалеку казаки, вслушивались в происходивший разговор. У Григория дрогнули углы губ, в злобном оскале обнажились белые плотные зубы.

— Ты пьяный,— сказал он вполголоса, не разжимая зубов.— Иди проспись и не бреши лишнего.

— Нет, я не пьяный! — громко выкрикнул подгулявший батареец.— Я, может, от горя пьяный! Пришел домой, а тут не жизня, а б...! Нету казакам больше жизни, и казаков нету! Сорок пудов хлеба наложили, это — что? Они его сеяли, что накладывают? Они знают, на чем он, хлеб, растет?

Он смотрел бессмысленными, налитыми кровью глазами и вдруг, качнувшись, медвежковато облапил Григория, дохнул в лицо ему густым самогонным перегаром.

— Ты почему штаны без лампасов носишь? В мужики записался? Не пус-тим! Лапушка моя, Григорий Пантелевич! Перевоевать надо! Скажем, как в прошлом годе: долой коммунию, да здравствует Советская власть!

Григорий резко оттолкнул его от себя, прошептал:

— Иди домой, пьяная сволочь! Ты сознаешь, что́ ты говоришь?!

Крамсков выставил вперед руку с широко растопыренными обкуренными пальцами, бормотнул:

— Извиняй, ежели что не так. Извиняй, пожалуйста, но я тебе истинно говорю, как своему командиру... Как все одно родному отцу-командиру: надо перевоевать!

Григорий молча повернулся, пошел через площадь домой. До вечера он находился под впечатлением этой нелепой встречи, вспоминал пьяные выкрики Крамского, сочувственное молчание и улыбки казаков, думал: «Нет, надо уходить поскорее! Добра не будет...»

В Вешенскую нужно было идти в субботу. Через три дня он должен был покинуть родной хутор, но вышло иначе: в четверг ночью — Григорий уже собирался ложиться спать,— в дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель.

— Братушка...

— Что? — тихо спросил он, надевая в рукава шинель.

Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала:

— Братушка, уходи зараз же! К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице... Они говорили шепотом, но я слыхала... Стояла под дверью и все слыхала... Михаил говорит — тебя надо арестовать... Рассказывает им про тебя... Уходи!

Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.

— Спасибо, сестра! Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай,— и повернулся к Аксинье: — Хлеба! Скорей! Да не целый, краюху!

Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь... Он действовал, как в бою,— поспешно, но уверенно; прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью.

— Прощай! Скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят — скажи, ушел в Вёшки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша! — Целуя ее, он ощутил на губах теплую, соленую влагу слез.

Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие его руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с Дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь с темнотой.

Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория. И каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хряпнул плетень.

Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за Доном в лесу. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу.

X

Поздней осенью 1920 года, когда в связи с плохим поступлением хлеба по продразверстке были созданы продовольственные отряды, среди казачьего населения Дона началось глухое брожение. В верховых станицах Донской области — в Шумилинской, Казанской, Мигулинской, Мешковской, Вёшенской, Еланской, Слащевской и других — появились небольшие вооруженные банды. Это было ответом кулацкой и зажиточной части казачества на создание продовольственных отрядов, на усилившиеся мероприятия Советской власти по проведению продразверстки.

В большинстве своем банды — каждая численностью от пяти до двадцати штыков — состояли из местных жителей-казаков, в прошлом активных белогвардейцев. Среди них были: служившие в восемнадцатом — девятнадцатом годах в карательных отрядах, уклонившиеся от сентябрьской мобилизации младшего командного состава урядники, вахмистры и подхорунжии бывшей Донской армии, повстанцы, прославившиеся ратными подвигами и расстрелами пленных красноармейцев во время прошлогоднего восстания в Верхне-Донском округе,— словом, люди, которым с Советской властью было не по пути.

Они нападали в хуторах на продовольственные отряды, возвращали следовавшие на ссыппункты обозы с хлебом, убивали коммунистов и преданных Советской власти беспартийных казаков.

Задача ликвидации банд была возложена на караульный батальон Верхне-Донского округа, расквартированный в Вёшенской и в хуторе Базках. Но все попытки уничтожить банды, рассеянные по обширной территории округа, оказались безуспешными — во-первых, потому, что местное население относилось к бандитам сочувственно, снабжало их продовольствием и сведениями о передвижении красноармейских частей, а также укрывало от преследования, и, во-вторых потому, что командир батальона Капарин, бывший штабс-капитан царской армии и эсер, не хотел уничтожения недавно народившихся на верхнем Дону

контрреволюционных сил и всячески препятствовал этому. Лишь время от времени, и то под нажимом председателя окружного комитета партии, он предпринимал короткие вылазки — и снова возвращался в Вёшенскую, ссылаясь на то, что он не может распылять сил и идти на неразумный риск, оставляя без должной охраны Вёшенскую с ее окружными учреждениями и складами. Батальон, насчитывавший около четырехсот штыков при четырнадцати пулеметах, нес гарнизонную службу: красноармейцы караулили арестованных, возили воду, рубили деревья в лесу, а также собирали, в порядке трудовой повинности, чернильные орешки с дубовых листьев для изготовления чернил. Дровами и чернилами батальон успешно снабжал все многочисленные окружные учреждения и канцелярии, а тем временем число мелких банд по округу угрожающе росло. И только в декабре, когда началось крупное восстание на территории смежного с Верхне-Донским округом Богучарского уезда Воронежской губернии, поневоле прекратились и заготовка лесоматериалов, сбор чернильных орешков. Приказом командующего войсками Донской области батальон в составе трех рот и пулеметного взвода, совместно с караульным эскадроном, 1-м батальоном 12-го продовольственного полка и двумя небольшими заградительными отрядами, был послан на подавление этого восстания.

В бою на подступах к селу Сухой Донец вешенский эскадрон под командованием Якова Фомина атаковал цепи повстанцев с фланга, смял их, обратил в бегство и вырубил при преследовании около ста семидесяти человек, потеряв всего лишь трех бойцов. В эскадроне, за редким исключением, все были казаки — уроженцы верховых станиц Дона. Они и здесь не изменили вековым казачьим традициям: после боя, несмотря на протесты двух коммунистов эскадрона, чуть ли не половина бойцов сменила старенькие шинели и теплушки на добротные дубленые полушубки, снятые с порубленных повстанцев.

Через несколько дней после подавления восстания эскадрон был отозван в станицу Казанскую. Отдыхая от тягот военной жизни, Фомин развлекался в Казанской, как мог. Завзятый бабник, веселый и общительный гуляка — он пропадал по целым ночам и приходил на квартиру только перед рассветом. Бойцы, с которыми Фомин держал себя запанибрата, завидев вечером на улице своего командира в ярко начищенных сапогах, понимающе перемигивались, говорили:

— Ну, пошел наш жеребец по жалмеркам! Теперь его только заря выкинет.

Тайком от комиссара и политрука эскадрона Фомин захаживал и на квартиры к знакомым казакам-эскадронцам, когда ему сообщали, что есть самогон и предстоит выпивка. Случалось это нередко. Но вскоре бравый командир заскучал, помрачнел и почти совсем забыл о недавних развлечениях. По вечерам он уже не начищал с прежним старанием своих высоких щегольских сапог, перестал ежедневно бриться, впрочем, на квартиры к хуторянам, служившим в его эскадроне, изредка заходил, чтобы посидеть и выпить, но в разговорах оставался немногословным.

Перемена в характере Фомина совпала с сообщением, полученным командиром отряда из Вёшенской: политбюро Дончека коротко информировало о том, что в Михайловке, соседнего Усть-Медведицкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным.

Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе в одну кучу, костром сложили оружие, когда мятежный мироновский корпус окружила конница Буденного. Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал в Вёшенскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на «засилие комиссаров, которые разоряют хлеборобов продразверсткой и ведут страну к гибели». В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецой, часто заменявшей ему отсутствие природного ума. Он вообще был осторожным человеком, никогда не торопился и не говорил сразу ни да, ни нет. Но вскоре, после того как он узнал о восстании вакулинского батальона, всегдашняя осторожность ему изменила. Как-то вечером, перед выступлением эскадрона в Вёшенскую, на квартире взводного Алферова собрались эскадронцы. Огромная конская цибарка была полна самогоном. За столом шел оживленный разговор. Присутствовавший на этой попойке Фомин молча вслушивался в разговоры и так же молча черпал из цибарки самогон. Но когда один из бойцов стал вспоминать, как ходили в атаку под Сухим Донцом, Фомин, задумчиво покручивая ус, прервал рассказчика:

— Рубили мы, ребята, хохлов неплохо, да как бы самим

вскорости не пришлось горевать... Что, как приедем в Вёшенскую, а там у наших семей продотряды весь хлебец выкачали? Казанцы шибко обижаются на эти продотряды. Гребут они из закромов чисто, под метло...

В комнате стало тихо, Фомин оглядел своих эскадронцев и, натянуто улыбаясь, сказал:

— Это я — шутейно... Глядите, языками не надо трепать, а то из шутки черт-те чего сделают.

По возвращении в Вёшенскую Фомин, сопровождаемый полувзводом красноармейцев, поехал домой, в хутор Рубежный. В хуторе, не заезжая к себе во двор, он спешился около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом.

Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе матери и за руку почтительно поздоровался с ней, обнял детишек.

— А где же батя? — спросил он, присев на табурет, ставя между колен шашку.

— Уехал на мельницу,— ответила старуха и, глянув на сына, строго приказала: — Шапку-то сыми, нехристь! Кто же под образа садится в шапке? Ох, Яков, не сносить тебе головы...

Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал.

— Чего же не раздеваешься?

— Я заскочил на минутку проведать вас, все некогда за службой.

— Знаем мы твою службу...— сурово сказала старуха, намекая на беспутное поведение сына, на связи его с женщинами в Вёшенской.

Слух об этом уже давно прошел по Рубежному.

Преждевременно постаревшая, бледная, забитая с виду жена Фомина испуганно взглянула на свекровь, отошла к печи. Чтобы хоть чем-нибудь угодить мужу, чтобы снискать его расположение и удостоиться хотя бы одного ласкового взгляда,— она взяла из-под загнетки тряпку, стала на колени и, согнувшись, начала счищать густую грязь, прилипшую к сапогам Фомина.

— Сапоги-то какие на тебе добрые, Яша... Замазал ты их дюже... Я зараз вытру их, чисточко вытру! — почти беззвучно шептала она, не поднимая головы, ползая на коленях у ног мужа.

Он давно не жил с ней и давно не испытывал к этой женщине, которую когда-то в молодости любил, ничего,

кроме легкой презрительной жалости. Но она всегда любила его и втайне надеялась, что когда-нибудь он снова вернется к ней,— прощала все. Долгие годы она вела хозяйство, воспитывала детей, во всем старалась угодить своенравной свекрови. Вся тяжесть полевых работ ложилась на ее худые плечи. Непосильный труд и болезнь, начавшаяся после вторых родов, из года в год подтачивали ее здоровье. Она исхудала. Лицо ее поблекло. Преждевременная старость раскинула на щеках паутину морщин. В глазах появилось то выражение испуганной покорности, какое бывает у больных умных животных. Она сама не замечала того, как быстро она старится, как с каждым днем тает ее здоровье, и все еще на что-то надеялась, при редких встречах поглядывала на своего красавца мужа с робкой любовью и восхищением...

Фомин смотрел сверху вниз на жалко согнутую спину жены с резко очерченными под кофточкой худыми лопатками, на ее большие дрожащие руки, старательно счищавшие грязь с его сапог, думал: «Хороша, нечего сказать! И с такой холерой я когда-то спал... Хотя она здорово постарела... До чего же она все-таки постарела!»

— Хватит тебе! Все одно вымажу,— с досадой сказал он, высвобождая ноги из рук жены.

Она с усилием распрямила спину, встала. На желтых щеках ее проступил легкий румянец. Столько любви и собачьей преданности было в ее обращенных на мужа увлажнившихся глазах, что он отвернулся, спросил у матери:

— Ну как вы тут живете?

— Все так же,— хмуро ответила старуха.

— Продотряд был в хуторе?

— Только вчера выехали в Нижне-Кривской.

— У нас хлеб брали?

— Взяли. Сколько они насыпали, Давыдушка?

Похожий на отца четырнадцатилетний подросток, с такими же широко поставленными голубыми глазами, ответил:

— Дедуня при них был, он знает. Кажись, десять чувалов.

— Та-а-ак...— Фомин встал, коротко взглянул на сына, оправил портупею. Он слегка побледнел, когда спрашивал: — Говорили вы им, чей они хлеб берут?

Старуха махнула рукой и не без злорадства улыбнулась:

— Они об тебе не дюже понимают! Старший ихний

говорит: «Все без разбору должны сдавать хлебные лишки. Нехай он хоть Фомин, хоть сам окружной председатель — все одно лишний хлеб возьмем!» С тем и начали по закромам шарить.

— Я с ними, мамаша, сочтусь. Я сочтусь с ними! — глухо проговорил Фомин и, наскоро попрощавшись с родными, вышел.

После поездки домой он осторожно стал разведывать, каково настроение бойцов его эскадрона, и без особого труда убедился в том, что в большинстве своем они недовольны продразверсткой. К ним приезжали из хуторов и станиц жены, дальние и близкие родственники; привозили рассказы о том, как продотрядники производят обыски, забирают весь хлеб, оставляя только на семена и на продовольствие. Все это привело к тому, что в конце января на гарнизонном собрании, происходившем в Базках, во время речи окружного военкома Шахаева эскадронцы выступили открыто. Из рядов их раздались возгласы:

— Уберите продотряды!

— Пора кончать с хлебом!

— Долой продовольственных комиссаров!

В ответ им красноармейцы караульной роты кричали:

— Контры!

— Расформировать сволочей!

Собрание было длительным и бурным. Один из немногочисленных коммунистов гарнизона взволнованно сказал Фомину:

— Надо тебе выступить, товарищ Фомин! Смотри, какие номера откалывают твои эскадронцы!

Фомин незаметно улыбнулся в усы.

— Я же беспартийный человек, разве они меня послухают!

Отмолчавшись, он ушел задолго до конца собрания вместе с командиром батальона Капариным. По дороге в Вёшенскую они заговорили о создавшемся положении и очень быстро нашли общий язык. Через неделю Капарин на квартире у Фомина, с глазу на глаз, говорил ему:

— Либо мы выступим сейчас, либо не выступим никогда, так ты это и знай, Яков Ефимович! Надо пользоваться моментом. Сейчас он очень удобен. Казаки нас поддержат. Авторитет твой в округе велик. Настроение у населения — лучше и придумать нельзя. Что же ты молчишь? Решайся!

— Чего ж тут решаться? — медленно, растягивая слова

и глядя исподлобья, проговорил Фомин.— Тут дело решенное. Надо только такой план сработать, чтобы все вышло без заминки, чтобы комар носу не подточил. Об этом и давай говорить.

Подозрительная дружба Фомина с Капариным не осталась незамеченной. Несколько коммунистов из батальона устроили за ними слежку, сообщили о своих подозрениях начальнику политбюро Дончека Артемьеву и военкому Шахаеву.

— Пуганая ворона куста боится,— смеясь, сказал Артемьев,— Капарин этот — трус, да разве он на что-либо решится? За Фоминым будем смотреть, он у нас давно на примете, только едва ли и Фомин отважится на выступление. Ерунда все это,— решительно заключил он.

Но смотреть было уже поздно: заговорщики успели столковаться. Восстание должно было начаться 12 марта в восемь утра. Было условлено, что в этот день Фомин выведет эскадрон на утреннюю проездку в полном вооружении, а затем внезапно атакует расположенный на окраине станицы пулеметный взвод, захватит пулеметы и после этого поможет караульной роте провести «чистку» окружных учреждений.

У Капарина были сомнения, что батальон не полностью его поддержит. Как-то он высказал это предположение Фомину. Тот внимательно выслушал, сказал:

— Лишь бы пулеметы захватить, а батальон твой мы после этого враз усмирим...

Тщательное наблюдение, установленное за Фоминым и Капариным, ничего не дало. Встречались они редко и то лишь по служебным делам, и только в конце февраля однажды ночью патруль увидел их на улице вдвоем. Фомин вел в поводу оседланного коня, Капарин шел рядом. На оклик Капарин отозвался: «Свои». Они зашли на квартиру к Капарину. Коня Фомин привязал к перилам крыльца. В комнате огня не зажигали. В четвертом часу утра Фомин вышел, сел верхом на коня и поехал к себе. Вот все, что удалось установить.

Шифрованной телеграммой на имя командующего войсками Донобласти окружной военком Шахаев сообщил свои подозрения относительно Фомина и Капарина. Через несколько дней был получен ответ командующего, санкционировавший снятие Фомина и Капарина с должностей и их арест.

На совещании бюро окружного комитета партии было

решено: известить Фомина приказом окрвоенкомата, что он отзывается в Новочеркасск в распоряжение командующего войсками, предложить ему передать командование эскадроном своему помощнику Овчинникову; в тот же день эскадрон выслать в Казанскую под предлогом появления там банды и после этого ночью произвести арест заговорщиков. Вывести эскадрон из станицы было решено из опасения, как бы эскадрон не восстал, узнав об аресте Фомина. Командиру второй роты караульного батальона коммунисту Ткаченко было предложено предупредить коммунистов батальона и взводных командиров о возможности восстания и привести в боевую готовность находившиеся в станице роту и пулеметный взвод.

Утром на следующий день Фомин получил приказ.

— Ну, что ж, принимай эскадрон, Овчинников. Поеду в Новочеркасск,— сказал он спокойно.— Отчетность будешь глядеть?

Никем не предупрежденный, ничего не подозревая, беспартийный командир взвода Овчинников углубился в бумаги.

Фомин, улучив минуту, написал Капарину записку: «Выступаем нынче. Меня снимают. Готовься». В сенях он передал записку своему ординарцу, шепнул:

— Положи записку за щеку. Шагом,— понял? — шагом езжай к Капарину. Ежели кто будет тебя в дороге останавливать — записку проглоти. Отдашь ему и зараз же вертайся сюда.

Получив приказ о выступлении в станицу Казанскую, Овчинников на церковной площади выстроил эскадрон к походу. Фомин подъехал верхом к Овчинникову:

— Разреши проститься с эскадроном.

— Пожалуйста, только покороче, не задерживайте нас.

Став перед эскадроном, сдерживая переплясывающего коня, Фомин обратился к бойцам:

— Вы меня, товарищи, знаете. Знаете, за что я всегда боролся. Я всегда был вместе с вами. Но зараз я не могу мириться, когда грабят казачество, грабят вообще хлеборобов. Вот за это меня и сняли. А что сделают со мной — это я знаю. Поэтому и хочу с вами проститься...

Шум и выкрики в эскадроне на секунду прервали речь Фомина. Он привстал на стременах, резко повысил голос:

— Ежли хотите избавиться от грабежа — гоните отсюдова продотряды, бейте продкомиссаров Мурзовых и комиссаров Шахаевых! Они приехали к нам на Дон...

Шум покрыл последние слова Фомина. Выждав момент, он зычно подал команду:

— Справа по три, направо шагом — арш!

Эскадрон послушно выполнил команду. Овчинников, ошарашенный всем случившимся, подскакал к Фомину:

— Вы куда, товарищ Фомин?

Не поворачивая головы, тот насмешливо ответил:

— А вот вокруг церкви объедем...

И только тогда до сознания Овчинникова дошло все происшедшее за эти немногие минуты. Он отделился от колонны; политрук, помощник комиссара и всего лишь один красноармеец последовали за ним. Фомин заметил их отсутствие, когда они отъехали шагов на двести. Повернув лошадь, он крикнул:

— Овчинников, стой!..

Четверо всадников с легкой рыси перешли на галоп. Из-под копыт их лошадей во все стороны полетели комья талого снега. Фомин скомандовал:

— Ружья к бою! Поймать Овчинникова!.. Первый взвод! Вдогон!..

Беспорядочно зазвучали выстрелы. Человек шестнадцать из первого взвода устремились в погоню. Тем временем Фомин разбил оставшихся эскадронцев на две группы: одну во главе с командиром третьего взвода послал обезоружить пулеметный взвод, другую сам повел к расположению караульной роты, помещавшейся на северной окраине станицы, в бывших конюшнях станичных жеребцов.

Первая группа, стреляя в воздух и помахивая клинками, поскакала по главной улице. Изрубив попавшихся на пути четырех коммунистов, мятежники на краю станицы спешно построились и молча, без крика, пошли в атаку на выбежавших из дома красноармейцев пулеметного взвода.

Дом, в котором помещался пулеметный взвод, стоял на отшибе. Расстояние от него до крайних дворов станицы не превышало ста саженей. Встреченные пулеметным огнем в упор, мятежники круто повернули обратно. Трое из них, не доскакав до ближайшего переулка, были пулями сбиты с лошадей. Пулеметчиков захватить врасплох не удалось. Вторичной попытки мятежники не предприняли. Командир третьего взвода Чумаков отвел свою группу за прикрытие; не слезая с коня, осторожно выглянул из-за угла каменного сарая, сказал:

— Ну, выкатили еще два «максима».— Потом вытер папахой потный лоб и повернулся к бойцам: — Поехали

назад, ребята!.. Нехай сам Фомин берет пулеметчиков. Сколько у нас на снегу осталось, трое? Ну, вот, нехай он сам попробует.

Как только на восточной окраине станицы началась стрельба, командир роты Ткаченко выскочил из квартиры — на ходу одеваясь, побежал к казарме. Человек тридцать красноармейцев уже стояли возле казармы, выстроившись в шеренгу. Командира роты встретили недоуменными вопросами:

— Кто стреляет?

— В чем дело?

Не отвечая, он молча пристраивал к шеренге выбегавших из казармы красноармейцев. Несколько коммунистов — работников окружных учреждений — почти одновременно с ним прибежали к казарме и стали в строй.

По станице трещали разрозненные винтовочные выстрелы. Где-то на западной окраине гулко ухнула ручная граната. Завидев с полсотни всадников, скакавших с обнаженными шашками по направлению к казарме, Ткаченко не спеша вынул из кобуры наган. Он не успел подать команду: в шеренге разом смолкли разговоры, и красноармейцы взяли винтовки на изготовку.

— Да это свои бегут! Глядите, вон наш комбат товарищ Капарин! — крикнул один красноармеец.

Всадники, вырвавшись из улицы, дружно, как по команде, пригнулись к шеям лошадей и устремились к казарме.

— Не пускай! — резко крикнул Ткаченко.

Покрывая его голос, грохнул залп. В ста шагах от сомкнутой шеренги красноармейцев четыре всадника свалились с лошадей, остальные в беспорядке, рассыпавшись, повернули обратно. Вслед им часто лопались, трещали выстрелы. Один из всадников, как видно легко раненный, сорвался с седла, но повод из руки не выпустил. Саженей десять волочился он за шедшей карьером лошадью, а потом вскочил на ноги, ухватился за стремя, за заднюю луку седла и через какой-то незаметный миг очутился уже на лошади. Яростно дернув повод, он на всем скаку круто повернул, скрылся в ближайшем переулке.

Эскадронцы первого взвода после безрезультатной погони за Овчинниковым вернулись в станицу. Поиски комиссара Шахаева не привели ни к чему. Ни в опустевшем военкомате, ни на квартире его не оказалось. Услышав стрельбу, он бросился к Дону, перебежал по льду в лес,

оттуда — в хутор Базки и на другой день очутился уже за пятьдесят верст от Вёшенской, в станице Усть-Хоперской.

Большинство руководящих работников успели вовремя спрятаться. Искать их было небезопасно, так как красноармейцы пулеметного взвода с ручными пулеметами подошли к центру станицы и держали под обстрелом все прилегающие к главной площади улицы.

Эскадронцы прекратили поиски, спустились к Дону и наметом прискакали к церковной площади, откуда начали погоню за Овчинниковым. Вскоре там собрались все фоминцы. Они снова стали в строй. Фомин приказал выставить сторожевое охранение, остальным бойцам расположиться по квартирам, но лошадей не расседлывать.

Фомин и Капарин, а также командиры взводов уединились в одном из окраинных домишек.

— Все проиграно! — в отчаянии воскликнул Капарин, обессиленно рухнув на скамью.

— Да, станицу не взяли, стало быть, нам тут не удержаться,— тихо сказал Фомин.

— Надо, Яков Ефимович, махнуть по округу. Чего нам теперича робеть? Все одно раньше смерти не помрем. Подымем казаков, а тогда и станица будет наша,— предложил Чумаков.

Фомин молча посмотрел на него, повернулся к Капарину:

— Раскис, ваше благородие? Утри сопли! Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вместе начинали, давай вместе и вытягивать... Как по-твоему — уходить из станицы или ишо разок попробовать?

Чумаков резко сказал:

— Нехай пробуют другие! Я на пулеметы в лоб не пойду. Пустое это занятие.

— Я у тебя не спрашиваю, цыц! — Фомин глянул на Чумакова, и тот опустил глаза.

После недолгого молчания Капарин сказал:

— Да, конечно, теперь уже бессмысленно начинать второй раз. У них превосходство в вооружении. У них четырнадцать пулеметов, а у нас ни одного. И людей у них больше. Надо уходить и организовывать казаков на восстание. Пока им подбросят подкрепления — весь округ будет охвачен восстанием. Только на это и надежда. Только на это!

После долгого молчания Фомин сказал:

— Что ж, на том прийдется и решить. Взводные! Зараз

же проверьте снаряжение, подсчитайте, сколько у каждого на руках патронов. Строгий приказ: ни одного патрона зря не расходовать. Первого же, кто ослушается, зарублю самолично. Так и передайте бойцам.— Он помолчал и злобно стукнул по столу огромным кулаком.— Эх, п... пулеметы! А все ты, Чумаков! Хотя бы штучки четыре отбить! Зараз они, конечно, выставят нас из станицы... Ну, расходитесь! Ночуем, ежели не выбьют нас, в станице, а на рассвете выступим, пройдемся по округу...

Ночь прошла спокойно. На одном краю Вешенской находились восставшие эскадронцы, на другом — караульная рота и влившиеся в нее коммунисты и комсомольцы. Всего лишь два квартала разделяли противников, но ни одна сторона не отважилась на ночное наступление.

Утром мятежный эскадрон без боя покинул станицу и ушел в юго-восточном направлении.

XI

Первые три недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе Верхне-Кривском Еланской станицы у знакомого казака-полчанина. Потом ушел в хутор Горбатовский, там у дальнего родственника Аксиньи прожил месяц с лишним.

Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой — к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель с твердым решением идти в Татарский — и всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало невмоготу. Хозяин, доводившийся Аксинье двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды Григорий, после ужина пробравшись в свою комнату, услышал разговор. Тонким от ненависти голосом хозяйка спрашивала:

— Когда же это кончится?

— Что? Об чем ты гутаришь? — баском отвечал ей хозяин.

— Когда ты этого дурноеда сбудешь с рук?

— Молчи!

— Не буду молчать! У самих хлеба осталось — кот наплакал, а ты его, черта горбатого, содержишь, кормишь

каждый день. До каких пор это будет, я у тебя спрашиваю? А ежели Совет дознается? С нас головы посымают, детей осиротят!

— Молчи, Авдотья!

— Не буду молчать! У нас дети! У нас хлеба осталось не более двадцати пудов, а ты прикормил в доме этого дармоеда! Кто он тебе доводится? Родный брат? Сват? Кум? Он тебе и близко не родня! Он тебе — двоюродный кисель на троюродной воде, а ты его содержишь, кормишь, поишь. У-у, черт лысый! Молчи, не гавкай, а то завтра сама пойду в Совет и заявлю, какой цветок у тебя в доме кохается!

На другой день хозяин вошел к Григорию в комнату,— глядя на половицы, сказал:

— Григорий Пантелевич! Как хочешь суди, а больше тебе жить у меня нельзя... Я тебя уважаю и родителя твоего покойного знал и уважал, но зараз мне тяжело содержать тебя нахлебником... Да и опасаюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди куда хочешь. У меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости, ради Христа, но ты нас избавь...

— Хорошо,— коротко сказал Григорий.— Спасибо за хлеб-соль, за приют. Спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе, но куда же мне деваться? Все ходы у меня закрыты.

— Куда знаешь.

— Ладно. Нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все.

— Не стоит, не благодари.

— Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь.

Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу.

— Об чем там толковать! По мне ты хотя бы ишо два месяца жил, да баба не велит, ругается кажин день, проклятая! Я казак и ты казак, Григорий Пантелевич; мы с тобой обое против Советской власти, и я тебе пособлю: ступай нынче на хутор Ягодный, там мой сват живет, он тебя примет. Скажи ему моим словом: Артамон велит принять тебя, как родного сына, кормить и содерживать, пока силов хватит. А там мы с ним сочтемся. Но ты только уходи от меня нынче же. Мне больше тебя держать нельзя, тут-таки баба одолевает, а тут опасаюсь, как бы Совет не прознал... Пожил, Григорий Пантелевич, и хватит. Мне своя голова тоже дорогая...

Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел

дойти до стоявшего на бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его:

— Стой, сукин сын! Ты кто такой?

У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги — ни ярка, ни кустика: пустая, голая степь. Он не успел бы сделать и двух шагов.

— Коммунист? Иди назад, в гроб твою мать! А ну, живо!

Второй, наезжая на Григория конем, приказал:

— Руки! Руки из карманов! Вынай, а то голову срублю!

Григорий молча вынул руки из карманов шинели и, еще не совсем ясно осознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его,— спросил:

— Куда идти?

— В хутор. Вертай назад.

До хутора его сопровождал один всадник, двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Григорий шел молча. Выйдя на дорогу, он замедлил шаг, спросил:

— Слухай, дядя, вы кто такие есть?

— Иди, иди! Не разговаривай! Руки заложи назад, слышишь?

Григорий молча повиновался. Немного спустя снова спросил:

— Нет, все-таки, кто вы такие?

— Православные.

— Я и сам не старовер.

— Ну, и радуйся.

— Ты куда меня ведешь?

— К командиру. Иди, ты, гад, а то я тебя...

Конвойный легонько ткнул Григория острием шашки. Тонко отточенное, холодное, стальное жало коснулось голой шеи Григория, как раз между воротником шинели и папахой, и в нем, как искра, на миг вспыхнуло чувство испуга, сменившееся бессильным гневом. Подняв воротник, вполоборота глянув на конвойного, он сказал сквозь зубы:

— Не дури! Слышишь? А то как бы я у тебя эту штуку не отобрал...

— Иди, подлюка, не разговаривай! Я тебе отберу! Руки назад!

Григорий шага два ступил молча, потом сказал:

— Я и так молчу, не ругайся. Подумаешь, дерьмо какое...

— Не оглядывайся!

— Я и так не оглядываюсь.

— Молчи, иди шибче!

— Может, рысью побечь? — спросил Григорий, смахивая с ресниц налипающие снежинки.

Конвойный молча тронул коня. Лошадиная влажная от пота и ночной сырости грудь толкнула Григория в спину, возле ног его конское копыто с чавканьем продавило талый снег.

— Потише! — воскликнул Григорий, упираясь ладонью в конскую гриву.

Конвойный поднял на уровень головы шашку, негромко сказал:

— Ты иди, сучий выб..., и не разговаривай, а то я тебя не доведу до места. У меня на это рука легкая. Цыц, и ни слова больше!

До самого хутора они молчали. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал:

— Иди вот в эти ворота.

Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек шесть вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал, спешиваясь:

— Иди в дом, по порожкам прямо, первая дверь налево. Иди, не оглядывайся, сколько разов тебе говорить, в рот тебя, в печенку, в селезенку!

Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденовке и длинной кавалерийской шинели спросил:

— Поймали, что ли?

— Поймали,— неохотно ответил знакомый Григорию сиплый голос его конвоира.— Возле ветряка взяли.

— Секретарь ячейки или кто он такой?

— А хрен его знает. Какая-то сволочуга, а кто он такой — зараз узнаем.

«Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался! Попался, как дурак»,— думал Григорий, нарочно мешкая в сенях, пытаясь собраться с мыслями.

Первый, кого он увидел, открыв дверь, был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военное незнакомых Григорию людей. На кровати навалом лежали шинели и полушубки, карабины стояли возле лавки, ряд-

ком; здесь же на лавке в беспорядочную кучу были свалены шашки, патронташи, подсумки и седельные саквы. От людей, от шинелей и снаряжения исходил густой запах конского пота.

Григорий снял папаху, негромко сказал:

— Здравствуйте!

— Мелехов! Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая! Пришлось-таки опять увидеться! Откудова ты взялся? Раздевайся, садись.— Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку.— Ты чего тут околачивался?

— По делу пришел.

— По какому делу? Далековато ты забрался...— Фомин пытливо рассматривал Григория.— Говори по правде — спасался тут, что ли?

— Это — вся и правда,— нехотя улыбаясь, ответил Григорий.

— Где же тебя мои ребята сцапали?

— Возле хутора.

— Куда шел?

— Куда глаза глядят...

Фомин еще раз внимательно посмотрел Григорию в глаза и улыбнулся.

— Ты, я вижу, думаешь, что мы тебя словили и в Вёшки повезем? Нет, брат, нам туда дорога заказанная... Не робей! Мы перестали Советской власти служить. Не ужились с ней...

— Развод взяли,— пробасил немолодой казак, куривший возле печи.

Кто-то из сидевших за столом громко засмеялся.

— Ты ничего про меня не слыхал? — спросил Фомин.

— Нет.

— Ну, садись за стол, погутарим. Щей и мяса нашему гостю!

Григорий не верил ни одному слову Фомина. Бледный и сдержанный, он разделся, присел к столу. Ему хотелось курить, но он вспомнил, что у него уже вторые сутки нет табака.

— Покурить нечего? — обратился он к Фомину.

Тот услужливо протянул кожаный портсигар. От внимания его не ускользнуло, что пальцы Григория, бравшие папиросу, мелко вздрагивали, и Фомин снова улыбнулся в рыжеватые волнистые усы.

— Против Советской власти мы восстали. Мы — за

народ и против продразверстки и комиссаров. Они нам долго головы дурили, а теперь мы им будем дурить. Понятно тебе, Мелехов?

Григорий промолчал. Он закурил, несколько раз подряд торопливо затянулся. У него слегка закружилась голова и к горлу подступила тошнота. Он плохо питался последний месяц и только сейчас почувствовал, как ослабел за это время. Потушив папиросу, он жадно принялся за еду. Фомин коротко рассказал о восстании, о первых днях блуждания по округу, высокопарно именуя свои скитания «рейдом». Григорий молча слушал и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную, плохо сваренную баранину.

— Однако отощал ты в гостях,— добродушно посмеиваясь, сказал Фомин.

Икая от пресыщения, Григорий буркнул:

— Жил-то не у тещи.

— Оно и видно. Ешь дюжей, наедайся, сколько влезет. Мы хозяева не скупые.

— Спасибо. Вот покурить бы зараз...— Григорий взял предложенную ему папиросу, подошел к стоявшему на лавке чугуну и, отодвинув деревянный кружок, зачерпнул воды. Она была студеная и слегка солоноватая на вкус. Опьяневший от еды, Григорий с жадностью выпил две большие кружки воды, после этого с наслаждением закурил.

— Казаки нас не дюже привечают,— продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию.— Нашарахали их в прошлом году во время восстания... Однако добровольцы есть. Человек сорок вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы и соседние округа, Хоперский и Усть-Медведицкий, подсобили. Вот тогда мы потолкуем по душам с Советской властью!

За столом шел громкий разговор. Григорий слушал Фомина, украдкой посматривая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица! Он все еще не верил Фомину, думал, что тот лукавит, и из осторожности молчал. Но и молчать все время — тоже было нельзя.

— Ежели ты это, товарищ Фомин, всурьез говоришь — чего же вы хотите? Новую войну подымать? — спросил он, силясь отогнать навалившуюся на него сонливость.

— Я уже тебе об этом сказал.

— Власть сменять?

— Да.

— А какую же ставить?

— Свою, казачью!

— Атаманов?

— Ну, об атаманах трошки погодим гутарить. Какую власть народ выберет, такую и поставим. Но это — дело не скорое, да я и не секу насчет политики. Я — военный человек, мое дело — уничтожить комиссаров и коммунистов, а насчет власти — это тебе Капарин, мой начальник штаба, расскажет. Он у меня голова насчет этого. Башковитый человек, грамотный.— Фомин наклонился к Григорию, шепнул: — Бывший штабс-капитан царской армии. Умница парень! Он зараз спит в горнице, что-то прихворнул, должно, с непривычки: переходы делаем большие.

В сенях послышались шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик: «Дай ему в душу!» За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, в стеганой защитной теплушке и седых валенках, от звучного удара в спину, клонясь вперед, сделал несколько стремительных спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул, перед тем как захлопнуть дверь:

— Возьмите ишо одного!

Фомин встал, поправил на гимнастерке пояс.

— Ты кто такой? — властно спросил он.

Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукой по волосам, попробовал шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо — прикладом.

— Чего же молчишь? Язык отнялся? Кто такой, спрашиваю.

— Красноармеец.

— Какой части?

— Двенадцатого продовольственного полка.

— А-а, это — находка! — улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом.

Фомин продолжал допрос:

— Что ты тут делал?

— Заградительный отряд... нас послали...

— Понятно. Сколько вас было тут в хуторе?

— Четырнадцать человек.

— Где остальные?

Красноармеец помолчал и с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало, из левого угла рта потекла

на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее о штаны.

— Эта сволочь... ваша...— глотая кровь, заговорил он булькающим голосом,— легкие мне отбил...

— Не робь! Вылечим! — насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным.

— Где остальные? — вторично спросил Фомин.

— Уехали в Еланскую с обозом.

— Ты откуда? Каких краев рожак?

Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми глазами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском:

— Псковской губернии.

— Псковский, московский... слыхали про таких...— насмешливо сказал Фомин.— Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом... Ну, кончен разговор! Что же нам с тобой делать, а?

— Надо меня отпустить.

— Простой ты, парень... А может, и на самом деле отпустить его, ребята? Вы — как? — Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы.

Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, увидел сдержанные понимающие улыбки на бурых обветренных лицах.

— Нехай у нас послужит месяца два, а тогда пустим его домой, к бабе,— сказал один из фоминцев.

— Может, и взаправди послужишь у нас? — спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку.— Коня тебе дадим, седло, заместо валенок — новые сапоги с дутыми голенищами... Плохо вас снабжают ваши командиры. Разве это обувка? На базу ростепель, а ты в валенках. Поступай к нам, а?

— Он — мужик,— он верхом сроду не ездил,— юродствуя, притворно тонким голосом прошепелявил один из казаков.

Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка прикрывал рот, когда ему было трудно дышать.

— Остаешься у нас или как? — переспросил Фомин.

— А вы кто такие есть?

— Мы? — Фомин высоко поднял брови, разгладил ладонью усы.— Мы — борцы за трудовой народ. Мы против гнета комиссаров и коммунистов, вот кто мы такие.

И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку.

— Оказывается, вот вы кто... А я-то думал: что это за люди? — Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью, но в голосе его звучало что-то такое, что заставило всех насторожиться.— По-вашему, значит, борцы за народ? Та-а-ак. А по-нашему, просто бандиты. Да чтобы я вам служил? Ну, и шутники же вы, право!

— Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя...— Фомин сощурился, коротко спросил: — Коммунист?

— Нет, что вы! Беспартийный.

— Не похоже.

— Честное слово, беспартийный!

Фомин откашлялся и повернулся к столу.

— Чумаков! В расход его.

— Меня убивать не стоит. Не за что,— тихо сказал красноармеец.

Ему ответили молчанием. Чумаков — коренастый красивый казак в английской кожаной безрукавке — неохотно встал из-за стола, пригладил и без того гладко зачесанные назад русые волосы.

— Надоела мне эта должность,— бодро сказал он, вытащив из груды сваленных на лавке шашек свою и пробуя лезвие ее на большом пальце.

— Не обязательно самому. Скажи ребятам, какие во дворе,— посоветовал Фомин.

Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал:

— Иди вперед, милый.

Красноармеец отшатнулся от печи, сгорбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок.

— Шел сюда — хотя бы ноги вытер! Явился, наследил нам тут, нагрязнил... До чего же ты неряха, братец! — с нарочитым недовольством говорил Чумаков, направляясь за пленным.

— Скажи, чтобы вывели на проулок либо на гумно. Возле дома не надо, а то хозяева будут обижаться! — крикнул вслед им Фомин.

Он подошел к Григорию, сел рядом, спросил:

— Короткий у нас суд?

— Короткий,— избегая встретиться глазами, ответил Григорий.

Фомин вздохнул.

— Ничего не попишешь. Зараз так надо.— Он еще что-то хотел сказать, но на крыльце громко затопали, кто-то крикнул, и звучно хлопнул одинокий выстрел.

— Что их там черт мордует! — с досадой воскликнул Фомин.

Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь.

— В чем там дело? — крикнул он в темноту.

Вошел Чумаков, оживленно сказал:

— Такой шустрый оказался! Вот чертяка! С верхней приступки сигнул и побег. Пришлось стратить патрон. Ребята там его кончают...

— Прикажи, чтобы вытянули с база на проулок.

— Я уже сказал, Яков Ефимович.

В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту:

— Как, Чумаков, погода? Не разведривает на базу?

— Тучки.

— Ежели дождь пройдет — последний снежок смоет.

— А на что он тебе нужен?

— Он мне не нужен. По грязюке неохота хлюстаться.

Григорий подошел к кровати, взял свою папаху.

— Ты куда? — спросил Фомин.

— Оправиться.

Григорий вышел на крыльцо. Неярко светил проглянувший из-за тучки месяц. Широкий двор, крыши сараев, устремленные ввысь голые вершины пирамидальных тополей, покрытые попонами лошади у коновязи — все это было освещено призрачным голубым светом полуночи. В нескольких саженях от крыльца, головою в тускло блистающей луже талой воды, лежал убитый красноармеец. Над ним склонились трое казаков, негромко разговаривая. Они что-то делали возле мертвого.

— Он ишо двошит, ей-богу! — с досадой сказал один.— Что же ты, косорукий черт, так добивал? Говорил тебе — руби в голову! Эх, тюря неквашеная!

Хрипатый казак, тот самый, который конвоировал Григория, ответил:

— Дойдет! Подрыгает и дойдет... Да подыми ты ему голову! Не сыму никак. Подымай за волосья, вот так. Ну, а теперь держи.

Хлюпнула вода. Один из стоявших над мертвым выпря-

мился. Хрипатый, сидя на корточках, кряхтел, стаскивая с убитого теплушку. Немного погодя он сказал:

— У меня рука легкая, через это он и не дошел пока. Бывало, в домашности кабана начну резать... Поддерживай, не бросай! О, черт!.. Да-а, бывало, начну кабанка резать, все горло ему перехвачу, до самой душки достану, а он, проклятый, встанет и пойдет по базу. И долго ходит! Весь в кровище, а ходит, хрипит. Дыхать ему нечем, а он все живет. Это, значит, такая уже легкая рука у меня. Ну, бросай его... Все ишо двошит? Скажи на милость. А ить почти до мосла шею ему располохнул...

Третий распялил на вытянутых руках снятую с красноармейца теплушку, сказал:

— Обкровнили левый бок... Липнет к рукам, тьфу, будь она неладна!

— Обомнется. Это не сало,— спокойно сказал хрипатый и снова присел на корточки.— Обомнется либо отстирается. Не беда.

— Да ты что, и штаны думаешь с него сымать? — недовольно спросил первый.

Хрипатый резко сказал:

— Ты, ежели спешишь, иди к коням, без тебя тут управимся! Не пропадать же добру?

Григорий круто повернулся, пошел в дом.

Фомин встретил его коротким изучающим взглядом, встал.

— Пойдем в горницу, потолкуем, а то тут галдят дюже.

В просторной жарко натопленной горнице пахло мышами и конопляным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы его были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной, обтянутой одним наперником подушке. Висячая лампа освещала его бледное, давно не бритое лицо.

Фомин разбудил его, сказал:

— Вставай, Капарин. Гость у нас. Это наш человек — Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению.

Капарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку:

— Очень приятно. Штабс-капитан Капарин.

Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что расправа над красноармейцем произвела на него гнетущее впечатление, потому и сказал:

— Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Это же, чудак, из продотрядников. Им и разным комиссарам спуску не даем, а остальных милуем. Вот вчера поймали трех милиционеров; лошадей, седла и оружие у них забрали, а их отпустили. На черта они нужны — убивать их.

Григорий молчал. Положив руки на колени, он думал о своем и слышал как во сне голос Фомина.

— ...Вот так и воюем пока,— продолжал Фомин.— Думаем все-таки поднять казаков. Советской власти не жить. Слухом пользуемся, что везде война идет. Везде восстания: и в Сибири, и на Украине, и даже в самом Петрограде. Весь флот восстал в этой крепости, как ее прозывают...

— В Кронштадте,— подсказал Капарин.

Григорий поднял голову, пустыми, словно незрячими глазами взглянул на Фомина, перевел взгляд на Капарина.

— На, закури.— Фомин протянул портсигар.— Так вот, Петроград уже взяли и подходют к Москве. Везде такая волынка идет! Нечего и нам дремать. Подымем казаков, стряхнем Советскую власть, а там, ежели кадеты подсобят, вовсе дела наши пойдут на лад. Нехай ихние ученые люди власть устанавливают, мы им поможем.— Он помолчал, потом спросил:— Ты как, Мелехов, думаешь: ежели кадеты подопрут от Черного моря и мы соединимся с ними,— нам же это зачтется, что мы первые восстали в тылу? Капарин говорит — непременно зачтется. Неужели, к примеру, мне будут попрекать, что я увел в восемнадцатом году Двадцать восьмой полк с фронта и каких-нибудь два года служил Советской власти.

«Вот ты куда стреляешь! Дурак, а хитрый...» — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал:

— Это дело длинное.

— Конечно, конечно,— охотно согласился Фомин.— Я это к слову сказал. Дальше виднее будет, а теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим! Они пехотишку свою посадили на подводы и думают за нами угоняться... Пущай пробуют. Пока конную часть им подкинут, мы весь округ кверх ногами постановим!

Григорий снова смотрел под ноги себе, думал. Капарин извинился, прилег на кровать.

— Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас, мало спим,— сказал он, вяло улыбнувшись.

— Пора и нам на покой,— Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория.— Молодец, Мелехов, что послухал тогда в Вёшках моего совета! Не прихоронись ты тогда — навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вёшенских бурунах, и ноготки обопрели бы... Это уж я — как в воду гляжу. Ну, так что надумал? Говори, да давай ложиться спать.

— Об чем говорить?

— С нами идешь или как? Всю жизню по чужим катухам не прохоронишься.

Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать: или дальше скитаться по хуторам, вести голодную, бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям, или самому явиться с повинной в политбюро, или идти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой, сказал:

— У меня выбор, как в сказке про богатырей: налево поедешь — коня потеряешь, направо поедешь — убитым быть... И так — три дороги, и ни одной нету путевой...

— Ты уж выбирай без сказок. Сказки потом будем рассказывать.

— Деваться некуда, потому и выбрал.

— Ну?

— Вступаю в твою банду.

Фомин недовольно поморщился, закусил ус.

— Ты это название брось. Почему это — банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди. Коротко и ясно.

Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория — и не мог скрыть этого; оживленно потирая руки, сказал:

— Нашего полку прибыло! Слышишь, ты, штабс-капитан? Дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать — будешь при штабе с Капариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего. У меня есть запасный.

XII

К заре слегка приморозило. Лужи затянуло сизым ледком. Снег стал жесткий, звучно хрустящий. На зернистой снежной целине копыта лошадей оставляли неясные,

осыпающиеся, круглые отпечатки, а там, где вчерашняя оттепель съела снег, голая земля с поникшей к ней мертвой прошлогодней травой лишь слегка вминалась под копытами и, продавливаясь, глухо гудела.

Фоминский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников высланного вперед головного разъезда.

— Вот оно, мое войско! — подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин.— Черту рога можно сломать с такими ребятами!

Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденовский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали!»

Фомин указал плетью, спросил:

— Как они на вид?

— Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо, а вот как они в бою — не знаю,— сухо ответил Григорий.

Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал:

— Поглядишь их и в бою. У меня народ все больше служивый, эти не подведут.

Шесть пароконных подвод с патронами и продовольствием поместились в середине колонны. Фомин поскакал вперед, подал команду трогаться. На бугре он снова подъехал к Григорию, спросил:

— Ну, как мой конь? По душе?

— Добрый конь.

Они долго молча ехали рядом, стремя к стремени, потом Григорий спросил:

— В Татарском не думаешь побывать?

— По своим наскучал?

— Хотелось бы проведать.

— Может, и заглянем. Зараз думаю на Чир свернуть, потолкать казачков, расшевелить их трошки.

Но казаки не очень-то охотно «шевелились»... В этом Григорий убедился в течение ближайших же дней. Занимая хутор или станицу, Фомин приказывал созвать собрание граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Капарин. Они призывали казаков к оружию, говорили о «тяготах, которые возложила на хлеборобов Советская власть», об «окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если Советскую власть не свергнуть». Фомин говорил не так грамотно и складно, как Капарин, но более

пространно и на понятном казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами: «Мы с нонешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем хлебе, но эта чужбинка кончилась. Вы — свободные люди! Вооружайтесь и поддерживайте нашу власть! Ура, казаки!»

Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали, зато бабы давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики:

— Твоя власть хорошая, а мыла ты нам привез?

— Где ты ее возишь, свою власть, в тороках?

— А вы сами чьим хлебом кормитесь?

— Небось зараз поедете по дворам побираться?

— У них шашки. Они без спросу курам пачнут головы рубить!

— Как это — хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а нам отвечать?

— Не дадим вам наших мужьев! Воюйте сами!

И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих мужей.

Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав тишину, он обращался к казакам. И тогда коротко и рассудительно те отвечали:

— Не притесняйте нас, товарищ Фомин, навоевались мы вдосталь.

— Пробовались, восставали в девятнадцатом году!

— Не с чем восставать и не к чему! Пока нужды нету.

— Пора подходит — сеять надо, а не воевать.

Однажды из задних рядов кто-то крикнул:

— Сладко гутаришь зараз! А где был в девятнадцатом году, когда мы восставали? Поздно ты, Фомин, всхомянулся!

Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в ответ.

Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления; даже бабьи крики и ругань не выводили его из душевного равновесия. «Ничего, мы их уломаем!» — самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но убедившись в том, что основная

масса казачьего населения относится к нему отрицательно,— он круто изменил свое отношение к выступавшим на собраниях. Говорил он, уже не слезая с седла, и не столько уговаривал, сколько грозил. Однако результат оставался прежним: казаки, на которых он думал опереться, молча выслушивали его речь и так же молча начинали расходиться.

В одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая ростом, дородная и широкая в кости вдова говорила почти мужским басом и по-мужски ухватисто и резко размахивала руками. Широкое, изъеденное оспой лицо ее было исполнено злой решимости, крупные вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке. Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего на седле, она словно выплевывала язвительные слова:

— Ты чего смутьянничаешь тут? Ты куда наших казаков хочешь пихнуть, в какую яму? Мало эта проклятая война у нас баб повдовила? Мало деток посиротила? Новую беду на наши головы кличешь? И что это за царь-освободитель такой объявился с хутора Рубежного? Ты бы дома порядку дал, разруху прикончил, а посля нас бы учил, как жить и какую власть принимать, а какую не надо! А то у тебя у самого дома баба из хомута не вылазит, знаем точно! А ты усы распушил, разъезжаешь на конике, народ мутишь. У тебя у самого в хозяйстве — кабы ветер хату не подпирал, она давно бы упала. Учитель нашелся! Чего же ты молчишь, рыжее мурло, аль я неправду говорю?

В толпе зашелестел тихий смешок. Зашелестел, как ветер, и стих. Левая рука Фомина, лежавшая на луке седла, медленно перебирала поводья, лицо темнело от сдерживаемого гнева, но он молчал, искал в уме достойный выход из создавшегося положения.

— И что это за власть твоя, что ты зовешь ее поддерживать? — напористо продолжала вошедшая в раж вдова.

Она подбоченилась и медленно шла к Фомину, виляя широченными бедрами. Перед нею расступались казаки, пряча улыбки, потупив смеющиеся глаза. Они очищали круг словно для пляски, сторонились, толкали друг друга...

— Твоя власть без тебя на земле не остается,— низким басом говорила вдова.— Она следом за тобой волочится и больше часу в одном месте не живет! «Нынче на коне верхом, а завтра в грязе Пахом» — вот кто ты такой, и власть твоя такая же!

Фомин с силой сжал ногами бока коня, послал его в толпу. Народ шарахнулся в разные стороны. В широком кругу осталась одна вдова. Она видала всякие виды и потому спокойно глядела на оскаленную морду фоминского коня, на бледное от бешенства лицо всадника.

Наезжая на нее конем, Фомин высоко поднял плеть.

— Цыц, рябая стерва!.. Ты что тут агитацию разводишь?!

Прямо над головой бесстрашной казачки высилась задранная кверху, оскаленная конская морда. С удил слетел бледно-зеленый комок пены, упал на черный вдовий платок, с него — на щеку. Вдова смахнула его движением руки, ступила шаг назад.

— Тебе можно говорить, а нам нельзя? — крикнула она, глядя на Фомина круглыми, сверкающими от ярости глазами.

Фомин не ударил ее. Потрясая плетью, он заорал:

— Зараза большевицкая! Я из тебя дурь выбью! Вот прикажу задрать тебе подол да всыпать шомполов, тогда доразу поумнеешь!

Вдова ступила еще два шага назад и, неожиданно повернувшись к Фомину спиной, низко нагнулась, подняла подол юбки.

— А этого ты не видал, Аника-воин? — воскликнула она и, выпрямившись с диковинным проворством, снова стала лицом к Фомину. — Меня?! Пороть?! В носе у тебя не кругло!..

Фомин с ожесточением плюнул, натянул поводья, удерживая попятившегося коня.

— Закройся, кобыла нежерёбая! Рада, что на тебе мяса много? — громко сказал он и повернул коня, тщетно пытаясь сохранить на лице суровое выражение.

Глухой задавленный хохот зазвучал в толпе. Один из фоминцев, спасая посрамленную честь своего командира, подбежал к вдове, замахнулся прикладом карабина, но здоровенный казак, ростом на две головы выше его, заслонил женщину широким плечом, тихо, но многообещающе сказал:

— Не трогай!

И еще трое хуторян быстро подошли и оттеснили вдову назад. Один из них — молодой, чубатый — шепнул фоминцу:

— Чего намахиваешься, ну? Бабу побить нехитро, ты

свою удаль вон там, на бугре, покажи, а по забазьям все мы храбрые...

Фомин шагом отъехал к плетню, приподнялся на стременах.

— Казаки! Подумайте хорошенько! — крикнул он, обращаясь к медленно расходившейся толпе.— Зараз добром просим, а через неделю вернемся — другой разговор будет!

Он почему-то пришел в веселое расположение духа и, смеясь, сдерживая танцующего на одном месте коня, кричал:

— Мы не из пужливых! Нас этими бабьими... (последовало несколько нецензурных выражений) не напужаете! Мы видали и рябых и всяких! Приедем, и ежели никто из вас добровольно не впишется в наш отряд — насильно мобилизуем всех молодых казаков. Так и знайте! Нам с вами нянчиться и заглядывать вам в глаза некогда!

В толпе, приостановившейся на минуту, послышались смех и оживленные разговоры. Фомин, все еще улыбаясь, скомандовал:

— По ко-о-ням!..

Багровея от сдерживаемого смеха, Григорий поскакал к своему взводу.

Растянувшийся по грязной дороге фоминский отряд выбрался уже на бугор, скрылся из глаз негостеприимный хутор, а Григорий все еще изредка улыбался, думал: «Хорошо, что веселый народ мы, казаки. Шутка у нас гостюет чаще, чем горе, а не дай бог делалось бы все всурьез — при такой жизни давно бы завеситься можно!» Веселое настроение долго не покидало его, и только на привале он с тревогой и горечью подумал о том, что казаков, наверное, не удастся поднять и что вся фоминская затея обречена на неизбежный провал.

XIII

Шла весна. Сильнее пригревало солнце. На южных склонах бугров потаял снег, и рыжая от прошлогодней травы земля в полдень уже покрывалась прозрачной сиреневой дымкой испарений. На сугревах, на курганах, из-под вросших в суглинок самородных камней показались первые, ярко-зеленые острые ростки травы медвянки. Обнажилась зябь. С брошенных зимних дорог грачи перекочевали

на гумна, на затопленную талой водой озимь. В логах и балках снег лежал синий, доверху напитанный влагой; оттуда все еще сурово веяло холодом, но уже тонко и певуче звенели в ярах под снегом невидимые глазу вешние ручейки, и совсем по-весеннему, чуть приметно и нежно зазеленели в перелесках стволы тополей.

Подходила рабочая пора, и с каждым днем таяла фоминская банда. После ночевки наутро недосчитывались одного-двух человек, а однажды сразу скрылось чуть ли не полвзвода: восемь человек с лошадьми и вооружением отправились в Вешенскую сдаваться. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе, и многие фоминцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, разъезжались по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, чья вина перед Советской властью была слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на прощение.

К первым числам апреля у Фомина было уже не больше восьмидесяти шести сабель. Григорий тоже остался в банде. У него не хватило мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном столкновении с какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут разгромлены наголову. И все же остался подручным у Фомина, втайне надеясь дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, махнуть ночью в Татарский и оттуда, вместе с Аксиньей — на юг. Степь донская — широкая, простору и неезженых дорог в ней много; летом все пути открыты, и всюду можно найти приют... Думал он, бросив где-нибудь лошадей, пешком с Аксиньей пробраться на Кубань, в предгорья, подальше от родных мест, и там пережить смутное время. Иного выхода, казалось ему, не было.

Фомин, по совету Капарина, решил перед ледоходом перейти на левую сторону Дона. На грани с Хоперским округом, где было много лесов, надеялся он в случае необходимости укрыться от преследования.

Выше хутора Рыбного банда переправилась через Дон. Местами, на быстринах, лед уже пронесло. Под ярким апрельским солнцем серебряной чешуей сверкала вода, но там, где была набитая зимняя дорога, на аршин возвышавшаяся над уровнем льда, Дон стоял нерушимо. На окраинцы положили плетни, лошадей по одной провели

в поводу, на той стороне Дона построились и, выслав вперед разведку, пошли в направлении Еланской станицы.

День спустя Григорию довелось увидеть своего хуторянина — кривого старика Чумакова. Он ходил в хутор Грязновский к родне и повстречался с бандой неподалеку от хутора. Григорий отвел старика в сторону от дороги, спросил:

— Детишки мои — живые-здоровые, дедушка?

— Бог хранит, Григорий Пантелевич, живые и здоровые.

— Великая просьба к тебе, дедушка: передай им и сестре Евдокии Пантелевне от меня низкий поклон и Прохору Зыкову — поклон, а Аксинье Астаховой скажи, пущай меня вскорости поджидает. Только, окромя них, никому не говори, что видал меня, ладно?

— Сделаю, кормилец, сделаю! Не сумлевайся, все передам, как надо.

— Что нового в хуторе?

— А ничего нету, все по-старому.

— Кошевой все председателем?

— Он самый.

— Семью мою не обижают?

— Ничего не слыхал, стало быть, не трогают. Да за что же их и трогать? Они за тебя не ответчики...

— Что обо мне гутарят по хутору?

Старик высморкался, долго вытирал усы и бороду красным шейным платком, потом уклончиво ответил:

— Господь их знает... Разное брешут, кто во что горазд. Замиряться-то с Советской властью скоро будете?

Что мог ответить ему Григорий? Удерживая коня, рвавшегося за ушедшим вперед отрядом, он улыбнулся, сказал:

— Не знаю, дед. Пока ничего не видно.

— Как это не видно? С черкесами воевали, с турком воевали, и то замирение вышло, а вы все свои люди и никак промежду собой не столкуетесь... Нехорошо, Григорий Пантелевич, право слово, нехорошо! Бог-милостивец, он все видит, он вам всем это не простит, попомни мое слово! Ну, мыслимое ли это дело: русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нету. Ну, повоевали бы трошки, а то ить четвертый год на драку сходитесь. Я стариковским умом так сужу: пора кончать!

Григорий попрощался со стариком и шибко поскакал догонять свой взвод. Чумаков долго стоял, опершись на

палку, протирая рукавом слезящуюся пустую глазницу. Единственным, но по-молодому зорким глазом он смотрел вслед Григорию, любовался его молодецкой посадкой и тихо шептал:

— Хороший казак! Всем взял, и ухваткой и всем, а вот непутевый... Сбился со своего шляху! Вся статья ему бы с черкесами воевать, а он ишь чего удумал! И на чуму она ему нужна, эта власть? И чего они думают, эти молодые казаки? С Гришки-то спрашивать нечего, у них вся порода такая непутевая... И покойник Пантелей такой же крученый был, и Прокофия-деда помню... Тоже ягодка-кислица был, а не человек... А вот что другие казаки думают — побей бог, не пойму!

* * *

Фомин, занимая хутора, уже не созывал собрания граждан. Он убедился в бесплодности агитации. Впору было удерживать своих бойцов, а не вербовать новых. Он заметно помрачнел и стал менее разговорчив. Утешения начал искать в самогоне. Всюду, где только приходилось ему ночевать, шли мрачные попойки. Глядя на своего атамана, пили и фоминцы. Упала дисциплина. Участились случаи грабежей. В домах советских служащих, скрывавшихся при приближении банды, забиралось все, что можно было увезти на верховой лошади. Седельные вьюки у многих бойцов невероятно распухли. Однажды Григорий увидел у одного из бойцов своего взвода ручную швейную машину. Повесив на луку поводья, он держал ее под мышкой левой руки. Только пустив в ход плеть, Григорию удалось заставить казака расстаться с приобретением. В этот вечер между Фоминым и Григорием произошел резкий разговор. Они были вдвоем в комнате. Распухший от пьянства Фомин сидел за столом, Григорий крупными шагами ходил по комнате.

— Сядь, не маячь перед глазами,— с досадою сказал Фомин.

Не обращая внимания на его слова, Григорий долго метался по тесной казачьей горенке, потом сказал:

— Мне это надоело, Фомин! Кончай грабиловку и гулянки!

— Плохой сон тебе нынче приснился?

— Тоже, шуточки... Народ об нас начинает плохо говорить!

— Ты же видишь, ничего не поделаю с ребятами,— нехотя сказал Фомин.

— Да ты ничего и не делаешь!

— Ну, ты мне не указ! А народ твой доброго слова не стоит. За них же, сволочей, страдаем, а они... Я об себе думаю, и хватит.

— Плохо и об себе думаешь. За пьянством думать некогда. Ты четвертые сутки не просыпаешься, и все остальные пьют. В заставах и то по ночам пьют. Чего хочешь? Чтобы нас пьяных накрыли и вырезали где-нибудь в хуторе?

— А ты думаешь, это нас минует? — усмехнулся Фомин.— Когда-нибудь прийдется помирать. Повадился кувшин по воду ходить... Знаешь?

— Тогда давай завтра сами поедем в Вешенскую и подымем вверх руки: берите, мол, нас, сдаемся.

— Нет, мы ишо погуляем...

Григорий стал против стола, широко расставив ноги.

— Ежели ты не наведешь порядок, ежели не прикончишь грабежи и пьянку, я отколюсь от тебя и уведу с собой половину народа,— тихо сказал он.

— Попробуй,— угрожающе протянул Фомин.

— И без пробы выйдет!

— Ты... ты мне брось грозить! — Фомин положил руку на кобуру нагана.

— Не лапай кобуру, а то я тебя через стол скорей достану! — быстро сказал Григорий, побледнев, до половины обнажив шашку.

Фомин положил руки на стол, улыбнулся.

— Чего ты привязался ко мне? Без тебя голова трещит, а тут ты с глупыми разговорами. Вложи шашку в ножны! И пошутить с тобой нельзя, что ли? Скажи, пожалуйста, строгий какой! Чисто девочка шестнадцати годов...

— Я уже тебе сказал, чего хочу, и ты это заруби себе на носу. У нас не все такого духу, как ты.

— Знаю.

— Знай и помни! Завтра же прикажи, чтобы опорожнили вьюки. У нас — конная часть, а не вьючный обоз. Отсеки им это, как ножом! Тоже, борцы за народ называются! Огрузились грабленым добром, торгуют им на хуторах, как раньше, бывало, купцы-коробейники... Стыду до глаз! И на черта я с вами связывался? — Григорий плюнул и отвернулся к окну, бледный от негодования и злобы.

Фомин засмеялся, сказал:

— Ни разу нас конница не надавила... Сытый волк, когда за ним верховые гонят, все, что сожрал, на бегу отрыгивает. Так и мои стервецы — всё покидали бы, ежли бы нажали на нас как следует. Ничего, Мелехов, не волнуйся, все сделаю! Это я так, трошки духом пал и распустил вожжи, но я их подберу! А делиться нам нельзя, давай кручину трепать вместе.

Им помешали закончить разговор: в комнату вошла хозяйка, неся дымящуюся миску щей, потом толпой ввалились предводимые Чумаковым казаки.

Но разговор все же возымел действие. Наутро Фомин отдал приказ опорожнить вьюки, сам проверил исполнение этого приказа. Одного из отъявленных грабителей, оказавшего сопротивление при осмотре вьюков и не пожелавшего расстаться с награбленным, Фомин застрелил в строю из нагана.

— Уберите это падло! — спокойно сказал он, пихнув ногой мертвого, и оглядел строй, повысил голос: — Хватит, сукины сыны, по сундукам лазить! Я вас не для того поднял против Советской власти! С убитого противника можете сымать все, даже мазаные исподники, ежли не погребуете, а семьи не трожьте! Мы с бабами не воюем. А кто будет супротивничать — получит такой же расчет!

В строю прокатился и смолк тихий шумок...

Порядок был как будто восстановлен. Дня три банда рыскала по левобережью Дона, уничтожая в стычках небольшие отрядики местной самообороны.

В станице Шумилинской Капарин предложил перейти на территорию Воронежской губернии. Он мотивировал это тем, что там они наверняка получат широкую поддержку населения, недавно восстававшего против Советской власти. Но когда Фомин объявил об этом казакам, те в один голос заявили: «Из своего округа не пойдем!» В банде замитинговали. Пришлось изменить решение. В течение четырех дней банда безостановочно уходила на восток, не принимая боя, который навязывала ей конная группа, начавшая преследовать Фомина по пятам от самой станицы Казанской.

Заметать свои следы было нелегко, так как всюду на полях шла весенняя работа и даже в самых глухих уголках степи копошились люди. Уходили ночами, но едва лишь утром останавливались где-либо подкормить лошадей — неподалеку появлялась конная разведка противника, короткими очередями бил ручной пулемет, и фоминцы под

обстрелом начинали поспешно взнуздывать лошадей. За хутором Мельниковым Вешенской станицы Фомину искусным маневром удалось обмануть противника и оторваться от него. Из донесения своей разведки Фомин знал, что командует конной группой Егор Журавлев — напористый и понимающий в военном деле казак Букановской станицы; знал он, что конная группа численностью почти вдвое превосходит его банду, имеет шесть ручных пулеметов и свежих, не измотанных длительными переходами лошадей. Все это заставляло Фомина уклоняться от боя, с тем чтобы дать возможность отдохнуть людям и лошадям, а потом, при возможности, не в открытом бою, а внезапным налетом растрепать группу и таким образом избавиться от навязчивого преследования. Думал он также разжиться за счет противника пулеметами и винтовочными патронами. Но расчеты его не оправдались. То, чего опасался Григорий, случилось восемнадцатого апреля на опушке Слащевской дубравы. Накануне Фомин и большинство рядовых бойцов перепились в хуторе Севастьяновском, из хутора выступили на рассвете. Ночью почти никто не спал, и многие теперь заснули в седлах. Часам к девяти утра неподалеку от хутора Ожогина стали на привал. Фомин выставил сторожевое охранение и приказал дать лошадям овса.

С востока дул сильный порывистый ветер. Бурое облако песчаной пыли закрывало горизонт. Над степью висела густая мгла. Чуть просвечивало солнце, задернутое высоко взвихренной мглою. Ветер трепал полы шинелей, конские хвосты и гривы. Лошади поворачивались к ветру спиной, искали укрытия возле редких, разбросанных на опушке леса кустов боярышника. От колючей песчаной пыли слезились глаза, и было трудно что-либо рассмотреть даже на недалеком расстоянии.

Григорий заботливо протер своему коню храп и влажные надглазницы, навесил торбу и подошел к Капарину, кормившему лошадь из полы шинели.

— Ну и место для стоянки выбрали! — сказал он, указывая плетью на лес.

Капарин пожал плечами.

— Я говорил этому дураку, но разве его можно в чем-либо убедить!

— Надо было стать в степи или на искрайке хутора.

— Вы думаете, что нападения можно ждать из леса?

— Да.

— Противник далеко.

— Противник может быть и близко, это вам не пехота.

— Лес голый. Пожалуй, увидим в случае чего.

— Смотреть некому, почти все спят. Боюсь, как бы и в охранении не спали.

— Они с ног валятся после вчерашней пьянки, их теперь не добудишься.— Капарин сморщился, как от боли, сказал вполголоса: — С таким руководителем мы погибнем. Он пуст, как пробка, и глуп, прямо-таки непроходимо глуп! Почему вы не хотите взять на себя командование? Казаки вас уважают. За вами они охотно пошли бы.

— Мне это не надо, я у вас короткий гость,— сухо ответил Григорий и отошел к коню, сожалея о нечаянно сорвавшемся с языка неосторожном признании.

Капарин высыпал из полы на землю остатки зерна, последовал за Григорием.

— Знаете, Мелехов,— сказал он, на ходу сломив ветку боярышника, ощипывая набухшие тугие почки,— я думаю, что долго мы не продержимся, если не вольемся в какую-нибудь крупную антисоветскую часть, например — в бригаду Маслака, которая бродит где-то на юге области. Надо пробиваться туда, иначе нас здесь уничтожат в одно прекрасное время.

— Зараз разлив. Дон не пустит.

— Не сейчас, но когда вода спадет — надо уходить. Вы думаете иначе?

После некоторого раздумья Григорий ответил:

— Правильно. Надо подаваться отсюда. Делать тут нечего.

Капарин оживился. Он стал пространно говорить о том, что расчеты на поддержку со стороны казаков не оправдались и что теперь надо всячески убеждать Фомина, чтобы он не колесил бесцельно по округу, а решился на слияние с более мощной группировкой.

Григорию надоело слушать его болтовню. Он внимательно следил за конем, и как только тот опорожнил торбу,— снял ее, взнуздал коня и подтянул подпруги.

— Выступаем еще не скоро, напрасно вы спешите,— сказал Капарин.

— Вы лучше пойдите приготовьте коня, а то тогда некогда будет седлать,— ответил Григорий.

Капарин внимательно посмотрел на него, пошел к своей лошади, стоявшей возле обозной линейки.

Ведя коня в поводу, Григорий подошел к Фомину. Широко разбросав ноги, Фомин лежал на разостланной

бурке, лениво обгладывал крыло вареной курицы. Он подвинулся, жестом приглашая занять место рядом с ним.

— Садись полудновать со мной.

— Надо уходить отсюда, а не полудновать,— сказал Григорий.

— Выкормим лошадей и тронемся.

— Потом можно выкормить.

— Чего ты горячку порешь? — Фомин отбросил обглоданную кость, вытер о бурку руки.

— Накроют нас тут. Место подходящее.

— Какой нас черт накроет? Зараз разведка вернулась, говорят, что бугор пустой. Стало быть, Журавлев потерял нас, а то бы он теперь на хвосте висел. Из Букановской ждать некого. Военкомом там Михей Павлов, парень он боевой, но силенок у него маловато, и он едва ли пойдет встречать нас. Отдохнем как следует, перегодим трошки этот ветер, а потом направимся в Слащевскую. Садись, ешь курятину, чего над душой стоишь? Что-то ты, Мелехов, трусоват стал, скоро все кусты будешь объезжать, вон какой крюк будешь делать! — Фомин широко повел рукой и захохотал.

Выругавшись в сердцах, Григорий отошел, привязал к кусту коня, лег около, прикрыв от ветра лицо полой шинели. Он задремал под свист ветра, под тонкий напевный шорох склонившейся над ним высокой сухой травы.

Длинная пулеметная очередь заставила его вскочить на ноги. Очередь еще не успела кончиться, а Григорий уже отвязал коня. Покрывая все голоса, Фомин заорал: «По ко́ням!» Еще два или три пулемета затрещали справа, из лесу. Сев в седло, Григорий мгновенно оценил обстановку. Справа над опушкой леса, чуть видные сквозь пыль человек пятьдесят красноармейцев, развернувшись лавой, отрезая путь к отступлению на бугор, шли в атаку. Холодно и так знакомо поблескивали над головами их голубые при тусклом свете солнца клинки. Прямо из лесу, с заросшего кустарником пригорка, с лихорадочной поспешностью опорожняя диск за диском, били пулеметы. Слева тоже с полэскадрона красноармейцев мчались без крика, помахивая шашками, растягиваясь, замыкая кольцо окружения. Оставался единственный выход: прорваться сквозь редкие ряды атакующих слева и уходить к Дону. Григорий крикнул Фомину: «За мной держи!» — и пустил коня, обнажив шашку.

Отскакав саженей двадцать, он оглянулся. Фомин,

Капарин, Чумаков и еще несколько бойцов бешеным наметом шли позади, в каких-нибудь десяти саженях от него. Пулеметы в лесу смолкли, лишь крайний справа бил короткими злыми очередями по суетившимся около обозных повозок фоминцам. Но и последний пулемет сразу умолк, и Григорий понял, что красноармейцы — уже на месте стоянки и что позади началась рубка. Он догадывался об этом по глухим отчаянным вскрикам, по редкой прерывистой стрельбе оборонявшихся. Ему некогда было оглядываться. Сближаясь в стремительном броске с шедшей навстречу лавой, он выбирал цель. Навстречу скакал красноармеец в куцем дубленом полушубке. Под ним была серая не очень резвая лошадь. Как при вспышке молнии, за какое-то неуловимое мгновение Григорий увидел и лошадь с белой звездой нагрудника, покрытого хлопьями пены, и всадника с красным, разгоряченным, молодым лицом, и широкий пасмурный просвет уходящей к Дону степи — за ним... В следующий миг надо было уклоняться от удара и рубить самому. В пяти саженях от всадника Григорий резко качнулся влево, услышал режущий посвист шашки над головой и, рывком выпрямившись в седле, только кончиком своей шашки достал уже миновавшего его красноармейца по голове. Рука Григория почти пе ощутила силы удара, но, глянув назад, он увидел поникшего, медленно сползавшего с седла красноармейца и густую полосу крови на спине его желтой дубленки. Серая лошадь сбилась с намета и шла уже крупной рысью, дико задрав голову, избочившись так, словно она испугалась собственной тени...

Григорий припал к шее коня, привычным движением опустил шашку. Тонко и резко свистали над головой пули. Плотно прижатые уши коня вздрагивали, на кончиках их бисером проступил пот. Григорий слышал только воющий свист посылаемых ему в угон пуль да короткое и резкое дыхание коня. Он еще раз оглянулся и увидел Фомина и Чумакова, за ними саженях в пятидесяти скакал приотставший Капарин, а еще дальше — лишь один боец второго взвода, хромой Стерлядников отбивался на скаку от двух наседавших на него красноармейцев. Все остальные восемь или девять человек, устремившиеся следом за Фоминым, были порублены. Разметав по ветру хвосты, лошади без седоков уходили в разные стороны, их перехватывали, ловили красноармейцы. Лишь один гнедой высокий конь, принадлежавший фоминцу Прибыткову, скакал бок о бок

с конем Капарина, всхрапывая, волоча следом за собой мертвого хозяина, не высвободившего при падении ногу из стремени.

За песчаным бугром Григорий придержал коня, соскочил с седла, сунул шашку в ножны. Чтобы заставить коня лечь, понадобилось несколько секунд. Этому нехитрому делу Григорий выучил его в течение одной недели. Из-за укрытия он расстрелял обойму, но так как, целясь, он спешил и волновался, то лишь последним выстрелом свалил под красноармейцем коня. Это дало возможность пятому фоминцу уйти от преследования.

— Садись! Пропадешь! — крикнул Фомин, равняясь с Григорием.

* * *

Разгром был полный. Только пять человек уцелели из всей банды. Их преследовали до хутора Антоновского, и погоня прекратилась, лишь когда пятеро беглецов скрылись в окружавшем хутор лесу.

За все время скачки никто из пятерых не обмолвился ни одним словом.

Возле речки лошадь Капарина упала, и поднять ее уже не смогли. Под остальными загнанные лошади качались, еле переставляли ноги, роняя на землю густые белые хлопья пены.

— Тебе не отрядом командовать, а овец стеречь! — сказал Григорий, спешиваясь и не глядя на Фомина.

Тот молча слез с коня, стал расседлывать его, а потом отошел в сторону, так и не сняв седла,— сел на поросшую папоротником кочку.

— Что ж, коней придется бросить,— сказал он, испуганно озираясь по сторонам.

— А дальше? — спросил Чумаков.

— Надо пеши перебираться на энту сторону.

— Куда?

— Перебудем в лесу до ночи, тогда переедем через Дон и схоронимся на первых порах в Рубежном, там у меня родни много.

— Очередная глупость! — яростно воскликнул Капарин.— Ты предполагаешь, что там тебя не будут искать? Именно в твоем хуторе тебя теперь и будут ожидать! Чем ты только думаешь?

— Ну, а куда же нам деваться? — растерянно спросил Фомин.

Григорий вынул из седельных сум патроны и кусок хлеба, сказал:

— Вы долго думаете ладиться? Пошли! Привязывайте лошадей, расседлывайте их и — ходу, а то нас и тут сумеют забрать.

Чумаков бросил на землю плеть, затоптал ее ногами в грязь, сказал дрогнувшим голосом:

— Вот мы и пешие стали... А ребятки наши все полегли... Матерь божья, как нас трепанули! Не думал я нынче в живых остаться... Смерть в глазах была...

Они молча расседлали лошадей, привязали всех четырех к одной ольхе и гуськом, одним следом, по-волчьи,— пошли к Дону, неся в руках седла, стараясь держаться зарослей погуще.

XIV

Весною, когда разливается Дон и полая вода покрывает всю луговую пойму, против хутора Рубежного остается незатопленным небольшой участок высокого левобережья.

С Обдонской горы весною далеко виден на разливе остров, густо поросший молодыми вербами, дубняком и сизыми раскидистыми кустами чернотала.

Летом деревья там до макушек оплетает дикий хмель, внизу по земле стелется непролазный колючий ежевичник, по кустам ползут, кучерявятся бледно-голубые вьюнки, и высокая глухая трава, щедро вскормленная жирной почвой, поднимается на редких полянах выше человеческого роста.

Летом даже в полдни в лесу тихо, сумеречно, прохладно. Только иволги нарушают тишину да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые года. А зимою лес и вовсе стоит пустой, голый, скованный мертвой тишиной. Мрачно чернеют зубцы его на фоне белесого зимнего неба. Лишь волчьи выводки из года в год находят в чаще надежное убежище, днями отлеживаясь в заваленном снегом бурьяне.

На этом острове обосновались Фомин, Григорий Мелехов и остальные уцелевшие от разгрома фоминской банды. Жили кое-как: питались скудными харчишками, которые по ночам доставлял им на лодке двоюродный брат Фомина,

ели впроголодь, зато спали вволю, подложив под головы седельные подушки. Ночами по очереди несли караул. Огня не разводили из опасения, что кто-либо обнаружит их местопребывание.

Омывая остров, стремительно шла на юг полая вода. Она грозно шумела, прорываясь сквозь гряду вставших на пути ее старых тополей, и тихо, певуче, успокоенно лепетала, раскачивая верхушки затопленных кустов.

К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро привык. Он подолгу лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на меловые отроги Обдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети... Туда летели его невеселые думки. На миг в нем жарко вспыхивала и жгла сердце тоска, когда он вспоминал о родных, вскипала глухая ненависть к Михаилу, но он подавлял эти чувства и старался не смотреть на Обдонские горы, чтобы не вспоминать лишний раз. Незачем было давать волю злой памяти. Ему и без этого было достаточно тяжко. И без этого так наболело в груди, что иногда ему казалось — будто сердце у него освежевано, и не бьется оно, а кровоточит. Видно, ранения, и невзгоды войны, и тиф сделали свое дело: Григорий стал слышать докучливые перестуки сердца каждую минуту. Иногда режущая боль в груди, под левым соском, становилась такой нестерпимо острой, что у него мгновенно пересыхали губы, и он с трудом удерживался, чтобы не застонать. Но он нашел верный способ избавления от боли: он ложился левой стороной груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку, и боль медленно, словно с неохотой, покидала его тело.

Погожие и безветренные стояли дни. Лишь изредка в ясном небе проплывали белые, распушившиеся на вышнем ветру облачка, и по разливу лебединой стаей скользили их отражения и исчезали, коснувшись дальнего берега.

Хорошо было смотреть на разметавшуюся у берега бешено клокочущую быстрину, слушать разноголосый шум воды и ни о чем не думать, стараться не думать ни о чем, что причиняет страдания. Григорий часами смотрел на прихотливые и бесконечно разнообразные завитки течения. Они меняли форму ежеминутно: там, где недавно шла ровная струя, неся на поверхности побитые стебли камыша, мятые листья и корневища трав,— через минуту рождалась причудливо изогнутая воронка, жадно всасывавшая все, что проплывало мимо нее, а спустя немного на

месте воронки уже вскипала и выворачивалась мутными клубами вода, извергая на поверхность то почерневший корень осоки, то распластанный дубовый лист, то неведомо откуда принесенный пучок соломы.

Вечерами горели на западе вишнево-красные зори. Из-за высокого тополя вставал месяц. Свет его белым, холодным пламенем растекался по Дону, играя отблесками и черными переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По ночам, сливаясь с шумом воды, так же неумолчно звучали над островом голоса пролетавших на север бесчисленных гусиных стай. Никем не тревожимые птицы часто садились за островом, с восточной стороны его. В тиховодье, в затопленном лесу призывно трещали чирковые селезни, крякали утки, тихо гоготали, перекликались казарки и гуси. А однажды, бесшумно подойдя к берегу, Григорий увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не всходило солнце. За дальней грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая свет ее, вода казалась розовой, и такими же розовыми казались на неподвижной воде большие величественные птицы, повернувшие гордые головы на восход. Заслышав шорох на берегу, они взлетели с зычным трубным кликом, и, когда поднялись выше леса,— в глаза Григорию ударил дивно сияющий, снежный блеск их оперения.

Фомин и его соратники каждый по-своему убивали время: хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие; Капарин, которому не впрок пошли ночевки на сырой земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая; Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты; Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой,— все было давно переговорено,— и собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их, и лишь однажды за все время пребывания на острове Григорий увидел, как Чумаков и Стерлядников, почему-то вдруг развеселившись, схватились бороться. Они долго топтались на одном месте, кряхтя и перебрасываясь короткими шутливыми фразами. Ноги их по щиколотки утопали в белом зернистом песке. Хромой Стерлядников был явно сильнее, но Чумаков превосходил его ловкостью. Они боролись по-калмыцки, на поясах, выставив вперед плечи и зорко следя

за ногами друг друга. Лица их стали сосредоточенны и бледны от напряжения, дыхание — прерывисто и бурно. Григорий с интересом наблюдал за борьбой. Он увидел, как Чумаков, выбрав момент, вдруг стремительно опрокинулся на спину, увлекая за собой противника и движением согнутых ног перебрасывая его через себя. Секунду спустя гибкий и проворный, как хорь, Чумаков уже лежал на Стерлядникове, вдавливая ему лопатки в песок, а задыхающийся и смеющийся Стерлядников рычал: «Ну и стерва же ты! Мы же не уговаривались... чтобы через голову кидать...»

— Связались, как молодые кочета, хватит, а то как раз ишо подеретесь,— сказал Фомин.

Нет, они вовсе не собирались драться. Они мирно, в обнимку, сели на песке, и Чумаков глухим, но приятным баском в быстром темпе завел плясовую:

Ой, вы, морозы! Ой, вы, морозы!
Вы, морозы крещенские, лютые,
Сморозили сера волка в камыше,
Зазнобили девчоночку в тереме...

Стерлядников подхватил песню тоненьким тенорком, и они запели согласно и неожиданно хорошо:

Выходила девчоночка на крыльцо,
Выносила черну шубку на руке,
Одевала урядничка на коне...

Стерлядников не выдержал: он вскочил и, прищелкивая пальцами, загребая песок хромой ногой, пустился в пляс. Не прерывая песни, Чумаков взял шашку, вырыл в песке неглубокую ямку и тогда сказал:

— Погоди, черт хромой! У тебя же одна ножка короче, тебе на ровном месте плясать неспособно... Тебе надо либо на косогоре плясать, либо так, чтобы одна нога, какая длинней, была в ямке, а другая наруже. Становись длинной ногой в ямку и ходи, поглядишь, как оно расхорошо получится... Ну, начали!..

Стерлядников вытер пот со лба, послушно ступил здоровой ногой в вырытое Чумаковым углубление.

— А ить верно, так мне ловчее,— сказал он.

Задыхаясь от смеха, Чумаков хлопнул в ладоши, скороговоркой запел:

Будешь ехать — заезжай, милый, ко мне,
Как заедешь — расцелую я тебя...

И Стерлядников, сохраняя на лице присущее всем плясунам серьезное выражение,— начал ловко приплясывать и попробовал даже пройтись на присядку...

Дни проходили похожие один на другой. С наступлением темноты нетерпеливо ждали, когда приедет брат Фомина. Собирались на берегу все пятеро, вполголоса разговаривали, курили, прикрывая полами шинелей огоньки папирос. Было решено пожить на острове еще с неделю, а потом перебраться ночью на правую сторону Дона, добыть лошадей и двинуться на юг. По слухам, где-то на юге округа ходила банда Маслака.

Фомин поручил своим родственникам разузнать, на каком из ближайших хуторов есть годные под верх лошади, а также велел ежедневно сообщать ему обо всем, что происходило в округе. Новости, которые передавали им, были утешительны: Фомина искали на левой стороне Дона; в Рубежном хотя и побывали красноармейцы, но после обыска в доме Фомина тотчас уехали.

— Надо скорее уходить отсюда. Какого тут анчихриста сидеть? Давайте завтра махнем? — предложил однажды во время завтрака Чумаков.

— Про лошадей надо разведать сначала,— сказал Фомин.— Чего нам спешить? Кабы похарчевитее нас кормили,— с этой живухой до зимы не расстался бы. Глядите, какая красота кругом! Отдохнем — и опять пойдем в дело. Нехай они нас половят, так мы им в руки не дадимся. Разбили нас, каюсь, по моей глупости, ну, обидно, конечно, только это не все. Мы ишо народу соберем! Как только сядем верхи, проедемся по ближним хуторам, и через неделю вокруг нас уж полсотни будет, а там и сто. Обрастем людишками, ей-богу!

— Чепуха! Глупая самоуверенность! — раздражительно сказал Капарин.— Нас казаки предали, не пошли за нами и не пойдут. Надо иметь мужество и смотреть правде в глаза, а не обольщаться дурацкими надеждами.

— Как это — не пойдут?

— А вот так, как не пошли вначале, так и сейчас не пойдут.

— Ну, это мы ишо поглядим! — вызывающе кипул Фомин.— Оружие я не сложу!

— Все это пустые слова,— устало сказал Капарин.

— Чертова голова! — громко воскликнул вскипевший Фомин.— Чего ты тут панику разводишь? Осточертел ты мне со своими слезьми хуже горькой редьки! Из-за чего же

тогда огород было городить? К чему было восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая слабая? Ты первый подбивал меня на восстание, а зараз в кусты? Чего же ты молчишь?

— А не о чем мне с тобой разговаривать, ступай ты к черту, дурак! — истерически вскрикнул Капарин и отошел, зябко кутаясь в полушубок, подняв воротник.

— Они, эти благородные люди, все такие тонкокожие. Чуть что — и он готов уже, спекся...— со вздохом проговорил Фомин.

Некоторое время они сидели молча, вслушиваясь в ровный и мощный гул воды. Над головами их, надсадно крякая, пролетела утка, преследуемая двумя селезнями. Оживленно щебечущая стайка скворцов снизилась над поляной, но, завидев людей, взмыла вверх, сворачиваясь на лету черным жгутом.

Спустя немного Капарин подошел снова.

— Я хочу поехать сегодня в хутор,— сказал он, глядя на Фомина и часто моргая.

— Зачем?

— Странный вопрос! Разве ты не видишь, что я окончательно простудился и уже почти не держусь на ногах?

— Ну так что? В хуторе твоя простуда пройдет, что ли? — с невозмутимым спокойствием спросил Фомин.

— Мне необходимо хотя бы несколько ночей побыть в тепле.

— Никуда ты не поедешь,— твердо сказал Фомин.

— Что же мне, погибать здесь?

— Как хочешь.

— Но почему я не могу поехать? Ведь меня доконают эти ночевки на холоде!

— А ежели тебя захватят в хуторе? Об этом ты подумал? Тогда доконают нас всех. Али я тебя не знаю? Ты же выдашь нас на первом допросе! Ишо до допроса выдашь, по дороге в Вёшки.

Чумаков засмеялся и одобрительно кивнул головой. Он целиком был согласен со словами Фомина. Но Капарин упрямо сказал:

— Я должен поехать. Твои остроумные предположения меня не разубедили.

— А я тебе сказал — сиди и не рыпайся.

— Но пойми же, Яков Ефимович, что я больше не могу жить этой звериной жизнью! У меня плеврит и, может быть, даже воспаление легких!

— Выздоровеешь. Полежишь на солнышке и выздоровеешь.

Капарин резко заявил:

— Все равно я поеду сегодня. Держать меня ты не имеешь права. Уеду при любых условиях!

Фомин посмотрел на него, подозрительно сощурив глаз, и, подмигнув Чумакову, поднялся с земли.

— А ты, Капарин, похоже, что на самом деле захворал... У тебя, должно быть, жар большой... Ну-ка, дай я попробую — голова у тебя горячая? — Он сделал несколько шагов к Капарину, протягивая руку.

Видно, что-то недоброе заметил Капарин в лице Фомина,— попятившись, резко крикнул:

— Отойди!

— Не шуми! Чего шумишь? Я только попробовать. Чего ты полохаешься? — Фомин шагнул и схватил Капарина за горло.— Сдаваться, сволочь?! — придушенно бормотал он и весь напрягся, силясь опрокинуть Капарина на землю.

Григорий с трудом разнял их, пустив в ход всю свою силу.

...После обеда Капарин подошел к Григорию, когда тот развешивал на кусте свое выстиранное бельишко, сказал:

— Хочу с вами поговорить наедине... Давайте присядем.

Они сели на поваленный бурей, обопревший ствол тополя.

Капарин, глухо покашливая, спросил:

— Как вы смотрите на выходку этого идиота? Я искренне благодарю вас за вмешательство. Вы поступили благородно, как и подобает офицеру. Но это ужасно! Я больше не могу. Мы — как звери... Сколько дней уже, как мы не ели горячего, и потом этот сон на сырой земле... Я простудился, бок отчаянно болит. У меня, наверно, воспаление легких. Мне очень хочется посидеть у огня, поспать в теплой комнате, переменить белье... Я мечтаю о чистой, свежей рубашке, о простыне... Нет, не могу!

Григорий улыбнулся.

— Воевать хотелось с удобствами?

— Послушайте, какая это война? — с живостью отозвался Капарин.— Это не война, а бесконечные кочевки, убийства отдельных совработников, а затем бегство. Война была бы тогда, когда нас поддержал бы народ, когда началось бы восстание, а так это — не война, нет, не война!

— У нас нету другого выхода. Не сдаваться же нам?

— Да, но что же делать?

Григорий пожал плечами. Он сказал то, что не раз приходило ему на ум, когда он отлеживался тут, на острове:

— Плохая воля все-таки лучше хорошей тюрьмы. Знаете, как говорят в народе: крепка тюрьма, да черт ей рад.

Капарин палочкой чертил на песке какие-то фигуры, после долгого молчания сказал:

— Необязательно сдаваться, но надо искать какие-то новые формы борьбы с большевиками. Надо расстаться с этим гнусным народом. Вы — интеллигентный человек...

— Ну, какой там из меня интеллигент,— усмехнулся Григорий.— Я и слово-то это со трудом выговариваю.

— Вы офицер.

— Это по нечаянности.

— Нет, без шуток, вы же офицер, вращались в офицерском обществе, видели настоящих людей, вы же не советский выскочка, как Фомин, и вы должны понимать, что нам бессмысленно оставаться здесь. Это равносильно самоубийству. Он подставил нас в дубраве под удар и, если с ним и дальше связывать нашу судьбу,— подставит еще не раз. Он попросту хам, да к тому же еще буйный идиот! С ним мы пропадем!

— Так, стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина? Куда? К Маслаку? — спросил Григорий.

— Нет. Это такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку...

— А куда же?

— В Вёшенскую.

Григорий с досадой пожал плечами.

— Это называется — опять за рыбу деньги. Не подходит это мне.

Капарин посмотрел на него заблестевшими глазами.

— Вы меня не поняли, Мелехов. Могу я вам довериться?

— Вполне.

— Честное слово офицера?

— Честное слово казака.

Капарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова и, хотя расстояние до них было порядочное и они никак не могли слышать происходившего разговора,— понизил голос.

— Я знаю ваши отношения с Фоминым и другими. Вы среди них — такое же инородное тело, как и я. Меня не интересуют причины, заставившие вас пойти против Советской власти. Если я правильно понимаю, это — ваше прошлое и боязнь ареста, не так ли?

— Вы сказали, что вас не интересуют причины.

— Да-да, это к слову, теперь несколько слов о себе. Я в прошлом офицер и член партии социалистов-революционеров, позднее я решительно пересмотрел свои политические убеждения... Только монархия может спасти Россию. Только монархия! Само провидение указывает этот путь нашей родине. Эмблема Советской власти — молот и серп, так? — Капарин палочкой начертил на песке слова «молот, серп», потом впился в лицо Григория горячечно блестящими глазами: — Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом! Я трепетал, потому, что это, если хотите,— божий перст, указывающий конец нашим метаниям...

Капарин задохнулся от волнения и умолк. Его острые, с тихой сумасшедшинкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал и не испытывал мистического ужаса, услышав такое откровение. Он всегда трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ:

— Никакой это не перст. Вы в германскую войну на фронте были?

Озадаченный вопросом, Капарин ответил не сразу:

— Собственно, почему вы об этом? Нет, непосредственно на фронте я не был.

— А где же вы проживали в войну? В тылу?

— Да.

— Все время?

— Да, то есть не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете?

— А я на фронте с четырнадцатого года и по нынешний день, с небольшими перерывами. Так вот насчет этого перста... Какой там может быть перст, когда и бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого! Ежели бы был — не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нету, и монархии быть

не может. Народ ее кончил раз навсегда. А это, что вы показываете, буквы разные перевертываете, это, извините меня,— детская забава, не больше. И я трошки не пойму — к чему вы всё это подводите? Вы мне говорите попроще да покороче. Я в юнкерском не учился и не дюже грамотный, хотя и офицером был. Ежели бы я пограмотнее был, может, и не сидел бы тут с вами на острове, как бирюк, отрезанный половодьем,— закончил он с явственно прозвучавшим в голосе сожалением.

— Это не важно,— торопливо сказал Капарин.— Не важно, верите вы в бога или нет. Это — дело ваших убеждений, вашей совести. Точно так же не имеет значения — монархист вы, или учредиловец, или просто казак, стоящий на платформе самостийности. Важно, что нас объединяет единство отношений к Советской власти. Вы согласны с этим?

— Дальше.

— Мы делали ставку на всеобщее восстание казаков, так? Она оказалась битой. Теперь надо выпутываться из этого положения. С большевиками можно бороться и потом и не только под начальством какого-то Фомина. Важно сейчас сохранить себе жизнь, поэтому я и предлагаю вам союз.

— Какой союз? Против кого?

— Против Фомина.

— Не понимаю.

— Все очень просто. Я приглашаю вас в сообщники...— Капарин заметно волновался и говорил уже, прерывисто дыша: — Мы с вами убиваем эту троицу и идем в Вёшенскую. Понятно? Это нас спасет. Эта заслуга перед Советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем! Вы понимаете, живем!.. Спасаем себе жизнь! Само собою разумеется, что в будущем при случае мы выступаем против большевиков. Но тогда, когда будет серьезное дело, а не такая авантюра, как с этим несчастным Фоминым. Согласны? Учтите, что это — единственный выход из нашего безнадежного положения, и притом блистательный выход.

— Но как это сделать? — спросил Григорий, внутренне содрогаясь от возмущения, но всеми силами стараясь скрыть охватившее его чувство.

— Я все обдумал: мы сделаем это ночью, холодным оружием, на следующую ночь приезжает этот казак, который снабжает нас продуктами, мы переезжаем Дон — вот и все. Гениально просто, и никаких ухищрений!

С притворным добродушием, улыбаясь, Григорий сказал:

— Это здорово! А скажите, Капарин, вы утром, когда собирались в хутор греться... Вы в Вёшки собирались? Фомин разгадал вас?

Капарин внимательно посмотрел на добродушно улыбавшегося Григория и сам улыбнулся, слегка смущенно и невесело.

— Откровенно говоря — да. Знаете ли, когда стоит вопрос о собственной шкуре — в выборе средств не особенно стесняешься.

— Выдали бы нас?

— Да,— честно признался Капарин.— Но вас лично я постарался бы оградить от неприятностей, если б вас взяли здесь, на острове.

— А почему вы одни не побили нас? Ночью это легко было сработать.

— Риск. После первого выстрела остальные...

— Клади оружие! — сдержанно сказал Григорий, выхватывая наган...— Клади, а то убью на месте! Я зараз встану, заслоню тебя спиной, чтобы Фомин не видал, и ты кинешь наган мне под ноги. Ну? Не вздумай стрелять! Положу при первом движении.

Капарин сидел, мертвенно бледнея.

— Не убивайте меня! — прошептал он, еле шевеля белыми губами.

— Не буду. А оружие возьму.

— Вы меня выдадите...

По заросшим щекам Капарина покатились слезы. Григорий сморщился от омерзения и жалости, повысил голос:

— Бросай наган! Не выдам, а надо бы! Ну и хлюст ты оказался! Ну и хлюст!

Капарин бросил револьвер к ногам Григория.

— А браунинг? Давай и браунинг. Он у тебя во френче, в грудном кармане.

Капарин вынул и бросил блеснувший никелем браунинг, закрыл лицо руками. Он вздрагивал от сотрясавших его рыданий.

— Перестань ты, сволочь! — резко сказал Григорий, с трудом удерживаясь от желания ударить этого человека.

— Вы меня выдадите... Я погиб.

— Я тебе сказал, что нет. Но как только переедем с острова — копти на все четыре стороны. Такой ты никому не нужен. Ищи сам себе укрытия.

Капарин отнял от лица руки. Мокрое багровое лицо его с опухшими глазами и трясущейся нижней челюстью было страшно.

— Зачем же тогда... Зачем вы меня обезоружили? — заикаясь, спросил он.

Григорий нехотя сказал:

— А это — чтобы ты мне в спину не выстрелил. От вас, от ученых людей, всего можно ждать... А все про какой-то перст толковал, про царя, про бога... До чего же ты склизкий человек...

Не взглянув на Капарина, время от времени сплевывая обильно набегавшую слюну, Григорий медленно пошел к стоянке.

Стерлядников сшивал дратвой скошевку на седле, тихо посвистывал. Фомин и Чумаков, лежа на попонке, по обыкновению, играли в карты.

Фомин коротко взглянул на Григория, спросил:

— Чего он тебе говорил? Об чем речь шла?

— На жизнь жаловался... Болтал, так, абы что...

Григорий сдержал обещание — не выдал Капарина. Но вечером незаметно вынул из капаринской винтовки затвор, спрятал его. «Черт его знает, на что он может ночью решиться...» — думал он, укладываясь на ночлег.

Утром его разбудил Фомин. Наклонившись, он тихо спросил:

— Ты забрал у Капарина оружие?

— Что? Какое оружие? — Григорий приподнялся, с трудом расправил плечи.

Он уснул только перед рассветом и сильно озяб на заре. Шинель его, папаха, сапоги — все было мокрое от упавшего на восходе солнца тумана.

— Оружие его не найдем. Ты забрал? Да проснись же ты, Мелехов!

— Ну я. А в чем дело?

Фомин молча отошел. Григорий встал, отряхнул шинель. Чумаков неподалеку готовил завтрак; он ополоснул единственную в лагере миску,— прижав к груди буханку хлеба, отрезал четыре ровных ломтя, налил из кувшина в миску молока и, раскрошив комок круто сваренной пшенной каши, глянул на Григория.

— Долго ты, Мелехов, зорюешь нынче. Гляди, солнышко-то где!

— У кого совесть чистая, энтот всегда хорошо спит,— сказал Стерлядников, вытирая о полу шинели чисто вымы-

тые деревянные ложки.— А вот Капарин всею ноченьку не спал, все ворочался...

Фомин, молча улыбаясь, смотрел на Григория.

— Садитесь завтракать, разбойнички! — предложил Чумаков.

Он первый зачерпнул ложкой молока, откусил добрых пол-ломтя хлеба. Григорий взял свою ложку,— внимательно оглядывая всех, спросил:

— Капарин где?

Фомин и Стерлядников молча ели, Чумаков пристально смотрел на Григория и тоже молчал.

— Капарина куда дели? — спросил Григорий, смутно догадываясь о том, что произошло ночью.

— Капарин теперь далеко,— безмятежно улыбаясь, ответил Чумаков.— Он в Ростов поплыл. Теперь небось уже возле Усть-Хопра качается... Вон его полушубочек висит, погляди.

— На самом деле убили? — спросил Григорий, мельком глянув на капаринский полушубок.

Об этом можно было бы и не спрашивать. И так все было ясно, но он почему-то спросил. Ему ответили не сразу, и он повторил вопрос.

— Ну, ясное дело — убили,— сказал Чумаков и прикрыл ресницами серые, женственно красивые глаза.— Я убил. Такая уж у меня должность — убивать людей...

Григорий внимательно посмотрел на него. Смуглое, румяное и чистое лицо Чумакова было спокойно и даже весело. Белесые с золотистым отливом усы резко выделялись на загорелом лице, оттеняя темную окраску бровей и зачесанных назад волос. Он был по-настоящему красив и скромен на вид, этот заслуженный палач фоминской банды... Он положил на брезент ложку, тыльной стороной ладони вытер усы, сказал:

— Благодари Якова Ефимыча, Мелехов. Это он спас твою душеньку, а то и ты бы зараз вместе с Капариным в Дону плавал...

— Это за что же?

Чумаков медленно, с расстановкой заговорил:

— Капарин, как видно, сдаваться захотел, с тобой вчера об чем-то долго разговаривал... Ну, мы с Яковом Ефимычем и надумали убрать его от греха. Можно ему все рассказать? — Чумаков вопросительно посмотрел на Фомина.

Тот утвердительно качнул головой, и Чумаков, с

хрустом дробя зубами неразварившееся пшено, продолжал рассказ:

— Приготовил я с вечеру дубовое полено и говорю Якову Ефимычу: «Я их обоих, и Капарина и Мелехова, ночушкой порешу». А он говорит: «Капарина кончай, а Мелехова не надо». На том и согласились. Подкараулил я, когда Капарин уснул, слышу — и ты спишь, похрапываешь. Ну, подполз и тюкнул поленом по голове. И ножками наш штабс-капитан не дрыгнул! Сладко так потянулся — и покончил жизню... Потихонечку обыскали его, потом взяли за ноги и за руки, донесли до берега, сняли сапоги, френчик, полушубок — и в воду его. А ты все спишь, сном-духом ничего не знаешь... Близко от тебя, Мелехов, смерть нынешнюю ночь стояла! В головах она у тебя стояла. Хотя Яков Ефимыч и сказал, что тебя трогать не надо, а я думаю: «Об чем они могли днем гутарить? Дохлое это дело, когда из пятерых двое начинают наиздальке держаться, секреты разводить...» Подкрался к тебе и уже хотел тебя рубануть с потягом, а то думаю — вдарь его поленом, а он, черт, здоровый на силу, вскочит и начнет стрелять, ежели не оглушу доразу... Ну, Фомин опять мне все дело перебил. Подошел и шепчет: «Не трогай, он наш человек, ему можно верить». То да се, а тут непонятно нам стало — куда капаринское оружие делось? Так и ушел я от тебя. Ну и крепко же ты спал, беды не чуял!

Григорий спокойно сказал:

— И зря бы убил, дурак! Я в сговоре с Капариным не состоял.

— А с чего же это оружие его у тебя оказалось?

Григорий улыбнулся:

— Я у него пистолеты ишо днем отобрал, а затвор вечером вынул, под седельный потник схоронил.

Он рассказал о вчерашнем разговоре с Капариным и о его предложении.

Фомин недовольно спросил:

— Почему же ты вчера об этом не сказал?

— Пожалел его, черта слюнявого,— откровенно признался Григорий.

— Ах, Мелехов, Мелехов! — воскликнул искренне удивленный Чумаков.— Ты жалость туда же клади, куда затвор от капаринской винтовки положил,— под потник хорони ее, а то она тебя к добру не приведет!

— Ты меня не учи. С твое-то я знаю,— холодно сказал Григорий.

— Учить мне тебя зачем же? А вот ежели бы ночью, через эту твою жалость, ни за что ни про что на тот свет тебя отправил бы,— тогда как?

— Туда и дорога была бы,— подумав, тихо ответил Григорий. И больше для себя, чем для остальных, добавил: — Это в яви смерть животу принимать страшно, а во время сна она, должно быть, легкая...

XV

В конце апреля ночью они переправились на баркасе через Дон. В Рубежном у берега их поджидал молодой казак с хутора Нижне-Кривского Кошелев Александр.

— Я с вами, Яков Ефимыч. Остобрыдло дома проживать,— сказал он, здороваясь с Фоминым.

Фомин толкнул Григория локтем, шепнул:

— Видишь? Я же говорил... Не успели переправиться с острова, а народ уже — вот он! Это — мой знакомец, боевой казачишка. Хорошая примета! Значит, дело будет!

Судя по голосу, Фомин довольно улыбался. Он был явно обрадован появлением нового соучастника. Удачная переправа и то, что сразу же к ним примкнул еще один человек,— все это подбадривало его и окрыляло новыми надеждами.

— Да у тебя, окромя винтовки с наганом, и шашка и бинокль,— довольно говорил он, рассматривая, ощупывая в темноте вооружение Кошелева.— Вот это казак! Сразу видно, что настоящий казак, без подмесу!

Двоюродный брат Фомина подъехал к берегу на запряженной в повозку крохотной лошаденке.

— Кладите на повозку седла,— вполголоса сказал он.— Да поспешайте, ради Христа, а то и время не раннее, да и дорога нам не близкая...

Он волновался, торопил Фомина, а тот, перебравшись с острова и почуяв под ногами твердую землю родного хутора, уже не прочь был бы и домой заглянуть на часок и проведать знакомых хуторян...

Перед рассветом в табуне около хутора Ягодного выбрали лучших лошадей, оседлали их. Старику, стерегшему табун, Чумаков сказал:

— Дедушка, об конях дюже не горюй. Они доброго слова не стоют, да и поездим мы на них самую малость — как только найдем получше, этих возвернем хозяевам.

Ежели спросят: кто, мол, коней угнал? — скажи: милиция станицы Краснокутской забрала. Пущай хозяева туда идут... Мы за бандой гоняем, так и скажи!

С братом Фомина распрощались, выехав на шлях, потом свернули налево, и все пятеро свежей рысью пошли на юго-запад. Где-то неподалеку от станицы Мешковской, по слухам, появилась на днях банда Маслака. Туда и держал путь Фомин, решившийся на слияние.

* * *

В поисках банды Маслака трое суток колесили они по степным дорогам правобережья, избегая больших хуторов и станиц. В тавричанских поселках, граничивших с землями Каргинской станицы, обменяли своих плохоньких лошаденок на сытых и легких на побежку тавричанских коней.

На четвертые сутки утром, неподалеку от хутора Вежи, Григорий первый заметил на дальном перевале походную колонну конницы. Не меньше двух эскадронов шло по дороге, а впереди и по сторонам двигались небольшие разъезды.

— Либо Маслак, либо...— Фомин приложил к глазам бинокль.

— Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет,— насмешливо сказал Чумаков.— Ты гляди лучше, Яков Ефимыч, а то, ежели это красные, нам надо поворачивать, да поскорее!

— А черт их отсюдова разглядит! — с досадой проговорил Фомин.

— Глядите! Они нас узрили! Разъезд сюда бежит! — воскликнул Стерлядников.

Их действительно увидели. Продвигавшийся правой стороной разъезд круто повернул, на рысях направляясь к ним. Фомин поспешно сунул в футляр бинокль, но Григорий, улыбаясь, перегнулся с седла, взял фоминского коня под уздцы.

— Не спеши! Давай подпустим ближе. Их только двенадцать человек. Разглядим их как следует, а в случае чего можно и ускакать. Кони под нами свежие, чего ты испужался? Гляди в бинокль!

Двенадцать всадников шли на сближение, с каждой минутой все более увеличиваясь в размерах. На зеленом

фоне поросшего молодой травою бугра уже отчетливо видны были их фигуры.

Григорий и остальные с нетерпением смотрели на Фомина. У того слегка дрожали державшие бинокль руки. Он так напряженно всматривался, что по щеке, обращенной к солнцу, поползла слеза.

— Красные! На фуражках звезды!..— наконец глухо выкрикнул Фомин и повернул коня.

Началась скачка. Вслед им зазвучали редкие разрозненные выстрелы. Версты четыре Григорий скакал рядом с Фоминым, изредка оглядываясь.

— Вот и соединились!..— насмешливо сказал он.

Фомин подавленно молчал. Чумаков, слегка придержав коня, крикнул:

— Надо уходить мимо хуторов! Подадимся на вёшенский отвод, там глуше.

Еще несколько верст бешеной скачки, и кони сдадут. На вытянутых шеях их проступила пенная испарина, глубоко залегли продольные складки.

— Надо полегче! Придерживай! — скомандовал Григорий.

Из двенадцати всадников позади осталось только девять, остальные отстали. Григорий смерил глазами разделявшее их расстояние, крикнул:

— Стой! Давайте их обстреляем!..

Все пятеро свели лошадей на рысь, на ходу спешились и сняли винтовки.

— Держи повод! По крайнему слева с постоянного прицела... огонь!

Они расстреляли по обойме, убили под одним из красноармейцев лошадь и снова стали уходить от погони. Их преследовали неохотно. Время от времени обстреливали с далекого расстояния, потом отстали совсем.

— Коней надо попоить, вон пруд,— сказал Стерлядников, указывая плетью на синевшую вдали полоску степного пруда.

Теперь они ехали уже шагом, внимательно оглядывая встречные ложбинки и балки, стараясь пробираться так, чтобы их прикрывали неровные складки местности.

В пруду напоили лошадей и снова тронулись в путь, сначала шагом, а спустя немного — рысью. В полдень остановились покормить лошадей на склоне глубокого лога, наискось пересекавшего степь. Фомин приказал Кошелеву пешком подняться на ближний курган, залечь там и вести

наблюдение. В случае появления где-либо в степи верховых Кошелев должен был подать сигнал и немедленно бежать к лошадям.

Григорий стреножил своего коня, пустил на попас, а сам прилег неподалеку, выбрав на косогоре место посуше.

Молодая трава здесь, на подсолнечной стороне лога, была выше и гуще. Пресное дыхание согретого солнцем чернозема не могло заглушить тончайшего аромата доцветающих степных фиалок. Они росли на брошенной залежи, пробивались между сухими будыльями донника, цветным узором стлались по краям давнишней межи, и даже на кремнисто-крепкой целине из прошлогодней, поблекшей травы смотрели на мир их голубые, детски чистые глаза. Фиалки доживали положенный им срок в этой глухой и широкой степи, а на смену им, по склону лога, на солонцах уже поднимались сказочно яркие тюльпаны, подставляя солнцу свои пунцовые, желтые и белые чашечки, и ветер, смешав разнородные запахи цветов, далеко разносил их по степи.

На крутой осыпи северного склона, затененные обрывом, еще лежали слитые, сочащиеся влагой пласты снега. От них несло холодом, но холод этот еще резче подчеркивал аромат доцветающих фиалок, неясный и грустный, как воспоминание о чем-то дорогом и давно минувшем...

Григорий лежал, широко раскинув ноги, опершись на локти, и жадными глазами озирал повитую солнечной дымкой степь, синеющие на дальнем гребне сторожевые курганы, переливающееся текучее марево на грани склона. На минуту он закрывал глаза и слышал близкое и далекое пение жаворонков, легкую поступь и фырканье пасущихся лошадей, звяканье удил и шелест ветра в молодой траве... Странное чувство отрешения и успокоенности испытывал он, прижимаясь всем телом к жесткой земле. Это было давно знакомое ему чувство. Оно всегда приходило после пережитой тревоги, и тогда Григорий как бы заново видел все окружающее. У него словно бы обострялись зрение и слух, и все, что ранее проходило незамеченным,— после пережитого волнения привлекало его внимание. С равным интересом следил он сейчас и за гудящим косым полетом ястреба-перепелятника, преследовавшего какую-то крохотную птичку, и за медлительным ходом черного жука, с трудом преодолевавшего расстояние между его, Григория, раздвинутыми локтями, и за легким покачиванием багряно-черного тюльпана, чуть колеблемого ветром, блистающего яркой девичьей красотой. Тюльпан рос со-

всем близко, на краю обвалившейся сурчины. Стоило лишь протянуть руку, чтобы сорвать его, но Григорий лежал не шевелясь, с молчаливым восхищением любуясь цветком и тугими листьями стебля, ревниво сохранявшими в складках радужные капли утренней росы. А потом переводил взгляд и долго бездумно следил за орлом, парившим над небосклоном, над мертвым городищем брошенных сурчин...

Часа через два они снова сели на лошадей, стремясь достигнуть к ночи знакомых хуторов Еланской станицы.

Красноармейский разъезд, вероятно, по телефону сообщил об их продвижении. При въезде в слободу Каменку откуда-то из-за речки навстречу им защелкали выстрелы. Певучий свист пуль заставил Фомина свернуть в сторону. Под обстрелом проскакали краем слободы и вскоре выбрались на табунные земли Вёшенской станицы. За поселком Топкая Балка их попробовал перехватить небольшой отряд милиции.

— Околесим с левой стороны,— предложил Фомин.

— Пойдем в атаку,— решительно сказал Григорий.— Их девять человек, нас пятеро. Прорвемся!

Его поддержали Чумаков и Стерлядников. Обнажив шашки, они пустили усталых лошадей легким намётом. Не спешиваясь, милиционеры открыли частую стрельбу, а потом поскакали в сторону, не приняв атаки.

— Это слабосильная команда. Они протоколы писать мастера, а драться всурьез им слабó! — насмешливо крикнул Кошелев.

Отстреливаясь, когда увязавшиеся за ними милиционеры начинали наседать, Фомин и остальные уходили на восток, уходили, как преследуемые борзыми волки: изредка огрызаясь и почти не останавливаясь. Во время одной из перестрелок был ранен Стерлядников. Пуля пробила ему икру левой ноги, затронув кость. Стерлядников охнул от пронизавшей ногу боли, сказал, бледнея:

— В ногу попали... И всё в эту же, хромую... Вот сволочуги, а?

Чумаков, откинувшись назад, захохотал во все горло. Он смеялся так, что на глазах его выступили слезы. Подсаживая на лошадь опиравшегося на его руку Стерлядникова, он все еще вздрагивал от смеха, говорил:

— Ну, как это они выбрали? Это они нарочно туда целили... Видят — хромой какой-то скачет, дай, думают, вовзятки ему эту ногу перебьем... Ох, Стерлядников! Ох, смертынька моя!.. Нога-то ишо на четверть короче станет...

Как же ты теперь плясать будешь? Прийдется мне теперь ямку для твоей ноги на аршин глуби копать...

— Замолчи, пустобрех! Не до тебя мне! Замолчи, ради Христа! — морщась от боли, просил Стерлядников.

Полчаса спустя, когда стали выезжать на изволок одной из бесчисленных балок, он попросил:

— Давайте остановимся, повременим трошки... Надо мне рану залепить, а то крови натекло полон сапог...

Остановились. Григорий держал лошадей, Фомин и Кошелев вели редкий огонь по маячившим вдали милиционерам. Чумаков помог Стерлядникову разуться.

— А крови-то на самом деле набежало много...— хмурясь, сказал Чумаков и вылил из сапога на землю красную жижу.

Он хотел было разрезать шашкой мокрую и парную от крови штанину, но Стерлядников не согласился.

— Штаны на мне добрые, не к чему их пороть,— сказал он и уперся ладонями в землю, поднял раненую ногу.— Стягивай штанину, только потихоньку.

— Бинт у тебя есть? — спросил Чумаков, ощупывая карманы.

— А на черта он мне нужен, твой бинт? Обойдусь и без него.

Стерлядников внимательно рассмотрел выходное отверстие раны, потом зубами вынул из патрона пулю, всыпал на ладонь пороху и долго размешивал порох с землей, предварительно размочив землю слюною. Оба отверстия сквозной раны он обильно замазал грязью и довольно проговорил:

— Это дело спробованное! Присохнет ранка и через двое суток заживет, как на собаке.

До самого Чира они не останавливались. Милиционеры держались позади на почтительном расстоянии, и лишь изредка оттуда звучали одиночные выстрелы. Фомин часто оглядывался, говорил:

— Провожают нас вна́зирку... Либо подмоги ждут со стороны? Неспроста они держатся издали...

На хуторе Вислогузовском вброд переехали речку Чир, шагом поднялись на пологий бугор. Лошади предельно устали. Под гору на них кое-как съезжали рысцой, а на гору вели в поводу, ладонями сгребая с мокрых лошадиных боков и крупов дрожащие комья пены.

Предположения Фомина сбылись: верстах в пяти от Вислогузовского их стали нагонять семь человек конных на свежих, резво бежавших лошадях.

— Ежели они нас и дальше будут так из рук в руки передавать — рептух нам будет! — мрачно сказал Кошелев.

Они ехали по степи бездорожно, отстреливались по очереди: пока двое, лежа в траве, вели огонь,— остальные отъезжали саженей на двести, спешивались и держали под обстрелом противника, давая возможность первым двум проскакать вперед саженей четыреста, залечь и изготовиться к стрельбе. Они убили или тяжело ранили одного милиционера, под вторым убили лошадь. Вскоре была убита лошадь и под Чумаковым. Он бежал рядом с лошадью Кошелева, держась за стремя.

Длиннее становились тени. Солнце клонилось к закату. Григорий предложил не разъединяться, и они поехали шагом, все вместе. Рядом с ними шагал Чумаков. Потом они увидели на гребне бугра пароконную подводу, повернули к дороге. Пожилой бородатый казак-подводчик погнал лошадей вскачь, но выстрелы заставили его остановиться.

— Зарублю подлюгу! Будет знать, как убегать...— сквозь зубы процедил Кошелев, вырываясь вперед, изо всех сил охаживая лошадь плетью.

— Не трогай его, Сашка, не велю! — предупредил Фомин и еще издали закричал: — Распрягай, дед, слышишь? Распрягай, пока живой!

Не слушая слезных просьб старика, сами отцепили постромки, сняли с лошадей шлеи и хомуты, живо накинули седла.

— Оставьте хоть одну из своих взамен! — плача, просил старик.

— А того-сего не хочешь в зубы, старый черт? — спросил Кошелев.— Нам кони самим нужны! Благодари господа-бога, что живой остался...

Фомин и Чумаков сели на свежих лошадей. К шестерым всадникам, следовавшим за ними по пятам, вскоре присоединились еще трое.

— Надо погонять! Трогайте, ребята! — сказал Фомин.— К вечеру ежели доберемся до Кривских логов — тогда мы будем спасенные...

Он хлестнул плетью своего коня, поскакал вперед. Слева от него на коротком поводу шел второй конь. Срезанные лошадиными копытами, во все стороны летели, словно крупные капли крови, пунцовые головки тюльпанов. Григорий, скакавший позади Фомина, посмотрел на эти красные брызги и закрыл глаза. У него почему-то за-

кружилась голова, и знакомая острая боль подступила к сердцу...

Лошади шли из последних сил. От беспрерывной скачки и голода устали и люди. Стерлядников уже покачивался в седле и сидел белый, как полотно. Он много потерял крови. Его мучила жажда и тошнота. Он съел немного зачерствевшего хлеба, но его тотчас же вырвало.

В сумерках, неподалеку от хутора Кривского они въехали в середину возвращавшегося со степи табуна, в последний раз сделали по преследователям несколько выстрелов и с радостью увидели, что погоня отстает. Девять всадников вдалеке съехались вместе, о чем-то, видимо, посовещались, а потом повернули обратно.

* * *

В хуторе Кривском у знакомого Фомину казака они пробыли двое суток. Хозяин жил зажиточно и принял их хорошо. Поставленные в темный сарай лошади не поедали овса и к концу вторых суток основательно отдохнули от сумасшедшей скачки. У лошадей дневалили по очереди, спали вповалку в прохладном, затянутом паутиной мякиннике и отъедались вволю за все полуголодные дни, проведенные на острове.

Хутор можно было бы покинуть на другой же день, но их задержал Стерлядников: рана его разболелась, к утру по краям ее появилась краснота, а к вечеру нога распухла, и больной впал в беспамятство. Его томила жажда. Всю ночь, как только сознание возвращалось к нему, он просил воды, пил жадно, помногу. За ночь он выпил почти ведро воды, но вставать даже при посторонней помощи уже не мог — каждое движение причиняло ему жестокую боль. Он мочился, не поднимаясь с земли, и стонал не умолкая. Его перенесли в дальний угол мякинника, чтобы не так слышны были стоны, но это не помогло. Он стонал иногда очень громко, а когда к нему приходило беспамятство в бреду, громко и несвязно кричал.

Пришлось и около него установить дежурство. Ему давали воду, смачивали пылающий лоб и ладонями или шапкой закрывали рот, когда он начинал слишком громко стонать или бредить.

К концу второго дня он пришел в себя и сказал, что ему лучше.

— Когда едете отсюда? — спросил он Чумакова, поманив его к себе пальцем.

— Нынче ночью.

— Я тоже поеду. Не бросайте меня тут, ради Христа!

— Куда ты гож? — вполголоса сказал Фомин.— Ты же и ворохнуться не можешь.

— Как — не могу? Гляди! — Стерлядников с усилием приподнялся и тотчас снова лег.

Лицо его горело, на лбу мелкими капельками выступил пот.

— Возьмем,— решительно сказал Чумаков.— Возьмем, не бойся, пожалуйста! И слезы вытри, ты — не баба.

— Это пот,— тихо шепнул Стерлядников и надвинул на глаза шапку...

— И рады бы тебя тут оставить, да хозяин не соглашается. Не робей, Василий! Заживет твоя нога, и мы с тобой ишо поборемся и казачка спляшем. Чего ты духом пал, ну? Хоть бы рана сурьезная была, а то так, ерунда!

Всегда суровый и хамовитый в обращении с другими Чумаков сказал это так ласково и с такими подкупающе мягкими и сердечными нотками в голосе, что Григорий удивленно посмотрел на него.

Из хутора они выехали незадолго до рассвета. Стерлядникова с трудом усадили в седло, но самостоятельно сидеть он не мог, валился то на одну сторону, то на другую. Чумаков ехал рядом, обняв его правой рукой.

— Вот обуза-то... Прийдется бросить его,— шепнул Фомин, поравнявшись с Григорием, сокрушенно качая головой.

— Добить?

— Ну, а что же, в зубы глядеть ему? Куда мы с ним?

Они долго ехали шагом, молчали. Чумакова сменил Григорий, потом Кошелев.

Взошло солнце. Внизу над Доном все еще клубился туман, а на бугре уже прозрачны и ясны были степные дали, и с каждой минутой все синее становился небосвод, с застывшими в зените перистыми облачками. На траве серебряной парчою лежала густая роса, и там, где проходили лошади,— оставался темный ручьистый след. Только жаворонки нарушали великую и благостную тишину, распростертую над степью.

Стерлядников, в такт лошадиному шагу обезволенно мотавший головой, тихо сказал:

— Ох, тяжелехонько!

— Молчи! — грубо прервал его Фомин.— Нам с тобой нянчиться тоже не легче!

Неподалеку от Гетманского шляха из-под ног лошадей свечою взвился стрепет. Тонкий дребезжащий посвист его крыльев заставил Стерлядникова очнуться от забытья.

— Братцы, ссадите меня с коня...— попросил он.

Кошелев и Чумаков осторожно сняли его с седла, положили на мокрую траву.

— Дай хоть поглядим, что у тебя с ногой. А ну, расстегни-ка штаны! — сказал Чумаков, присаживаясь на корточки.

Нога Стерлядникова чудовищно распухла, туго, без единой морщинки натянув, заполнив всю просторную штанину. До самого бедра кожа, принявшая темно-фиолетовый оттенок, лоснилась и была покрыта темными бархатистыми на ощупь пятнами. Такие же пятна, только более светлой окраски, показались и на смуглом, глубоко ввалившемся животе. От раны, от засохшей на штанах бурой крови уже исходил дурной, гнилостный запах, и Чумаков рассматривал ногу своего друга, зажав пальцами нос, морщась и еле удерживая подкатившую к горлу тошноту. Потом он внимательно посмотрел на опущенные синие веки Стерлядникова и переглянулся с Фоминым, сказал:

— Похоже, что антонов огонь прикинулся... Да-а-а... Плохие твои дела, Василий Стерлядников... Прямо-таки дохлые дела!.. Эх, Вася, Вася, как это тебя угораздило...

Стерлядников коротко и часто дышал и не говорил ни слова. Фомин и Григорий спешились как по команде, с наветренной стороны подошли к раненому. Он полежал немного и, опираясь на руки, сел, оглядел всех мутными и строгими в своей отрешенности глазами:

— Братцы! Предайте меня смерти... Я уже не жилец тут... Истомился весь, нету больше моей моченьки...

Он снова лег на спину и закрыл глаза. Фомин и все остальные знали, что такая просьба должна была последовать, и ждали ее. Коротко мигнув Кошелеву, Фомин отвернулся, а Кошелев, не прекословя, сорвал с плеча винтовку. «Бей!» — скорее догадался, чем услышал он, глянув на губы отошедшего в сторону Чумакова. Но Стерлядников снова открыл глаза, твердо сказал:

— Стреляй сюда,— он поднял руку и пальцем указал себе на переносицу.— Чтобы сразу свет потух... Будете на моем хуторе — скажите бабе, мол, так и так... Нехай не ждет.

Кошелев что-то подозрительно долго возился с затвором, медлил, и Стерлядников, опустив веки, успел договорить:

— У меня — только одна баба... а детишек нету... Одного она родила и то мертвого... А больше не было...

Два раза Кошелев вскидывал винтовку и опускал ее, все больше и больше бледнея... Чумаков яростно толкнул его плечом, вырвал из рук винтовку.

— Не можешь, так не берись, щенячья кровь...— хрипло крикнул он и снял с головы шапку, пригладил волосы.

— Скорей! — потребовал Фомин, ставя ногу в стремя.

Чумаков, подыскивая нужные слова, медленно и тихо сказал:

— Василий! Прощай и прости меня и всех нас, ради Христа! На том свете сойдемся, и нас там рассудят... Бабе твоей перекажем, об чем просил.— Он подождал ответа, но Стерлядников молчал и бледнел, ожидая смерти. Только опаленные солнцем ресницы его вздрагивали, словно от ветра, да тихо шевелились пальцы левой руки, пытавшиеся зачем-то застегнуть на груди обломанную пуговицу гимнастерки.

Много смертей видел Григорий на своем веку, а на эту — смотреть не стал. Он торопливо пошел вперед, с силой натягивая поводья, ведя за собой коня. Выстрела он ждал с таким чувством, как будто ему самому должны были всадить пулю между лопатками... Выстрела ждал, и сердце отсчитывало каждую секунду, но когда сзади резко, отрывисто громыхнуло — у него подкосились ноги, и он еле удержал вставшего на дыбы коня...

Часа два они ехали молча. Только на стоянке Чумаков первый нарушил молчание. Закрыв глаза ладонью, он глухо сказал:

— И на черта я его стрелял? Было бы бросить его в степи, не брать лишнего греха на душу. Так и стоит перед глазами...

— Все никак не привыкнешь? — спросил Фомин.— Сколько народу ты перебил — и не мог привыкнуть? У тебя же не сердце, ржавая железяка заместо него...

Чумаков побледнел, свирепо уставился на Фомина.

— Ты не трогай меня зараз, Яков Ефимович! — тихо сказал он.— Ты не квели мою душу, а то я и тебя могу стукнуть... Очень даже просто!

— На что ты мне нужен, трогать тебя? У меня и без тебя забот хватает,— примирительно сказал Фомин и лег на спину, щурясь от солнца, с наслаждением потягиваясь.

XVI

Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединились человек сорок казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно — кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Это был отпетый народ, и Фомин, глядя на них, презрительно говорил Григорию: «Ну, Мелехов, наплав пошел к нам, а не люди... Висельники, как на подбор!» В глубине души Фомин все еще считал себя «борцом за трудовой народ», и хотя не так часто, как прежде, но говорил: «Мы — освободители казачества...» Глупейшие надежды упорно не покидали его... Он снова стал сквозь пальцы смотреть на грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это — неизбежное зло, с которым необходимо мириться, что со временем он избавится от грабителей и что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих частей, а не атаманом крохотной банды...

Но Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминцев «разбойничками» и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин,— не кто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры.

— Я идейный борец против Советской власти! — багровея от гнева, кричал Фомин.— А ты меня обзываешь чертте по-каковски! Понимаешь ты это, дурак, что я сражаюсь за идею?!

— Ты мне голову не морочь! — возражал Чумаков.— Ты мне не наводи тень на плетень. Я тебе не мальчик! Тоже, нашелся идейный! Самый натуральный разбойник ты, и больше ничего. И чего ты этого слова боишься? Никак не пойму!

— Почему ты так меня срамишь? Почему, в рот тебе погибель?! Я против власти восстал и дерусь с ней оружием. Какой же я разбойник?

— А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники — они завсегда супротив власти, спокон веков так. Какая бы она, Советская власть, ни была, а она — власть, с семнадцатого года держится, и кто супротив нее выступает — это и есть разбойный человек.

— Пустая твоя голова! А генерал Краснов или Деникин — тоже разбойники были?

— А то кто же? Только при эполетах... Да ить эполеты — дело маленькое. И мы с тобой можем их навесить...

Фомин стучал кулаком, плевался и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно...

В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, втянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади: одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной,— налегках, сбоку всадника. При нужде пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около двухсот верст в сутки.

Фомин как-то сказал Григорию:

— Ежели б у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли! Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней, они стесняются это делать, а нам все дозволено! Надо обзаводиться каждому лишнею лошадью, и нас сроду тогда не угоняют! Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары, как ходили в набеги, каждый одвуконь, а то и трехконным идет. Кто же таких пристигнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится.

Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вёшенской, тщетно пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения.

Однако в середине мая группа, превосходившая банду численностью почти в четыре раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону неподалеку от хутора Бобровского станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв восемь человек

убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил Григорию занять должность начальника штаба.

— Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелевич, за это дело.

— Чтобы милиционеров ловить да рубить им головы, штаб не нужен,— хмуро ответил Григорий.

— Всякий отряд должон иметь свой штаб, не болтай пустяков.

— Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь.

— А ты почему не хочешь?

— Понятия не имею об этом деле.

— А Чумаков имеет?

— И Чумаков не имеет.

— Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты — офицер и должон иметь понятие, тактику знать и всякие другие штуки.

— Из меня такой же офицер был, как из тебя зараз командир отряда! А тактика у нас одна: мотайся по степи да почаще оглядывайся...— насмешливо сказал Григорий.

Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем.

— Вижу тебя наскрозь! Все в холодок хоронишься? В тени хочешь остаться? Это, брат, тебя не выручит! Что взводным быть, что начальником штаба — одна цена. Думаешь, ежели поймают тебя,— скидку сделают? Дожидайся, как же.

— Ничего я про это не думаю, зря ты догадываешься,— внимательно рассматривая темляк на шашке, сказал Григорий.— А чего не знаю — за это и браться не хочу...

— Ну не хочешь — и не надо, как-нибудь обойдемся и без тебя,— согласился обиженный Фомин.

Круто изменилась обстановка в округе: в дворах зажиточных казаков, всюду, где раньше Фомина встречали с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота, и хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбегались, прятались в садах и левадах. Прибывшая в Вёшенскую выездная сессия Ревтрибунала строго осудила многих казаков, ранее радушно принимавших Фомина. Слух об этом широко прокатился по станицам и оказал соответствующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам.

За две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам Верхнего Дона. В банде насчитывалось уже около

ста тридцати сабель, и уже не наспех сформированная конная группа, а несколько эскадронов переброшенного с юга 13-го кавалерийского полка ходили за ними по пятам.

Из числа примкнувших к Фомину за последние дни бандитов многие были уроженцами дальних мест. Все они попадали на Дон разными путями: некоторые в одиночку бежали с этапов, из тюрем и лагерей, но основная масса их состояла из отколовшейся от банды Маслака группы в несколько десятков сабель, а также из остатков разгромленной банды Курочкина. Маслаковцы охотно разделились и были в каждом взводе, но курочкинцы не захотели разъединяться. Они целиком составили отдельный взвод, крепко сколоченный и державшийся несколько обособленно ото всех остальных. И в боях и на отдыхе они действовали сплоченно, стояли друг за друга горой, а разграбив где-либо лавку ЕПО или склад, всё валили в общий взводный котел и делили добычу поровну, строго соблюдая принцип равенства.

Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков станицы Великокняжеской, латыш в охотничьих, длинных, до бедер, сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах еще больше разнообразили и без того пестро одетый, разнородный состав фоминской банды.

— Ну, и теперь будешь спорить, что у тебя не разбойнички, а эти, как их... идейные борцы? — спросил однажды у Фомина Чумаков, указывая глазами на растянувшуюся походную колонну.— Только попа-расстриги да свиньи в штанах нам и не хватает, а то был бы полный сбор пресвятой богородицы...

Фомин перемолчал. Единственным желанием его было — собрать вокруг себя как можно больше людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего желание служить под его командованием, он опрашивал сам, коротко говорил:

— К службе годен. Принимаю. Ступай к моему начальнику штаба Чумакову, он укажет, в каком взводе тебе состоять, выдаст на руки оружие.

В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого курчавого и смуглолицего парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из расспросов Фомин установил, что парень — житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из

ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на Верхний Дон.

— Ты кто таков по роду-племени? Армянин или булгарин? — спросил Фомин.

— Нет, я еврей,— замявшись, ответил парень.

Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком, столь непредвиденном случае. Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал:

— Ну что ж, еврей — так еврей. Мы и такими не гребуем... Все лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь? Нет? Научишься! Дадим по-первам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку, а потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит.

Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину.

— Ты одурел или шутки шутишь? — крикнул он, осаживая коня.— На черта ты мне жида прислал? Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны!

— Возьми, возьми его, все счетом больше будет,— спокойно сказал Фомин.

Но Чумаков с пеной на губах заорал:

— Не возьму! Убью, а не возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись!

Пока они спорили и пререкались, возле обозной тачанки с молодого еврея сняли вышитую рубашку и клешистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал:

— Вон, видишь за хутором — бурьян-старюка? Беги туда рысью и ложись. Лежать будешь — пока мы уедем отсюдова, а как уедем — вставай и дуй куда хочешь. К нам больше не подходи, убьем, ступай лучше в Ростов к мамаше. Не ваше это еврейское дело — воевать. Господь-бог вас обучал торговать, а не воевать. Без вас управимся и расхлебаем эту кашку!

Еврея не приняли, зато в этот же день со смехом и шутками зачислили во второй взвод известного по всем хуторам Вёшенской станицы дурачка Пашу. Его захватили в степи, привели в хутор и торжественно обрядили в снятое с убитого красноармейца обмундирование, показали, как обращаться с винтовкой, долго учили владеть шашкой.

Григорий шел к своим лошадям, стоявшим у коновязи, но, увидев в стороне густую толпу, направился туда. Взрыв хохота заставил его ускорить шаг, а затем в наступившей

тишине он услышал чей-то поучающий, рассудительный голос:

— Да не так же, Паша! Кто так рубит? Так дрова можно рубить, а не человека. Надо вот так, понял? Поймаешь — и сразу приказывай ему становиться на колени, а то стоячего тебе рубить будет неспособно... Станет он на колени, а ты вот так, сзади, и секани его по шее. Норови не прямо рубить, а с потягом на себя, чтобы лезвие резало, шло наискось...

Окруженный бандитами, юродивый стоял навытяжку, крепко сжимая эфес обнаженной шашки. Он слушал наставления одного из казаков, улыбаясь и блаженно жмуря выпученные серые глаза. В углах рта его, словно у лошади, белели набитые пенистые заеди, по медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни... Он облизывал нечистые губы и шепеляво, косноязычно говорил:

— Все понял, родненький, все... Так и сделаю... поставлю на коленочки раба божьего и шеечку ему перережу... как есть перережу! И штаны вы мне дали, и рубаху, и сапоги... Вот только пальта у меня нету... Вы бы мне пальтишечку справили, а я вам угожу! Изо всех силов постараюсь!

— Убьешь какого-нибудь комиссара — вот тебе и пальто. А зараз рассказал бы, как тебя в прошлом году женили,— предложил один из казаков.

В глазах юродивого, расширившихся и одетых мутной наволочью, мелькнул животный страх. Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. «И вот с такими людьми связал я свою судьбу...» — подумал он, охваченный тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь...

Он прилег возле коновязи, стараясь не слушать выкриков юродивого и грохочущего хохота казаков. «Завтра же уеду. Пора!» — решил он, посматривая на своих сытых, поправившихся лошадей. Он готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще две недели назад: вовремя поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе, всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных, особенно — тавричанский серый в яблоках

конь. Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце, как кавказское черненое серебро.

На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порожках амбара, почтительно спросил:

— Коса есть у вас, бабушка?

— Где-то была. Только чума ее знает, где она. А на что тебе?

— Хотел в вашей леваде зеленки лошадям скосить. Можно?

Старуха подумала, потом сказала:

— И когда уж вы с нашей шеи слезете? То вам дай, это подай... Одни приедут — зерно требуют, другие приедут — тоже тянут и волокут всё, что глазом накинут. Не дам я тебе косы! Как хочешь, а не дам.

— Что ж, тебе травы жалко, божья старушка?

— А трава, она, что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить?

— Мало в степи травы?

— Вот и поезжай туда, соколик. В степи ее много.

Григорий с досадой сказал:

— Ты, бабушка, лучше дай косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется, а то, ежели пустим туда лошадей,— все потравим!

Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась.

— Ступай сам возьми, она, никак, под сараем висит.

Григорий разыскал под навесом сарая старенькую порванную косу и, когда проходил мимо старухи — отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели на вас, проклятых, нету!»

К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают,— думал он, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов.— На черта мы им нужны? Никому мы не нужны, всем мешаем мирно жить и работать. Надо кончать с этим, хватит!»

Занятый своими мыслями, он стоял около лошадей, смотрел, как жадно хватают они черными бархатистыми губами пучки нежной молодой травы. Из задумчивости его вывел юношеский ломающийся басок:

— До чего конь расхорош, чисто — лебедь!

Григорий глянул в сторону говорившего. Молодой. недавно вступивший в банду казачишка Алексеевской станицы смотрел на серого коня, восхищенно покачивая

головой. Не сводя очарованных глаз с коня, он несколько раз обошел вокруг него, пощелкал языком.

— Твой, что ли?

— А тебе чего? — неласково ответил Григорий.

— Давай меняться! — У меня гнедой — чистых донских кровей, любую препятствию берет и резвый, до чего резвый! Как молния!

— Ступай к черту,— холодно сказал Григорий.

Парень помолчал немного, вздохнул огорченно и сел неподалеку. Он долго рассматривал серого, потом сказал:

— Он у тебя с запалом. И отдушины у него нету.

Григорий молча ковырял в зубах соломинкой. Наивный паренек ему начинал нравиться.

— Не будешь меняться, дяденька? — тихо спросил тот, глядя на Григория просящими глазами.

— Не буду. И самого тебя в додачу не возьму.

— А откуда у тебя этот конь?

— Сам выдумал его.

— Нет, взаправди!

— Все из тех же ворот: кобыла ожеребила.

— Вот и погутарь с таким дураком,— обиженно проговорил парень и отошел в сторону.

Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и с недотесанной доской возле, взналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись.

Такое же безлюдье и такие же следы поспешного бегства жителей видел Григорий, когда казачьи полки ходили по Восточной Пруссии. Теперь довелось ему увидеть это же в родном краю... Одинаково угрюмыми и ненавидящими взглядами встречали его тогда — немцы, теперь — казаки Верхнего Дона. Григорий вспомнил разговор со старухой и тоскливо огляделся по сторонам, расстегнув ворот рубашки. Опять подступила к сердцу проклятая боль...

Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, лебедой и конским потом. В левадах, на высоких вербах, усеянных лохматыми гнездами, кричали грачи. Степная речушка, вскормленная где-то в вершине

лога ключами родниковой воды, медлительно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали просторные казачьи дворы, все в густой заросли садов, с вишнями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простиравшими к солнцу зеленую листву и молодую завязь плодов.

Затуманившимися глазами смотрел Григорий на поросший кучерявым подорожником двор, на крытую соломой хату с желтыми ставнями, на высокий колодезный журавль... Возле гумна, на одном из кольев старого плетня висел лошадиный череп, выбеленный дождями, черневший провалами порожних глазниц. По этому же колу, свиваясь спиралью, ползла, тянулась к свету зеленая тыквенная плеть. Она достигла верхушки кола, цепляясь мохнатыми усиками за выступы черепа, за мертвые лошадиные зубы, и свесившийся кончик ее, ища опоры, уже доставал ветку стоявшего неподалеку куста калины.

Во сне или в далеком детстве видел все это Григорий? Охваченный внезапным приступом горячей тоски, он лег под плетень ничком, закрыл лицо ладонями и поднялся только тогда, когда издали донеслось протяжное: «Седла-а-ай ко-ней!»

Ночью на походе он выехал из рядов, остановился, как будто для того чтобы переседлать коней, а потом прислушался к медленно удалявшемуся, затихавшему цокоту конских копыт и, вскочив в седло, наметом поскакал в сторону от дороги.

Верст пять он гнал лошадей не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался — не идет ли позади погоня? В степи было тихо. Только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай.

В черном небе — золотая россыпь мерцающих звезд. В степи — тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни... Григорий приподнялся на стременах, вздохнул облегченно, полной грудью...

XVII

Задолго до рассвета он прискакал на луг против Татарского. Ниже хутора, где Дон был мельче, разделся донага, привязал к лошадиным головам одежду, сапоги, оружие и,

держа в зубах подсумок с патронами, вместе с лошадьми пустился вплавь. Вода обожгла его нестерпимым холодом. Стараясь согреться, он быстро загребал правой рукой, не выпуская из левой связанных поводьев, вполголоса подбадривая стонущих и фыркающих на плыву лошадей.

На берегу торопливо оделся, подтянул подпруги седел и, чтобы согреть лошадей, шибко поскакал к хутору. Намокшая шинель, мокрые крылья седла, влажная рубашка холодили тело. Зубы Григория стучали, по спине бежал озноб, и сам он весь дрожал, но вскоре быстрая езда его разогрела, и неподалеку от хутора он поехал шагом, осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Лошадей решил оставить в яру. По каменистой россыпи спустился в теклину яра. Под копытами лошадей сухо защелкали камни, посыпались высекаемые подковами огненные брызги.

Григорий привязал лошадей к знакомому с детства сухому караичу, пошел в хутор.

Вот и старый мелеховский курень, темные купы яблонь, колодезный журавль под Большой Медведицей... Задыхаясь от волнения, Григорий спустился к Дону, осторожно перелез через плетень астаховского база, подошел к не прикрытому ставнями окну. Он слышал только частые удары сердца да глухой шум крови в голове. Тихо постучал в переплет рамы, так тихо, что сам почти не расслышал стука. Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она прижала к груди руки, и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный стон. Григорий знаком показал, чтобы она открыла окно, снял винтовку. Аксинья распахнула створки.

— Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь, я — через окно,— шепотом сказал Григорий.

Он стал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах, эти родные руки, что дрожь их передалась и Григорию.

— Ксюша... погоди... возьми винтовку,— запинаясь, чуть слышно шептал он.

Придерживая рукою шашку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно.

Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку. Клонясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала, часто вздра-

гивала и стискивала зубами отворот шинели, чтобы заглушить рыдания и не разбудить детей.

Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания. Видно, солоно жилось ей эти месяцы... Григорий гладил ее рассыпавшиеся по спине волосы, горячий и мокрый от пота лоб. Он дал ей выплакаться вволю, потом спросил:

— Детишки живы-здоровы?

— Да.

— Дуняшка?

— И Дуняшка... Живая... и здоровая.

— Михаил дома? Да погоди же ты! Перестань, у меня рубаха вся мокрая от твоих слез... Ксюша! Дорогая моя, хватит! Некогда кричать, времени мало... Михаил дома?

Аксинья вытерла лицо, мокрыми ладонями сжала щеки Григория. Улыбаясь сквозь слезы, не сводя с возлюбленного глаз, тихо сказала:

— Я не буду... Я уже не кричу... Нету Михаила, второй месяц в Вёшках, служит в какой-то части. Пойди же глянь на детей! Ой, и не ждали мы тебя и не чаяли!..

Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровати. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел на цыпочках, молча присел возле Аксиньи.

— Как же ты? — горячим шепотом спросила она.— Как пришел? Где же ты пропадал? А ежели поймают тебя?

— Я за тобой. Небось не поймают! Поедешь?

— Куда?

— Со мною. Ушел я из банды. Я у Фомина был. Слыхала?

— Да. А куда же я с тобой?

— На юг. На Кубань или дальше. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работой не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы... Ну, об этом после.

— А дети?

— Оставим на Дуняшку. Потом видно будет. Потом заберем и их. Ну? Едешь?

— Гриша... Гришенька...

— Не надо! Без слез! Хватит же! Потом покричим с тобой, время будет... Собирайся, у меня кони ждут в яру. Ну? Едешь?

— А как бы ты думал? — вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей.— Как бы ты думал? — уже шепотом спросила она.— Сладко мне одной? Поеду, Гришенька,родненький

мой! Пеши пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь! Нету мне без тебя жизни... Лучше убей, но не бросай опять!..

Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Коротки летние ночи. Надо спешить.

— Может, приляжешь? — спросила Аксинья.

— Что ты! — испуганно воскликнул он.— Скоро рассветет, надо ехать. Одевайся и ступай покличь Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до Сухого лога. Там в лесу переднюем, а ночью — дальше. Верхом-то ты усидишь?

— Господи, тут хоть бы как-нибудь, а не то — верхом! Я все думаю — не во сне ли это мне снится? Я тебя часто во сне вижу... и все по-разному...— Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки, и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери.

— Разбудить детей? Хоть поглядишь на них.

— Нет, не надо,— решительно сказал Григорий.

Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папироску, но как только Аксинья вышла — он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал.

Переступив порог, Дуняшка сказала:

— Ну, здравствуй, братец! Прибился к дому? Сколько ни блукать тебе по степи...— и перешла на причитания.— Дождались детки родителя... При живом отце стали сиротами...

Григорий обнял ее, сурово сказал:

— Тише, детишек побудишь! Ты это брось, сестра! Я эту музыку слыхал! А слез и горя у меня своего хватает... Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание?

— А ты куда денешься?

— Ухожу и Аксинью беру с собой. Возьмешь детей к себе? Устроюсь на работу, тогда заберу их.

— Ну, а как же? Раз уж вы обое уходите — возьму. Не на улице же им оставаться, и на чужих людей их не кинешь...

Григорий молча поцеловал Дуняшку, сказал:

— Великое спасибо тебе, сестра! Я знал, что не откажешь.

Дуняшка молча присела на сундук, спросила:

— Когда уходите? Зараз?

— Да.
— А дом как же? Хозяйство?
Аксинья нерешительно ответила:
— Смотри сама. Пусти квартирантов — или делай, как знаешь. Что останется из одежи, из имения — перенеси к себе...
— Что я скажу людям-то? Спросят, куда делась,— что я говорить буду? — спросила Дуняшка.
— Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ,— Григорий повернулся к Аксинье.— Ксюша, поспешай, собирайся. Много не бери с собой. Возьми теплую кофту, две-три юбки, бельишко какое есть, харчей на первый случай, вот и все.
Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой, и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до яра.
— Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли,— сказал Григорий.— Только узелок у тебя тогда был побольше, да сами мы были помоложе...
Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория.
— А я все боюсь — не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нету.— Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория.
Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: «Собралась и пошла, как будто в гости... Ничто ее не страшит, вот молодец баба!»
Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала:
— Видишь, какая я... свистнул, как собачонке, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили... Только детишек жалко, а об себе я и «ох» не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть!
Заслышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман.
Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, он подтянул ремни, сел на второго коня.
— Держи за мной, Ксюша! Выберемся из яра — пойдем наметом! Тебе будет не так тряско. Поводья не отпу-

скай. Конишка, какой под тобой, этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда!

До Сухого лога было верст восемь. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксинье сойти с коня.

— Ну, как? Тяжело с непривычки ездить верхом? — улыбаясь, спросил он.

Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами.

— Хорошо! Лучше, чем пешком. Вот только ноги...— И она смущенно улыбнулась: — Ты отвернись, Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает... потерлась, должно быть.

— Это пустяки, пройдет,— успокоил Григорий.— Разомнись трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают...— И с ласковой насмешкой сощурил глаза: — Эх ты, казачка!

У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал:

— Тут и будет наш стан, располагайся, Ксюша!

Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой, а по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной... В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели. Звенели над степью жаворонки, в хлебах, в душистом степном разнотравье, дробно выстукивали перепела: «Спать пора! Спать пора! Спать пора!» Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучая дробь перепелиного боя, и усыпляющее пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за Дона с неостывших за ночь песков,— все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его, и он, побежденный сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки.

— Гриша, а никто нас тут не захватит? — тихо спросила она, коснувшись стебельком цветка заросшей щеки Григория.

Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал:

— Никого нету в степи. Зараз же глухая пора. Я усну, Ксюша, а ты покарауль лошадей. Потом ты уснешь. Сон сморил меня... сплю... Четвертые сутки... Потом погутарим...

— Спи, родненький, спи крепше!

Аксинья наклонилась к Григорию, отвела со лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки.

— Милый мой, Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове...— сказала она шепотом.— Стареешь, стало быть? Ты же недавно парнем был...— И с грустной полуулыбкой заглянула в лицо Григорию.

Он спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Черные ресницы его, с сожженными солнцем кончиками, чуть вздрагивали, шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах... И она впервые подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою на лошади, с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула.

Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрав юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Она спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью, каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумяневшее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка, радостно светились глаза. Григорий снова был с нею! Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность... Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем, на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню,— у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась.

Тега-тега, гуси серые, домой,
Не пора ли вам наплаваться?
Не пора ли вам наплаваться,
Мне, бабеночке, наплакаться...—

выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос, и Аксинья не выдержала: слезы так и брызнули из ее глаз! Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнув-

шуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам.

Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день, а сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю!» — думала она, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца.

Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию.

Часов в девять Григорий проснулся от конского ржания, испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие.

— Никого нету,— тихо сказала Аксинья.— Чего ты испужался?

Григорий протер глаза, сонно улыбнулся.

— Приучился по-заячьи жить. Спишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь... От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал?

— Нет. Может, ишо уснешь?

— Мне надо сутки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в седельных сумах, достань сама, а я пойду коней напою.

Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья.

Григорий спустился к воде, из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться, потом снял с них уздечки, снова пустил пастись.

За завтраком Аксинья спросила:

— Куда же мы поедем отсюда?

— На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши.

— А кони?

— Бросим их.

— Жалко, Гриша! Кони такие добрые, на серого прямо не наглядишься, и надо бросать? Где ты его добыл?

— Добыл...— Григорий невесело усмехнулся.— Грабежом взял у одного тавричанина.

После недолгого молчания он сказал:

— Жалко не жалко, а бросать прийдется... Нам лошадьми не торговать.

— А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог, увидит кто — беды наберемся.

— Кто нас ночью увидит? Я его так, для опаски оставил. Без него мне уже страшновато... Бросим коней — и оружие брошу. Тогда оно уже будет ненужное.

После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном, Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуше и затихал совсем. Григорий вздрагивал и просыпался, а через несколько минут уже снова закрывал глаза. Усталость была сильнее его желаний и воли.

— ...скучали, спрашивали — где батя? Я с ними повсячески, всё больше лаской. Приобыкли, привязались ко мне и стали реже проведывать Дуняшку. Полюшка — тихонькая, смирная. Куклят ей нашью из лоскутков, она и сидит с ними под столом, занимается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. «Ты чего?» — спрашиваю. Заплакал, да так горько. «Ребята со мной не играются, говорят — твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит? Какие бывают бандиты?» Говорю ему: «Никакой он не бандит, твой отец. Он так... несчастный человек». Вот и привязался он с расспросами: почему несчастный и что такое несчастный? Никак ему не втолкую... Они сами, Гриша, стали звать меня матерью, не подумай, что я их учила. А Михаил ничего с ними обходился, ласково. Со мной не здоровался, отвернется и пойдет мимо, а им раза два сахару привозил из станицы. Прохор все об тебе горевал. Пропал, говорит, человек. На прошлой неделе зашел погутарить об тебе и ажник слезьми закричал... Обыск делали у меня, всё оружие искали — и под застрехами, и в погребу, и везде...

Григорий уснул, так и не дослушав рассказа. Над головой его шептались под ветром листья молодого вяза. По лицу скользили желтые блики света. Аксинья долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне.

* * *

Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули Сухой лог. Через два часа езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали коростели, в камышистых заводях речки надсаживались лягушки, и где-то далеко и глухо стонала выпь.

Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернея в тумане.

Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд и только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек, за ним — еще трое.

— Стой! Кто едет?

Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара, натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои! — и, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье: — Назад! За мной!»

Четверо из заставы недавно расположившегося на ночевку продотряда молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп, вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик:

— В ружье-о-о!..

Саженях в ста от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня,— поравнявшись, крикнул:

— Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже!

Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась набок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала.

— Тебя поранили?! Куда попало?! Говори же! — хрипло спросил Григорий.

Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал:

— Ради господа-бога! Хоть слово! Да что же это ты?!

Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи.

Верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю.

Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла под правой ключицей. Окровавленными трясущимися руками Григорий достал из переметных сум свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что̀ только могло случиться в его жизни,— уже случилось...

По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве и усеянной овечьими орешками, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксинью. Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиньи и чувствовал, как теплая кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву.

Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и, чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его

влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиною в пояс — ушло много времени.

Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго...

Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь.

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца.

XVIII

Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам... И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда осевшие на лето стрепета. А там, где прошлись палы, зловеще чернеет мертвая, обуглившаяся земля. Не гнездует на ней птица, стороною обходит ее зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль.

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеп-

лялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...

Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался он по степи, но ни домой, ни в Вёшенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину.

Несколько дней бродил он по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клубники, какими-то крохотными грибками, листьями орешника — и сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезертиры, привели к себе в землянку.

Их было семь человек. Все они — жители окрестных хуторов — обосновались в дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи; возвращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель, а мясо на варево без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот.

Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий.

* * *

Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода — с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору...

Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки

людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез.

Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. «Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать»,— часто думал он.

На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары.

— Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью были и в калмыцких степях... Поглядели на белый свет! А что крови чужой пролили — счету нету. У Якова Ефимыча жену взяли заложницей, имущество забрали, ну, он и остервенился, приказал рубить всех, кто Советской власти служит. И зачали рубить всех подряд: и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов... Черт-те кого только не рубили! А зараз — кончили и нас, совсем,— сказал он, вздыхая и все еще ежась от озноба.— Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад — под Соломным. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу — лошадям по пузо... С рассветом вдарили из пулеметов, и началось... Всех посекли пулеметами... Я да сынишка Фомина — только двое и спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимыч... На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая — в голову, наосклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок... Тут уж мы его бросили... Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют...

— Что ж, так и должно было получиться,— равнодушно сказал Григорий.

Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.

— Куда идешь? — спросил Григорий.

Улыбаясь, Чумаков ответил:

— Легкую жизню шукать. Может, и ты со мной?

— Нет, топай один.

— Да, мне с вами не жить... Твое рукомесло, Мелехов,— ложки-чашки вырезывать — не по мне,— насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку: — Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизня?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать,— сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску,— задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька!.. Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза.

Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей,— сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово: — Сынок... сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глотошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Конец

[1928—1940]

СОДЕРЖАНИЕ

ТИХИЙ ДОН

Книга четвертая

Михаил Александрович

ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

ТОМ 4

Редактор
Т. Халилова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Л. Вецкувене

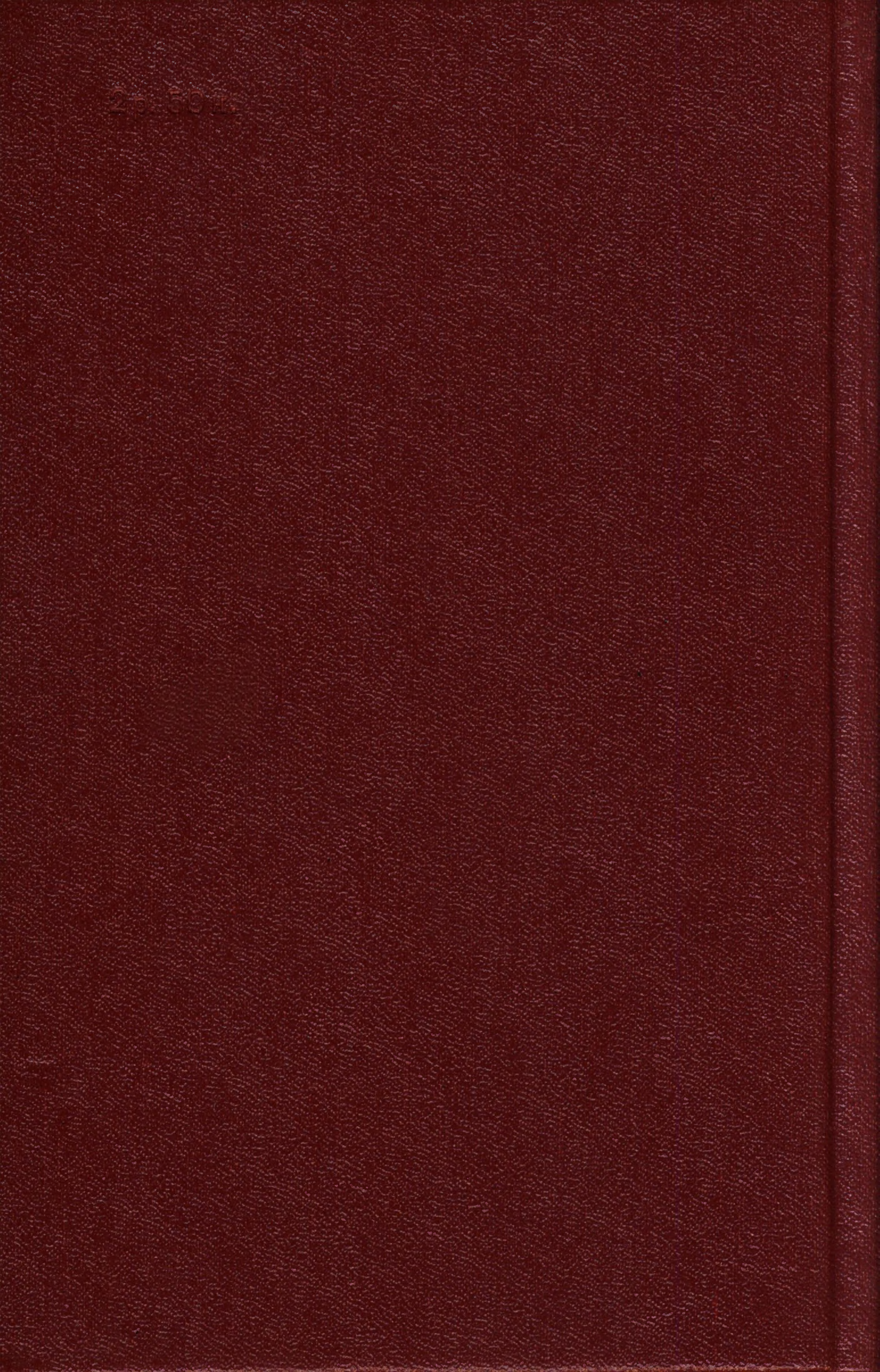
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4185

Сдано в набор 22.08.84. Подписано в печать 04.04.85. Формат 84×108[1]/32 Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 24,85. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № III-1856. Заказ № 1554. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.


2 р. 50 к.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ
4